П. Н. МИЛЮКОВ

ВОСПОМИНАНИЯ

(1859-1917)

Под редакцией М. М. КАРПОВИЧА и Б. И. ЭЛЬКИНА

ТОМ ВТОРОЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк 1955

{7}

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1907-1917)

1. ФИЗИОНОМИЯ ТРЕТЬЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Первая русская революция закончилась государственным переворотом 3 июня 1907 года: изданием нового избирательного «закона», который мы, кадеты, не хотели называть «законом», а называли «положением». Но провести логически это различие не было, однако, возможности: здесь не было грани. Если гранью считать манифест 17 октября, то «положением», а не «законом», были уже, в сущности, «основные законы», изданные перед самым созывом Первой Думы: это уже был первый «государственный переворот». Тогда и теперь победили силы старого порядка: неограниченная монархия и поместное дворянство. Тогда и теперь их победа была неполная, и борьба между старым, отживавшим правом и зародышами нового продолжалась и теперь, только к одной узде над народным представительством прибавлялась другая: классовой избирательный закон. Но и это было, опять, только перемирие, а не мир. Настоящие победители шли гораздо дальше: они стремились к полной реставрации.

Если борьбе суждено было продолжаться в том же направлении в порядке нисходящей кривой, то на этом новом этапе она должна была происходить между самими победителями. Равновесие между ними, достигнутое **{8}** «положением» 3 июня, должно было оказаться временным. Так оно и случилось. Уже роль самого Столыпина в разгоне Второй Думы и в спешном проведении дворянского избирательного закона была диссонансом в победе правых. Для него переход от министерских комбинаций с «мирнообновленцами» к «союзу русского народа», покровительствуемому Двором, был уже слишком резок. В попытках создания собственной партии он унаследовал от гр. Витте союз с «октябристами», самое название которых уже было политической программой. И условием созыва Третьей Думы, естественно, явилось проведение этих его союзников в Думу в качестве ее руководителей и членов правительственного большинства. Но октябристы были группой, искусственно созданной при участии правительства. Даже по «положению» 3 июня они не могли быть избраны в достаточном количестве без обязательной поддержки более правых групп, тоже искусственно созданных на роли «монархических» партий (см. выше).

По положению 3 июня выборы оставались многостепенными, но количество выборщиков, посылавших депутатов в Государственную Думу на последней ступени, в губернских съездах было так распределено между различными социальными группами, чтобы дать перевес поместному дворянству (Каждые 230 земельных собственников посылали в это собрание одного выборщика, тогда как торгово-промышленный класс был представлен одним выборщиком на 1.000, средняя буржуазия — одним на 15.000, крестьяне — одним на 60.000 и рабочие — одним на 125.000 (Прим. автора).).

Так, с прибавкой из городов, были проведены в Думу 154 октябриста (из 442). Чтобы составить свое большинство, правительство своим непосредственным влиянием выделило из правых группу в 70 человек «умеренно-правых». Составилось неустойчивое большинство в 224. К ним пришлось присоединить менее связанных «националистов» (26) и уже совсем необузданных черносотенцев (50). Так создана была группа в 300 членов, готовых подчиняться велениям правительства и оправдывавших двойную кличку Третьей Думы: «барская» и «лакейская» Дума. Как видим, большинство это было искусственно создано и **{9}** далеко не однородно. Если Гучков мог сказать, в первых же заседаниях Думы, что «тот государственный переворот, который совершен был нашим монархом, является установлением конституционного строя», то его обязательный союзник Балашов, лидер «умеренно-правых», тут же возразил: «Мы конституции не признаем и не подразумеваем под словами: «обновленный государственный строй». А другой лидер той же группы, гр. Вл. Бобринский получавший жалованье от правительства, заявил — более откровенно, — что «актом 3 июня самодержавный государь явил свое самодержавие». Другие платные депутаты на ролях скандалистов, Пуришкевич, П. Н. Крупенский, Марков 2-й, могли вести борьбу за полную реставрацию, опираясь на придворные круги и не считая себя ничем связанными. Сам Столыпин в интервью для

правительственного официоза «Волга» заявил, что установленный строй есть «чисто-русское государственное устройство, отвечающее историческим преданиям и национальному духу», и что Думе ничего не удалось «урвать из царской власти». Общим лозунгом, приемлемым для всей этой части Думы, оставался лозунг Гучкова: лозунг «национализма» и «патриотизма».

Не было, однако, в этой Думе единства и в рядах побежденных, — хотя бы в той степени, в какой, с грехом пополам, оно все же сохранялось в двух первых Думах. Там мы могли считать, что в борьбе с самодержавием была побеждена вся «прогрессивная» Россия. Но теперь мы знали, что побежденных был не один, а двое. Если мы боролись против самодержавного права за конституционное право, то мы не могли не сознавать, что против нас стоял в этой борьбе еще один противник — революционное право. И мы не могли, по убеждению и по совести, не считать, что самое слово «право» принадлежит нам одним. «Право» и «закон» теперь оставались нашей специальной целью борьбы, несмотря ни на что. «Революция» сошла со сцены, но — навсегда ли? Ее представители стояли тут же, рядом. Могли ли мы считать их своими союзниками? Нашими союзниками, хотя бы и временными, они себя не считали. Их цели, их тактика были и оставались другие. После тяжелых уроков **{10}** первых двух Дум с этим нельзя было не сообразоваться. Я говорил, что уже во Второй Думе конституционно-демократическая партия совершенно эмансипировалась от тех отношений «дружбы-вражды», которыми она считала себя связанной в Первой Думе. В Третьей Думе разъединение пошло еще дальше.

По самой идее Третьей Думы, в ней не должна была предполагаться наличность оппозиции. И на выборах правительство все сделало, чтобы ее не было. Избирательные коллегии тасовались так, чтобы надежные выборщики майоризировали ненадежных. Нежелательные элементы и не «легализированные» партии преследовались местными властями, не допускались к участию в выборах и т.д.

И, однако же, оппозиция проникла в Думу через ряд щелей и скважин, оставленных — как бы в предположении, что для полноты представительного органа какая-то оппозиция все же должна в нем присутствовать. Прежде всего, имелась на лицо целая партия, легализированная Столыпиным, но не связанная с правительством договором, вроде Гучковского: партия, назвавшая себя теперь «прогрессистами». Зерно ее составляли те «мирнообновленцы», из которых Столыпин выбирал когда-то кандидатов в министры. Они были конституционалистами неподдельными, и от времени до времени, уже в Думе поднимали вопрос об организации «конституционного центра». Но октябристам с ними было не по дороге, и скоро их потянуло в обратную сторону. К ним, напротив, стали присоединяться отдельные более последовательные политически октябристы, недовольные своими, но не желавшие все же леветь до кадетов. И фракция прогрессистов, единственная, уже в Думе возросла с 23 до 40 членов, оставаясь тем более рыхлой, неопределенной и недисциплинированной. Ход событий постепенно сблизил ее с кадетами; но это лишь развивало в ней стремление сохранить свою независимость и самостоятельность. В результате, от времени до времени, от них, как я уже замечал раньше, можно было ждать политических сюрпризов — вплоть до желания «перескочить» через к.д. влево.

Роль настоящей оппозиции, идейно-устойчивой и **{11}** хорошо организованной, при таком положении сохранилась за партией Народной свободы. Самый способ выборов делал фракцию партии естественным рупором общественного мнения. В пяти главных городах России (Москве, Петербурге, Киеве, Одессе, Риге) не только сохранились прямые выборы, но положение 3 июня даже расширило избирательное право на квартиронанимателей. Правда, и тут избиратели были распределены неравномерно между двумя куриями: в первую были включены очень немногочисленные крупные плательщики налога (Владельцы более крупных недвижимых имуществ и торгово-промышленных предприятий. (Примеч. ред.).), тогда как во вторую входила остальная масса, владевшая сравнительно умеренным квартирным цензом.

По такому цензу прошел, наконец, и я в Думу. Не только не делалось на этот раз препятствий моему выбору, но, по слухам, до меня дошедшим, Крыжановский решил, что лучше иметь меня внутри Думы, нежели вне ее (то есть в качестве тайного инспиратора, каким меня считали раньше). Такой характер выборов по второй курии делал возможным вести публичную избирательную кампанию и защищать партийную программу в открытом споре с политическими противниками. Успех был настолько очевиден, что и первая курия принуждена была последовать нашему примеру — с тем результатом, что местами, вместо октябристов и правых, там тоже стали проходить наши кандидаты.

Политическая деятельность фракции вне Думы не ограничилась предвыборными собраниями; она, в свою очередь, оживила деятельность партии. Петербург и Москва были и ранее разделены на районы, по которым сорганизовались районные комитеты зарегистрированных членов партии. Думская работа фракции дала им живой материал для организации периодических публичных выступлений с участием «неприкосновенных» членов фракции. Особое оживление придавал нашим собраниям

свободный доступ, открытый нами для представителей других политических течений, и состязательный Характер прений.

Правые, к нашему удовольствию, нас игнорировали и не вносили к нам своей черносотенной **{12}** пропаганды, понимая, что наша публика не отнеслась бы терпимо к их присутствию. Не приходили к нам и официальные представители левых, не желая, очевидно, уронить свое достоинство. Зато рядовых левых ораторов, готовых сразиться с нами, было сколько угодно; ими обыкновенно заполнялся список выступавших у нас ораторов. Нельзя сказать, чтобы с ними было трудно сражаться. Мы были сильны, прежде всего, знанием дела и серьезностью трактовки; они, обычно, не шли дальше знакомства с брошюрной литературой, вносили много страсти в прения, но нашей публики не убеждали и выносили, в своей обработке, только то, что им нужно было для пропаганды. Для примера, приведу два эпизода со мной лично, ставшие ходячими аргументами против к.д. Я как-то сказал, взяв сравнение из боя быков, что не следует в борьбе дразнить красной тряпкой. В левом толковании это значило, что я оскорбил знамя социализма.

В другой раз, мой пример, взятый из известной басни Лафонтена, оказался еще более рискованным. Я сказал, что нельзя, следуя чужим советам, носить на себе осла. К «ослу» прибавили эпитет «левого», и вышло очень пикантно: я, значит, назвал социалистов «левыми ослами». Отсюда, конечно, следовал вывод о моем социалистоедстве. О других эпизодах скажу позже. Такого рода «прения» вести было нетрудно: они даже приносили пользу, развлекая публику. В одном только районе Петербурга, в рабочем Выборгском квартале, мы встречали сильное психологическое сопротивление аудитории. Там выступал против нас студент, «товарищ Абрам» — впоследствии советский «главнокомандующий» Крыленко, покончивший с Духониным, — он же и прокурор, предшественник Вышинского. С легким багажом выученных назубок грошовых брошюр, с хорошо подвешенным языком, он с невероятным апломбом разбивал наши аргументы. Рабочая публика гоготала, и нашим ораторам говорить было трудно. Но вообще городская демократия «торговых служащих» была на нашей стороне, и мы и из таких боев как-то выходили целы.

Наряду с публичными выступлениями, фракция энергично действовала и через печать. После каждой **{13}** годичной сессии Думы фракция издавала очередной отчет о своей деятельности. Мне в этих отчетах обычно принадлежали отделы о тактике фракции в связи с общим политическим положением, о вопросах конституции и государственного права, о внутренней и внешней политике, о национальных вопросах. Это были те главные темы, на которые мне приходилось выступать и в Думе. Вторая половина каждого отчета заключала в себе наиболее важные речи членов фракции, произнесенные в Думе. Я очень жалею, что этих отчетов нет у меня перед глазами, чтобы развернуть полнее эту часть моих воспоминаний.

Я не останавливаюсь здесь на роли нашей газеты «Речь», которую мы не объявляли формально партийным органом, но распространение которой повсюду в России, конечно, сделало больше для популяризации наших взглядов, чем все остальные способы публичной деятельности фракции.

Наши два репортера, излагавшие стенографические отчеты думских заседаний и передававшие впечатления о повседневной думской жизни, Л. М. Неманов и С. Л. Поляков-Литовцев, приобрели себе на этой работе всероссийское имя, и наше истолкование смысла думской работы в передовицах «Речи» и московской «профессорской» газеты «Русские ведомости» сплотило около нас значительную часть читающей России.

Но пора вернуться к другим частям «оппозиции» в Третьей Государственной Думе. Национальные группы — польская, польско-литовская, белорусская, мусульманская — заняли своеобразное положение между оппозицией и правительственным большинством. Я уже говорил о своем осторожном отношении к национальному вопросу в Первой Думе. Но там национальности, в ожидании общего освобождения, еще связывали свое дело с общерусским — и разместились между русскими политическими фракциями.

Уже во Второй Думе, разочаровавшись в исходе русской политической борьбы, они несколько отодвинулись от общерусского дела, все же оставаясь демократически-настроенными. Они поплатились за эти настроения потерей большей части **{14}** своих мандатов. Положение 3 июня уменьшило число польских депутатских мест с 37 до 19, число депутатов от азиатских народностей с 44 до 15, кавказских — с 29 до 10. На это ограниченное количество мест пришли депутаты, более консервативно настроенные — и обособились в отдельные группы от русских. Голосуя часто с оппозицией, они, в особенности поляки, не хотели однако разрывать с правительством. Резкое исключение составляли кавказцы — именно грузинские депутаты, заполнившие крайне-левые скамьи социал-демократической

фракции. Не разделяя ни клерикально-феодальных, ни буржуазных тенденций других народностей, они считали себя частью общерусской социал-демократии, вместе с ней участвовали во Втором Интернационале и, именно благодаря своим интернациональным стремлениям, могли вести совместную с русскими с. - д. борьбу за создание общего «социалистического отечества». Дробление больших государственных единиц на мелкие национальные государства всегда вызывало противодействие социал-демократии. Все это объясняет, почему Гегечкори, Чхеидзе и др. оказались чуть не единственными представителями русской с. - д. фракции, вообще немногочисленной (14 депутатов). Это же объясняет и их полную обособленность от русских фракций думской оппозиции, и их, неучастие в общей думской работе. Между ними и фракцией к. д. поместилась столь же немногочисленная группа «трудовиков» (14), по традиции считавшаяся социал-революционерами. Но в Третьей Думе она была самая бесцветная и состояла почти исключительно из крестьян с низшим или домашним образованием. Она ждала своего вождя, — и это вакантное место позднее занял А. Ф. Керенский, поведший такую линию поведения, какую хотел.

Такова была обстановка, в которой кадетской фракции предстояло действовать в Третьей Думе.

2. КАДЕТЫ В ТРЕТЬЕЙ ДУМЕ

Что для кадетской фракции есть место и в «господской» и «лакейской» Думе третьего июня, в этом, **{15}** конечно, не могло быть для меня никакого сомнения. Я был в этом отношении наименее непримиримым из наших «лидеров». Советовал же я идти на выборы даже в Булыгинскую Думу — и боролся против бойкота Первой Думы. Я всегда верил, что самая идея народного представительства, хотя бы искаженного, носит в себе зародыши дальнейшего внутреннего развития. И мне было яснее многих, что общественный подъем 1905 года носил временный характер. Что, собственно, изменилось с тех пор?

Движение пошло на убыль, и вместе с ним линия борьбы отодвинулась далеко назад. Но ведь наши прежние успехи были только кажущимися и лишь на короткий срок замаскировывали действительное положение дела. Спала волна, — и Государственная Дума оказалась той же калекой, какой делали ее с самого начала основные законы, урезавшие со всех сторон права народного представительства, и существование Государственного Совета, который мы сами называли «пробкой» и «кладбищем» думского законодательства.

Теперь борьба вернулась к этой самой неприкосновенной китайской стене, и по необходимости приобретала иные, более скрытые формы. Мы принесли с собой и в Третью Думу ковчег нашего нового завета, — программу адреса Первой Думы. Но обращаться с ним приходилось более осторожно. Только в Четвертой Думе мы вынули оттуда, и то лишь в демонстративном порядке, наши законопроекты гражданских свобод, и только тогда, при изменившихся условиях, можно было вновь заговорить об ответственности исполнительной власти перед законодательной и об изменении избирательного закона. В ожидании, нам приходилось вести в Третьей Думе черную, будничную работу, наблюдая лишь, чтобы, по крайней мере, не приходили в забвение уже приобретенные Думой права и чтобы не был забыт вложенный в них политический смысл.

И, в этом отношении, даже и описанный только что состав «господской» Думы открывал некоторые перспективы. Самая неустойчивость к пестрота правительственного большинства обещала внутренние передвижки; перемирие и там было только временное, и ни одна из искусственно склеенных сторон **{16}** не могла считать свою конечную цель достигнутой. Но низкий уровень, на котором состоялось это временное перемирие с властью, обещал больше прочности и длительности, чем та высота, на которую мы хотели взвинтить политические достижения Первой Думы. Вместе с Третьей Думой мы, во всяком случае, выигрывали время для того закрепления самого факта существования народного представительства, на котором я всегда настаивал: мы могли обещать себе не месяцы, а годы новой отсрочки. В ожидании внутридумская деятельность становилась, тем «будничным» явлением, о котором я писал, как о первом условии признания представительного органа неотъемлемой чертой русской действительности.

Однако, резко изменившиеся условия должны были сопровождаться — уже в третий раз — коренным изменением как состава, так и тактики думской фракции партии Народной свободы. Казалось давно прошедшим то время, когда мы потеряли 120 «выборжцев», лишенных избирательных прав. Жест, который в других условиях был бы историческим, уже на нашем съезде в Териоках звучал диссонансом. На процессе, который кончился тюремным сиденьем, наши старшие друзья не защищались, а обвиняли; но правительство намеренно избегало принципиальной постановки вопроса; и

обвинение, и приговор были сравнительно легкие. События быстро стерли память о принесенной жертве, и во Вторую Думу прошли уже кадеты другого типа: специалисты-профессора, составившие образцовые проекты конституционного законодательства, которым не суждено было осуществиться. Отошла и эта группа. В Третьей Думе сидели кадеты, распределившие между собою деловую работу в думских комиссиях.

Мы всегда считали комиссионную работу главной задачей государственной деятельности; но впервые мы получили для нее необходимый досуг и практический материал. Впервые выдвинулся на первое место А. И. Шингарев, бывший уездный врач и земец, и быстро овладел вопросами государственного бюджета, сделавшись постоянным оппонентом министра финансов В. Н. Коковцова *(см. воспоминания Коковцова на нашей странице — ldn-knigi).*

В. А. Степанов специализировался на рабочем законодательстве **{17}** и внес свой вклад в комиссионную обработку законопроектов по коренным вопросам этого законодательства, хотя и застрявшим в Третьей Думе. Н. В. Некрасов, другой молодой депутат с крупным, хотя и неожиданным для фракции будущим, сосредоточился на железнодорожных вопросах. Н. Н. Кутлер, перешедший во фракцию с министерской скамьи, консультировал фракцию по вопросам финансовым. Важнейший из социальных вопросов, усвоенный Столыпиным в дворянской окраске и уже проведенный первоначально во время междудумья в порядке внедумского законодательства по статье 87, встретил серьезное сопротивление со стороны того же А. И. Шингарева и пишущего эти строки.

На мою долю выпали, в качестве председателя фракции, выступления не только по важнейшим вопросам конституционно-политического характера, но и вообще по всем вопросам, для которых не находилось подготовленных работников. Помню, мне даже пришлось произнести первую речь по бюджету, так как Кутлер от нее отказался, — быть может, в виду своих свежих еще министерских связей, — а Шингарев еще не успел ориентироваться в этой области. Я участвовал в комиссионных работах и выступал на общих собраниях по церковным, старообрядческим и сектантским вопросам, по проектам народного образования и авторского права, по вопросам внутренней политики и по национальным вопросам; но главной моей специальностью сделались вопросы иностранной политики, в которых у меня не было конкурента при тогдашнем общем неведении в этой области. Правда, у меня были сильные помощники, в особенности в лице Ф. И. Родичева и В. А. Маклакова. Ф. И. Родичев обладал совершенно исключительным даром красноречия; но его горячий темперамент часто выводил его за пределы, требовавшиеся фракционной дисциплиной и политическими условиями момента. В национальных вопросах он был убежденным полонофилом, что не всегда оправдывалось политикой самих поляков в русских государственных учреждениях. Он также не вполне разделял взгляды фракции по аграрному вопросу. В. А. Маклаков был **{18}** несравненным и незаменимым оратором по тонкости и гибкости юридической аргументации; но он выбирал сам выступления, наиболее для себя казовые, и, с своей стороны, фракция не всегда могла поручать ему выступления по важнейшим политическим вопросам, в которых, как мы, знали, он не всегда разделял мнения к. д.

Что касается нашей тактики в Третьей Думе, она уже ясна из сказанного. Мы решили всеми силами и знаниями вложиться в текущую государственную деятельность народного представительства. Нам предстояло еще многому научиться, что можно узнать, понять и оценить, только стоя у вертящегося колеса сложной и громоздкой государственной машины. Нельзя было пренебрегать при этом и контактом с бюрократией министерских служащих, у которых имелись свои технические знания, опытность и рутина. Лучшие из них сами страдали от этой рутины, знакомились с нами в комиссиях. Когда они поняли наши добрые намерения, они сами пришли к нам на помощь в борьбе с этой рутиной, — конечно, помимо своего непосредственного начальства. Так, очень широко воспользовался этой помощью Шингарев при своем изучении дефектов русского бюджета и контроля. То же было в области народного просвещения, церковной, а потом и военно-морской и иностранной политики.

Но в первые сессии Думы до этого своеобразного срастания было еще далеко. Мы сделались, в первую голову, предметом яростной политической атаки со стороны правительственного большинства — и в особенности со стороны правых. Дискредитирование оппозиции — и именно наиболее ответственной ее части — должно было служить задачей и оправданием их собственной победы.

Напомню заявление Пуришкевича, что кадеты — элемент самый опасный и нежелательный, — именно потому, что они — самые вероятные участники государственной власти, осторожные, умные и политически образованные. Естественно, что на дискредитировании фракции Народной свободы сосредоточилась ближайшая тактическая задача, — как мнимых **{19}** «конституционалистов», так и скрытых сторонников самодержавной реставрации. И естественно также, что я, как признанный руководитель инкриминированного направления, сделался главной мишенью атаки. Нас считали лишенными национальных и патриотических чувств — привилегии этой Думы.

Нас трактовали, как элементы «антигосударственные» и «революционные», приписывая нам все грехи левых против народного представительства. Инициативе Гучкова надо приписать оскорбительный жест Думы по нашему адресу: нас не пустили в состав организованной им Комиссии государственной обороны — на том основании, что мы можем выдать неприятелю государственные секреты. Правые устраивали даже настоящую обструкцию нашим — ив особенности моим — выступлениям на трибуне Государственной Думы. Когда наступала моя очередь говорить, П. Н. Крупенский пускал по скамьям правых и националистов записку: «разговаривайте», — и начинался шум, среди которого оратора невозможно было расслышать. Не говорю уже об оскорбительных выражениях, сыпавшихся с этих скамей по нашему адресу. Пуришкевич начал одну из своих речей цитатой из Крылова:

> Павлушка - медный лоб, приличное названье,
> Имел ко лжи большое дарованье.

В другой раз, заметив во время своей речи на моем лице ироническое выражение, он схватил стакан с водой, всегда стоявший перед оратором на трибуне, и бросил в меня (я сидел на нижних скамьях амфитеатра Думы). Стакан упал к моим ногам и разбился. Председателю пришлось исключить Пуришкевича из заседания. Но высшей точкой этих скандалов, больших и маленьких, был прием, устроенный мне целым большинством Думы после моего возвращения из Америки, в весеннюю сессию 1908 г.

Очевидно, самый факт моей поездки рассматривался, как какая-то измена родине, и демонстрация была подготовлена заранее к моему первому по приезде выступлению на трибуне. Когда я приготовился говорить, члены большинства снялись с своих мест и вышли из залы заседания. Должен признать, что мое **{20}** первое впечатление было жуткое. Как ни как, это же была Государственная Дума, законное народное представительство.

Я смотрел на Гучкова и ждал, как поступит мой бывший университетский товарищ, сидевший в центре. Когда эта часть залы опустела, поднялся и он — и своей тяжелой походкой (последствие раны в ноге, полученной в бурской войне) направился к выходу. Я всё же не потерял спокойствия и ждал, молча, не покидая трибуны. Председатель объявил, по наказу, перерыв заседания. Когда оно возобновилось, я снова вошел на трибуну, сохраняя свою очередь. Правительственное большинство снова вышло из залы. Тогда председатель закрыл заседание. Я на следующий день напечатал в «Речи» свою «непроизнесенную речь». В ней я высказал свое мнение о поведении собрания. При открытии ближайшего заседания я снова выступил на трибуну. Дальнейшее сопротивление теряло смысл, члены большинства остались сидеть на местах, и я произнес речь делового содержания, не упомянув ни словом о демонстрации, на ту же тему, которой было посвящено мое выступление.

Чтобы не возвращаться к этого рода эпизодам, упомяну еще о столкновении с тем же Гучковым, происшедшем значительно позднее. Я как-то употребил в своей речи довольно сильное выражение по его адресу, хотя и вполне «парламентарное», и о нем тогда же совершенно забыл. Но Гучков к нему придрался — и послал ко мне секундантов, Родзянко и Звегинцева, членов Думы и бывших военных. Он прекрасно знал мое отрицательное отношение к дуэлям — общее для всей тогдашней интеллигенции — и, вероятно, рассчитывал, что я откажусь от дуэли и тем унижу себя в мнении его единомышленников. Сам он со времени своей берлинской дуэли (см. выше) имел установившуюся репутацию бреттера.

Я почувствовал, однако, что при сложившемся политическом положении я отказаться от вызова не могу. Гучков был лидером большинства, меня называли лидером оппозиции; отказ был бы политическим актом. Я принял вызов и пригласил в секунданты тоже бывших военных: молодого А. М. Колюбакина, **{21}** человека горячего темперамента и чуткого к вопросам чести, также и военной, и, сколько помнится, Свечина, бывшего члена Первой Думы, Этим я показал, что отношусь к вопросу серьезно. Подчиниться требованиям Гучкова я отказался. Мои секунданты очутились в большом затруднении. Они, во что бы то стало, хотели меня вызволить из создавшегося нелепого положения, но должны были считаться с правилами дуэльного кодекса и с моим отказом от примирения.

Помню поздний вечер, когда происходило последнее совещание сторон и вырабатывалась наиболее приемлемая для меня согласительная формула. Я в нее не верил, считал дуэль неизбежной и вспоминал арию Ленского. Но... мои секунданты приехали ко мне поздно ночью, торжествующие и настойчивые. Они добились компромиссного текста, от которого, по их мнению, я не имел ни политического, ни морального права отказаться. Отказ был бы непонятным ни для кого упорством и

упрямством. Я, к сожалению, не помню ни этой формулы, ни даже самого повода к Гучковской обиде, очевидно, раздутой намеренно. Но я видел, что упираться дальше было бы смешно, согласился, с моими секундантами и подписал выработанный ими, совместно с противной стороной, текст. Гучкову не удалось ни унизить меня, ни поставить меня к барьеру, и политическая цель, которую он, очевидно, преследовал, достигнута не была.

Попутно, я расскажу и другой «дуэльный» случай — не со мной, а с Родичевым, в котором я принял неожиданное для себя и неприятное участие. Это и до сих пор мой cas de conscience (Вопрос веры или убеждений, в котором человек колеблется.), в котором я разобраться не могу. Родичев произносил очень сильную речь против продолжения применявшихся и после 1907 г. смертных приговоров и закончил ее выражением: «Столыпинский галстух», — причем руками сделал жест завязывания петли на шее. Впечатление было настолько сильно, что Дума как будто на момент замерла; потом раздались неистовые аплодисменты по адресу сидевшего на своем месте Столыпина, и все правительственное большинство встало. Встал и я, почувствовав моральную **{22}** невозможность сидеть. Фракция осталась сидеть и смотрела на меня с недоумением. Заседание прервалось. Родичев совершенно растерялся. Столыпин вышел из залы заседания в министерский павильон.

Я в первый момент осмыслил для себя свой жест, как выражение протеста против личного оскорбления в парламентской речи. Но тотчас явилось и другое объяснение. Из павильона пришло сообщение, что Столыпин глубоко потрясен, что он не хочет остаться у своих детей с кличкой «вешателя» — и посылает Родичеву секундантов.

Я был уверен, что для Родичева принятие дуэли психологически и всячески невозможно. И я заявил фракции, что мой жест устраняет из инцидента личный элемент и что Родичеву остается просто извиниться за неудачное выражение. Все еще взволнованный и растерянный, Родичев, вопреки высказанным тут же противоположным мнениям, пошел извиняться. Столыпин использовал этот эпизод грубо и оскорбительно. Не подав руки, он бросил Родичеву надменную фразу: «Я вас прощаю».

Я чувствовал себя отвратительно. Во фракции и в нашем партийном клубе шли горячие споры. Вечером того же дня наши клубные дамы помирили нас тем, что поднесли два букета цветов: Родичеву, но также и мне. А я испытывал двойное ощущение, что поступил правильно и иначе поступить не мог, но в итоге только создал для Родичева унизительное положение. Но альтернатива — принятие дуэли, как и категорический отказ, — мне и теперь представляется для Родичева одинаково невозможным исходом.

3. ТРИ ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОЕЗДКИ

Прежде чем вести дальше мой рассказ о думской деятельности, я соединяю под этим общим заглавием три мои поездки заграницу в 1907-1909 годах. Все три имеют отношение к моей работе в Думе, но отношение это — весьма различное, и, сопоставляя эти разницы, можно получить любопытную кривую быстрой перемены отношения Третьей Думы ко мне лично и ко всей нашей фракции. Исходную точку этой кривой я только **{23}** что описал: она характеризуется демонстрацией большинства Думы по моему адресу после первой из этих поездок — в Соединенные Штаты. Вторая поездка (на Балканы) тесно связана с моими выступлениями в Думе в качестве не только терпимого, но все более признанного эксперта по внешней политике. А третья — участие в думской делегации в Лондоне — была уже равносильна признанию за фракцией принадлежащего ей законно места в целом составе Государственной Думы.

А. Третья поездка в Америку

Моя третья поездка в Америку совершилась при иных условиях, нежели первые две. Во-первых, она была произведена совсем по-американски: я пробыл в Соединенных Штатах ровно три дня. Во-вторых, — отчасти по той же причине, — она превратилась в некое триумфальное шествие, заготовленное для меня, конечно, при ближайшем содействии того же моего друга, Чарльза Крейна. Это был, так сказать, зенит моей популярности в Америке. Повод к новому приглашению был, сам по себе, совершенно естественный. В своих лекциях и в книге я предсказал наступление революции. Предсказание осуществилось; революция произошла, и ее ближайшие цели вызвали огромное

сочувствие вод всем цивилизованном мире — и в Америке в особенности. Но теперь догорели огни революции, началась редакция, и самым ярким проявлением ее было нарушение основных законов царем и созыв Третьей Думы по новому избирательному положению, отдававшему русское народное представительство под опеку правительственной власти в союзе с «господствующим» сословием. Естественно, что в Америке хотели знать, что случилось, — и знать от того же лица, которое объяснило неизбежность революционной развязки. Мне предстояло дать это объяснение: то же самое, которое я дал в дополнении к французскому переводу моей книги.

Приглашение было мною получено и принято до того, как началась избирательная кампания и состоялся мой выбор в члены Думы. Будучи выбран, я уже не мог **{24}** располагать своим временем и принужден был ограничить свое посещение теми тремя днями, которые мне оставались, включая 12 дней на переезд по океану туда и обратно, до возобновления думских заседаний, после рождественских каникул. Эти три дня Крейн с моими друзьями и наполнил рядом общественных демонстраций около моей персоны.

В центре стояло приглашение сделать доклад о новом политическом положении в России, поставленный на очередь влиятельной политической организацией «Гражданского Форума» (Civic Forum). Цель политических выступлений этой организации была отмечать важные моменты политической жизни, главным образом, Нового Света, и оказывать этим способом влияние на общественное мнение Америки. Для этого приглашались наиболее влиятельные политические деятели, вплоть до президентов, так что выступление под фирмой Civic Forum было уже само по себе некоторым политическим событием. Для докладов выбиралась одна из самых обширных аудиторий тогдашнего Нью-Йорка — Carnegie Hall, и доклад читался под председательством какого-нибудь влиятельного лица. В моем случае это был епископ Поттер. Доклады сопровождались публичными прениями, которые стенографировались и распространялись во всеобщее сведение, вместе с голосованием многочисленной публикой предложенной председателем резолюции.

Мой доклад состоялся на следующий день по приходе парохода. Остаток первого дня устроители использовали для устройства встречи с нотаблями и выдающимися общественными и академическими деятелями Нью-Йорка. Приглашенных числилось более 600 человек.
Мое представление им состоялось по обычной американской процедуре. Я стоял на возвышении, окруженный устроителями. Каждого из приглашенных подводили ко мне, называли его имя, и я должен был произнести сакраментальное how do you do (Как вы поживаете?), пожать руку и произнести, в случае обращения ко мне, несколько **{25}** любезных слов. В составе приветствовавших были лица и имена, мне знакомые; с ними обмен любезностей был легче. Были знавшие мою роль или, по крайней мере, мое имя; с этими было труднее. Были — вероятно, большинство — совсем меня не знавшие; тут дело ограничивалось сакраментальной формулой. От шестисот рукопожатий, по-американски крепких, осталось осязательное впечатление: рука распухла. Тут было зерно моих завтрашних слушателей; они несли с собой готовое сочувствие, к предмету моей речи и разместились на эстраде или в первых рядах. За ними разместилась всякая публика, и возражения, очень левые и подчас довольно резкие — мне пришлось выслушать с высоты амфитеатра.

На другой день состоялось заседание, обставленное очень торжественно. Вступительную речь сказал епископ; она была посвящена значению событий, происходивших в России, и моей личной характеристике. Текст моего обращения я, конечно, заготовил заранее, но старался придать ему характер разговорной речи; оно, во всяком случае, было выслушано с большим вниманием и прерывалось обычными приветственными возгласами в соответственных местах.

Затем, по приглашению председателя — не полемизировать, а ставить вопросы — начался ряд ядовитых замечаний, возражений и вопросов сверху; моя характеристика конфликта между правительством и обществом показалась там чересчур объективной. Меня вызывали на резкости. Этого я не хотел, а иногда, — когда суждения о власти переходили в суждения о России, — мне приходилось не только обороняться, но и самому переходить в наступление. Большинство аудитории подчеркивало особенно эти места знаками одобрения. В общем, я мог быть очень доволен полученным впечатлением. Председатель в заключение прочел одобрительную формулу и предложил согласным произнести старинное слово Aye (Да.) (звучало русским: ай). Это «ай» прозвучало очень громозвучно — и собрание было закончено.

{26} На третий день чествование достигло высшей точки (по моей вине, как увидим, не самой высшей). Из Нью-Йорка меня повезли в Вашингтон. Там, по программе, предстоял прием у президента и доклад о России членам Конгресса. Но я помешал выполнению первого пункта программы. Для представления президенту нужна была рекомендация русского посла; им был тогда бар. Розен. Уже в

Нью-Йорке я сказал, что, как представитель оппозиции, я не могу обратиться к послу с этой просьбой и что я рискую, что он мне откажет. Крейн убеждал, что отказа не будет, и ссылался на свое личное знакомство с послом и президентом (тогда президентом был Теодор Рузвельт). Но я оставался непреклонен. Меня хотели переубедить по приезде в Вашингтон. Там, в номер гостиницы заходили знакомые и незнакомые посредники, говорили, что президент выразил желание меня видеть, убеждали, что согласие посла обеспечено, удивлялись непонятности моего сопротивления...

Позднее, оно мне самому показалось бы, вероятно, странным и даже смешным. Но тогда было такое время, что я чувствовал себя связанным своей политической ролью в России. Мне казалось, — а, вероятно, это так и было, — что в кругу моих единомышленников не поймут моего обращения с просьбой к представителю русского правительства заграницей и сочтут это своего рода предательством. Повторяю, такое было тогда время...

В Америке, во всяком случае, очевидно, поняли, что тут были не простая глупость и фанатизм, а наглядная иллюстрация того, что происходило в России. Из гостиницы меня повезли в обширное помещение (не знаю, было ли это в Капитолии), где собрались члены обеих палат Конгресса. Тут не было ни доклада, ни прений, но состоялась интересная для меня и для слушателей беседа. Тема, конечно, была та же самая; но тут было собрание государственных людей и видных политических деятелей; их интересовало не столько мое освещение фактов, сколько самые факты. Знание жизни, конечно, не было еще знанием России, и по этой части я нашел собрание довольно мало осведомленным, Но понимали они меня с полуслова.

{27} За беседой последовал ужин; собеседники разбились между отдельными столиками. За моим столиком, помню, присел, между другими, Тафт (судья, брат президента), и беседа приняла более интимный и всё же содержательный характер. Поздно ночью я вернулся в Нью-Йорк; а утром следующего дня уходил в Европу пароход "Messageries Maritimes". Это был единственный случай из моих поездок в Америку, когда я ехал на французском пароходе, и как раз тогда на океане разыгралась серьезная буря: единственная, которую я испытал. Гигантские волны хлестали через стеклянную вышку, в которой помещался музыкальный салон. Зрелище было увлекательное — и страшное... О том, как меня встретила Дума, рассказано выше.

Б. Балканы и Европа

1908 год был годом моих первых выступлений в Третьей Государственной Думе. И это был год глубокого «Балканского кризиса». Из русских общественных деятелей я оказался в этом вопросе единственным специалистом. Мое пребывание в Болгарии и поездки по Македонии и Старой Сербии в конце века, моя поездка по западной, сербской половине Балкан в 1904 г. — о чем рассказано в соответствующих главах этих воспоминаний — познакомили меня не с официальной, а с внутренней, народной жизнью славянских народов полуострова; я был свидетелем возрождения их национального сознания и народной борьбы против поработителей — турок и опекунов — австро-венгерцев. Все мои симпатии были на стороне этих освободительных стремлений, тем более, что руководство в борьбе уже переходило от старых «народолюбцев» в руки молодого поколения новорожденной славянской демократической интеллигенции.

Однако же, совершавшиеся — и особенно предстоявшие — события на этом узком театре еще предстояло, вставить в более широкие европейские рамки. Здесь, на местах, можно было особенно отчетливо видеть, что нити сложной ткани перемен в этом «ветряном углу» **{28}** Европы восходили выше, к европейской дипломатии и, через нее, к европейским дворам. Но там, наверху, для такого постороннего наблюдателя, как я, эти нити терялись.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы и в этой области я был совершенно не ориентирован. Напротив, моя европейская ориентация начала складываться давно, не столько даже под влиянием фактов, сколько под влиянием настроений и общих взглядов.

Напомню мои детские впечатления от войны 1870 года и мои юношеские переживания в войне 1877-78 гг., в которой, хотя и в скромной роли санитара на Кавказе, я принял добровольное личное участие, а за этим следовало острое восприятие контраста между Сан-Стефанским договором перед стенами Константинополя — и «маклерской» ролью Бисмарка на Берлинском конгрессе, где Россия потеряла плоды своей полной победы в Болгарии, а Австро-Венгрия, в награду за свое неучастие, получила в «оккупацию и управление» сербские земли Боснии и Герцеговины.

Но дальше картина разбивалась на частности, среди которых главные линии затушевывались. Затруднение увеличивалось тем, что в дальнейшем ходе событий линии европейской политики

переплетались, положение создавалось переходное, и даже профессиональная дипломатия, в особенности русская, колебалась в выборе направления. При секрете, в который облекались дипломатические тайны, приходилось довольствоваться обрывками сведений, которые проникали в печать, — или питаться слухами «из самых верных источников». Я хочу объяснить этим, почему и моя собственная осведомленность в этой области была далеко не полна. А от этого зависела и моя оценка событий. В этих воспоминаниях я хотел бы сохранить те оттенки моих тогдашних мнений, которые были связаны или с этой неполнотой сведений или же с незаконченностью развертывавшихся событий.

В исторической перспективе, впоследствии, можно было легко видеть, что главной осью, около которой развертывались европейские события на рубеже **{29}** столетий, было вступление на императорский трон Вильгельма II, его антагонизм с Бисмарком и его шумные заявления, что созданная железным канцлером германская империя должна быть направлена на «мировую политику» (1890-е годы). Так создавался конфликт с демократическими державами, Англией и Францией, в области строительства флота и приобретения колоний. Но намерения Вильгельма не были сразу приняты всерьез, и открытая борьба дяди (Эдуарда VII) с племянником вышла наружу несколько позднее. Россия к этому соревнованию на европейском западе, во всяком случае, не имела никакого отношения. И, однако же, уже при Александре III русская дипломатия несколько отодвинулась от Германии. Мне не была известна тогда история «Союза трех императоров» (Германия, Австрия, Россия), созданного Бисмарком, чтобы перестраховать со стороны России своего австрийского союзника. Заключенный в 1884 г., этот союз был продлен в 1887 г.; но после отставки Бисмарка (1890) он возобновлен не был. Это была дата возобновления старого соперничества между Австро-Венгрией и Россией на Балканах. Тотчас за тем последовало более тесное сближение Александра III с Францией (Кронштадт-Тулон, 1891, 1893), и русский либерализм получил возможность распевать «Марсельезу» в Петербурге и Москве.

Однако же, впоследствии я был свидетелем и обратного эпизода: Вильгельм II приехал с визитом к кузену, и «Адмирал Атлантического океана» приветствовал «Адмирала Тихого океана» (Это имело место в 1902 г., во время русских морских маневров вблизи Ревеля, на которых присутствовал имп. Вильгельм. Когда его яхта отходила, он, прощаясь, сигнализировал царю: «Адмирал Атлантического океана шлет привет адмиралу Тихого океана». (Примеч. ред.).).

Я, опять-таки, не мог знать содержания дружеской переписки между «Ники» и «Вилли». Позднее стали доходить слухи, что Вильгельм настраивает «Ники» против русского общественного движения, а еще позднее и против Думы. Были слухи и о том, что Вильгельм хочет отвлечь внимание царя от Европы к Азии. Позднее можно было прочесть, что это был **{30}** способ удалить соперника со спорной арены на Балканах и что он вполне удался. Мы читали знаменательную фразу Николая: «Я теперь вовсе не думаю о Константинополе; все мои интересы, все мое внимание обращено на Китай» (1896). Это совпадало с началом европейского вмешательства в китайско-японскую борьбу и германско-русско-английской оккупацией (Автор имеет в виду имевшую место в 1895 г. дипломатическую интервенцию России, Франции и Германии с целью заставить Японию смягчить условия только что заключенного ею в Симоносеки мирного договора с Китаем; в результате этой интервенции Япония была вынуждена отказаться от перехода к ней Ляо-дунского полуострова. Говоря о германско-русско-английской оккупации, автор имеет в виду занятие в 1897-98 г.г.: Германией Киао-Чао, Россией Порт-Артура и Англией Вэй-Хай-Вэя. (Примеч. ред.).). Однако, тогда же Англия заключила свой особый союз с Японией (1902), а Франция требовала эвакуации русских войск из Маньчжурии (1903). Темные дельцы при царском дворе помешали этому — и втравили Россию в войну с Японией, которая кончилась поражением России (1904). Готовясь к этой войне, русская дипломатия обеспечила себя равноправным соглашением с Австро-Венгрией об обоюдном сохранении status quo на Балканах (1897) (Говоря: «готовясь к этой войне», автор имеет в виду не приготовления, в подлинном смысле слова, к Русско-японской войне, которая в 1897 г. не предвиделась, а желание России в то время избежать осложнений на Балканах, — «заморозить», Восточный вопрос, по выражению Лобанова-Ростовского, чтобы иметь свободные руки на Дальнем Востоке. (Примеч. ред.).). Перед самой войной был заключен договор Николая с Францем-Иосифом в Мюрцштеге (1903) о македонских реформах. Позднее я узнал, что Вильгельм и после русского поражения не потерял своего влияния на Николая. К коварству он присоединил даже, во время морской прогулки в Бьерке (1905), моральное насилие. Он попытался вырвать у царя, без ведома министра иностранных дел, нелепый русско-германский договор, противоречивший англо-французской ориентации. Конечно, обман был тотчас раскрыт.

Внимание Николая теперь снова обратилось на Балканы, где усиливались угрожающие признаки **{31}** турецкого разложения. Но Россия вернулась туда ослабленной и потерявшей значительную часть своего престижа и влияния на славянские народности. Этим воспользовалась Австро-Венгрия, чтобы добиться для «лоскутной» империи Франца-Иосифа господствующего положения, подчинив себе славянство — и особенно сербство. В королевстве Сербии влияние Австрии преобладало при короле

Милане и его наследнике Александре. Но династия Обреновичей оборвалась убийством Александра и его супруги Драги (1903). На престол вступил франкофил и представитель дружественной России династии Карагеоргиевичей, престарелый Петр. Черногорией правил Николай, славянский «герой», пользовавшийся русской субсидией и удачно выдавший двух дочерей, Милицу и Анастасию, петербургских институток, за двух русских великих князей — Петра и Николая Николаевичей. В Болгарии искусно лавировал между русофильскими либеральными министрами и оппортунистами-консерваторами князь Фердинанд, скрывая до поры до времени свои австро-германские связи. Казалось, у России сохранялись твердые опорные пункты. Но это только казалось, — пока она была сильна. Уже с 1906 г. положение изменилось. В октябре этого года австро-венгерским министром иностранных дел был назначен бар. Эренталь, отлично изучивший за много лет своего пребывания в Петербурге слабые стороны русского режима, имевший друзей среди русских правых сановников (Шванебах) и внимательно следивший за революционным движением 1905-1906 гг. При Эрентале обострилась открытая борьба Австрии против национального движения за «Великую Сербию» и против независимого положения (прежде всего, экономического) королевства Сербии. Тридцатилетняя «оккупация и управление» в Боснии и Герцеговине, — местности, которые сербы считали «колыбелью» своей национальности, — служила при этом удобным исходным пунктом для дальнейших захватов.

За Австро-Венгрией, конечно, стояла Германия; но Австрия была достаточно сильна, чтобы вести самостоятельно свою балканскую политику. Вильгельм вел свою **{32}** Weltpolitik (Мировая политика.) и в своих колониальных стремлениях сталкивался с Англией и Францией, рассчитывая на поддержку России. Но после Бьерке и особенно после неудачи в Алжезирасе, где Россия его не поддержала, он перестал верить в прочность монархических и династических уз, связывавших его с Николаем. Об этой перемене он сам заявил открыто нашему послу Остен-Сакену (июнь, 1906). Разделение Европы на два противоположных лагеря, Entente (Англо-франко-русское согласие.) и Triplice (Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии.), становилось всё определеннее. Центром антагонизма между обоими было усиление соперничества между «дядей» и «племянником», Эдуардом VII и Вильгельмом. Вильгельм ненавидел «дядю»; Эдуард платил ему насмешливым презрением. С 1906 года английский король ввел Россию в сеть своей сложной политики, которую Вильгельм называл «окружением» Германии. И две различные линии антагонизма, русско-австро-балканская и германско-англо-азиатская, скрестились. В Петербурге энергично работал талантливый британский посол А. Никольсон, ведший переговоры с А. П. Извольским о разграничении сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете, где задевались (особенно в Персидском заливе) интересы Германии. В 1906 году внешняя политика России была парализована внутренней смутой, в которой Извольский вел, как мы видели, линию примирения с Думой. Но в 1907 году Никольсону удалось заключить с Извольским три договора о разграничении отношений в упомянутых странах. В то же время обострился интерес Англии (а также и Италии) к разгоравшемуся балканскому кризису. Старые нити были натянуты до разрыва.

Так сложилась общая картина международного положения к началу достопамятного 1908 года. Повторяю, далеко не все в этой картине связывалось в моем тогдашнем представлении. Европейская сторона конфликта была мне гораздо менее ясна, чем балканская. Этой неравномерностью определилось и мое отношение к событиям 1908 года.

{33} Год сразу начался ярким диссонансом, подчеркнувшим русско-австрийский антагонизм на Балканах. 27 января Эренталь произнес перед австрийско-венгерскими делегациями речь, в которой сообщил о проекте постройки отрезка железной дороги через турецкий санджак Новибазар. Этот отрезок отделял сербов королевства от сербов Черногории, Герцеговины и Боснии, но соединял Вену (через Сараево) с путем на Салоники. В то же время он закреплял за Австрией центральный стратегический пункт для продвижения в турецкие владения. Речь Эренталя произвела громадную сенсацию, как наглядное проявление захватной политики. Извольский поспешил противопоставить австрийскому проекту поперечный славянский, соединявший Дунай с Адриатическим морем. Этот путь обеспечивал выход к морю через Черногорию или через Далмацию; им была заинтересована, через Албанию, и Италия. Ни один проект не осуществился; но противоположность интересов была ярко подчеркнута, и немедленно же конфликт из балканского стал европейским. С русской стороны было заявлено, что Австрия нарушила Мюрцштегский договор. А Англия требовала расширения прямого общеевропейского влияния на Турцию в македонском вопросе. Против этого решительно возражали и Австрия, и Германия. 26 марта Извольский в особой ноте настаивал на назначении генерал-губернатора в Македонии. А 9 июня 1908 г. состоялось давно задуманное свидание Эдуарда VII с Николаем II в Ревеле, во время которого была выработана новая программа македонских реформ.

Обыкновенно, в случае особенного напора Европы на Турцию в защиту христианского

населения, турецкие султаны опубликовывали какой-нибудь собственный проект введения самоуправления провинций. Проходил опасный момент, и все эти хатти-шерифы (1839), хатти-хумаюны (1856), даже «конституция» Митхада (1876) и «законы» о вилайетах (1888) оставались на бумаге. Старый турецкий режим, мне хорошо известный, продолжал безнаказанно существовать по-прежнему. Но на этот раз случилось нечто неожиданное. Больной человек, которого привыкла опекать Европа, вдруг ожил — **{34}** не в лице правительства, а в лице самого турецкого народа. По требованию турецкой армии, «кровавый» султан Абдул-Хамид был принужден отказаться от престола. В Турции начиналась новая либеральная эра, и 24 июля появилась новая радикальная конституция, закреплявшая победу «молодой Турции». Я почувствовал, что мои знания о Турции теперь уже недостаточны, и решил в каникулы 1908 г. предпринять новую поездку по Балканам.

Я приехал в Константинополь как раз вовремя, чтобы застать инаугурацию нового султана Магомета V. Я мог наблюдать торжественную процессию введения султана в Высокую Порту. Но здесь нечего было делать. Восстание шло из Салоник, где и находились главные вожди «младотурок». Побывав в редакции оппозиционной турецкой газеты, — где меня встретили, как собрата по оружию, известного русского радикала, и разговор велся в повышенном тоне, — я на другой день выехал в Салоники. В отделении вагона против меня сидели два пассажира: один оказался турком, другой — болгарином. Скоро завязался оживленный разговор, который для меня послужил прекрасной интродукцией к пониманию турецкой новой эры. Турок был одет в поношенный серый костюм; но скоро я, заметил, что на каждой остановке поезда его ожидали депутации, к которым он выходил для краткой беседы.

Его неважный французский язык не свидетельствовал о высокой культуре; но это, очевидно, не мешало ему играть какую-то важную роль среди своих. Постепенно я узнал, что его профессия — почтовый чиновник, а имя — Талаад. Это был один из главных младотурецких вождей — свой среди местного населения. Болгарин был, очевидно, членом македонского революционного движения. Он в восторженных выражениях, безоговорочно, приветствовал младотурецкий переворот. Кончены теперь наши распри; кончена борьба; мы все теперь равны; мы все — «оттоманы», равноправные граждане, без различия рас и религий! Это было для меня непривычно и неожиданно. Передо мной сидели вчерашние господин и раб, палач и жертва, и я думал про себя: куда же **{35}** делись привычки векового владычества с одной стороны, и замкнутость христианской «райи» — с другой? И что будет, если «равенство» выразится в потере хотя бы того религиозного прикрытия, под которым скрывалась фактическая неприкосновенность христианской общины? Все же я поддался общему настроению и склонен был поверить, что революция сделала чудо.

В Салониках я поселился в Cristal Palace Hotel — и был радостно удивлен, когда оказалось, что там же живет и столуется мой новый турецкий знакомый. Мы стали каждый день встречаться у табльд'ота, и между нами завязались долгие беседы. Талаад расспрашивал меня о русской революции и о нашей борьбе с самодержавием, а я его — о причинах и ходе турецкого движения. Их идеологами и руководителями были тогда турецкие эмигранты в Париже. Их партия называлась «Единение и прогресс», «Иттихад ве терекки»; их лозунг — единая оттоманская нация. Этот лозунг, впрочем, уже начал принимать, сколько можно было понять, узкий национальный оттенок: «Турция для турков». Это значило, во-первых, в международном смысле, свобода от иностранной опеки. Но это могло значить также: преобладание господствующей расы. И я был несколько озадачен, когда расспросы меня направились не в сторону Парижа или Петербурга, а в сторону Берлина. Какая там «конституция»? И как организованы в Германии гражданские свободы?

В числе новых знакомств я особенно был заинтересован беседой с Хильми-пашой, известным генерал-инспектором Македонии. У него интерес к Германии приобрел уже вполне устоявшийся характер. Между двумя частями лозунга: «единение и прогресс», — очевидно, первая половина преобладала. Здесь была в зародыше вся будущая история диктатуры комитета Union et Progrés над либеральным правительством, а в самом комитете — диктатуры военной власти над комитетом. Недаром уже тут, в Салониках, руководители нетерпеливо ждали приезда из Малой Азии Энвера-паши и устроили ему триумфальную встречу. Разумеется, обо всем этом тогда можно было только догадываться; но наблюдений было достаточно, **{36}** чтобы задуматься о будущем. Главный интерес моего салоникского пребывания был исчерпан — и я мог ехать дальше. На очереди стоял разыгравшийся сербо-австрийский конфликт.

Я направился в Белград и остановился тут на этот раз несколько дольше, чем прежде. У меня были в столице Сербии университетские друзья, познакомившие меня с молодым поколением политических деятелей, а также с молодым офицерством. Мой спор о болгаризме, господствующей

народности Македонии, еще не успел тогда испортить моих отношений с сербами, а моя поездка 1904 года по неосвобожденным сербским землям и начавшееся сближение этого поколения с молодыми болгарами нас сблизили. Как я уже упоминал, борьба за национальное освобождение переходила из рук поколения влиятельных общинных старейшин к университетской молодежи и принимала революционный характер. Я нашел теперь, что это движение гораздо дальше продвинулось, нежели я ожидал. И со стороны Австро-Венгрии оно уже вызывало, как сказано, гораздо более острое сопротивление. К этому времени относятся знаменитые процессы Масарика против фальсификаций австрийской полиции, нашумевшее дело о подброшенных шпионом Настичем бомбах и т. д. С сербской стороны сорганизовалось для борьбы подпольное сообщество «Омладины».

По традиции первых Дум, я продолжал и теперь держаться в стороне от официальных представителей России на Балканах; и они, в свою очередь, зная о моем отрицательном отношении к русской балканской политике, платили мне тем же. Отсюда неизбежно вытекала некоторая однородность моих впечатлений, связанных с радикальными кругами балканских народностей. Македонский деятель Ризов посвятил меня в тайну секретных переговоров между болгарской и сербской политической молодежью уже с 1904 года — год «Ильинденского» восстания в Македонии. Этот факт уже показывал, что национальное движение вышло за пределы местной узко-национальной борьбы, с одной стороны, и официальной русской опеки, с другой. Но я не ожидал, что **{37}** эти линии разошлись так далеко. Из общения с сербской военной молодежью я вынес два новых для себя впечатления. Первое было то, что эта молодежь совершенно не считалась с русской дипломатией. Падение русского престижа на Балканах стало тогда уже для меня совершенно очевидно. Второе впечатление было то, что, рассчитывая на свои собственные силы, эта молодежь, несомненно, чрезвычайно их преувеличивала. Ожидание войны с Австрией переходило здесь в нетерпеливую готовность сразиться, и успех казался легким и несомненным. То и другое настроение казалось настолько всеобщим и бесспорным, что входить в пререкания на эти темы было совершенно бесполезно; да я и не мог охлаждать надежд, которые шевелились у меня самого. Не помню, насколько эти впечатления отразились в моих тогдашних газетных корреспонденциях. Но впоследствии они мне пригодились.

Ввиду нашумевшего спора о направлении железных дорог — дунайском или салоникском — мне хотелось познакомиться с топографией этих направлений. В поездку 1904 г. я видел только каменистый и бесплодный фасад Черногории — со стороны Котора и Цетинье. При содействии Ризова, тогда бывшего болгарским представителем в Цетинье, мне удалось посетить богатую равнинную часть страны. Мы проехали вместе с моим любезным комментатором юго-восточную Черногорию через Подгорицу, прокатились через живописное Скутарийское озеро, выехали к Вирбазару, к порту Антивари и к Ульцину (Дульциньо) на Адриатике. Препятствия, поставленные здесь австрийцами, выяснялись наглядно. Много нового я узнал попутно и о теневой стороне управления Николая Черногорского (о чем говорил раньше).

Я побывал затем вторично в Сараево, — чтобы проехать оттуда по новопостроенной железной дороге через живописный горный ландшафт к границе Новобазарского санджака, откуда должен был пойти отрезок линии до Митровицы — южного конца санджака, мне уже известного по поездке в Старую Сербию. Здесь можно было отметить искусственность и трудность **{38}** инженерной задачи, поставленной Эренталем. Она потом иллюстрировалась тем, что, по миновании политической надобности, Эренталь вернул Новобазарский санджак в управление Турции. Я собрал также дополнительные официальные данные об австро-венгерском управлении, кадастре, национальном и религиозном составе населения Боснии и Герцеговины и т. д. Заехав, наконец, на обратном пути, в Загреб, я познакомился с хорватскими деятелями конституционной (в отличие от революционной) борьбы и осведомился об их успехах.

К осенней сессии Думы я возвращался, вооруженный новыми впечатлениями. Но тут произошли крупные события на Балканах, по поводу которых пришлось обсуждать русскую политику уже не с кафедры Думы, а в печати (Всё мною написанное по этому поводу я собрал в книгу «Балканский кризис и политика Извольского», вышедшую в 1910 г. Выступления министра иностранных дел, входившие в прерогативу монарха, в Думе стали редки, и критиковать его с трибуны приходилось почти лишь по поводу сметы министерства. (Прим. автора).).

Мое личное знакомство с А. П. Извольским ограничивалось встречей у Столыпина и краткой беседой после нее, в которой он рекомендовал себя либералом и европейцем. Позднее я узнал, что он защищал идею министерства из умеренного большинства Государственной Думы не только в Совете министров, но и перед Государем. В Европе отношение к нему было двойственное. Эдуард VII, познакомившийся с Извольским при либеральном копенгагенском дворе, заинтересовался дипломатическим моноклем и эпиграмматическими замечаниями будущего министра — и признал его дипломатом «большого стиля». Эдуард был тонким ценителем людей; легкая ирония и серьезное

признание смешивались в этом впечатлении. Другие отмечали позерство Извольского, но не отрицали блестящего характера его бесед — скорее салонного, чем профессионального характера — и признавали начитанность и широкие взгляды министра. Всем своим обликом Извольский напоминал культурного русского «барина», с показными, положительными и отрицательными, чертами этого типа.
{39} Таким он проявил себя и в знаменитой интимной беседе с Эренталем, в гостях у его преемника гр. Берхтольда, в замке Бухлау, 15-16 сентября 1908 г. Оба собеседника потом толковали смысл этой «джентльменской» беседы различно. Извольский утверждал, что состоялся форменный сговор: Эренталь получал Боснию и Герцеговину, Извольский — пересмотр вопроса о Дарданеллах на европейской конференции, которую хотел организовать; напротив, Эренталь заявлял, что никакого уговора не было, а было лишь обещание дружественной поддержки на конференции. Пока Извольский разъезжал для осуществления своего плана по европейским столицам, Эренталь аннексировал Боснию и Герцеговину, а Фердинанд в тот же день объявил Болгарию независимой, а себя «царем болгар» (5 октября). Извольский горько жаловался на двуличность и предательство австро-венгерского министра. Если верны сведения, что в Ревеле была беседа не только о Балканах, но и о проливах, тогда становится понятной надежда Извольского получить поддержку в Лондоне — и самый план его связать аннексию Боснии с открытием Дарданелл для русского флота. Но предметы торговли были слишком неравноценны. Аннексия, после Рейхштадтского и Берлинского договоров и после тридцатилетнего австро-венгерского управления Боснией и Герцеговиной, была шагом почти автоматическим, тогда как решение дарданелльского вопроса, ставшего с 1841 г. вопросом европейским, всегда связывалось с моментом окончательного разложения и раздела Турции, — чего Англия никогда не хотела, а теперь не хотела и Германия. И Извольский ни в Лондоне, ни в Париже поддержки не встретил, хотя и предупреждал Грэя, что без проливов ему нельзя вернуться в Петербург и что он будет заменен «реакционным» министром. Эдуард VII, не желая испортить впечатлений Ревеля, убеждал Грэя уступить; но Грэй был тверд, и Извольский вернулся с пустыми руками. А Эренталь, зная слабость русской позиции, продолжал утилизировать одержанный успех за счет Сербии. 19 марта 1909 г. он послал Сербии ультиматум, в котором требовал демобилизации **{40}** сербской армии и обязательства — изменить политику по отношению к Австро-Венгрии и впредь жить с ней в добром соседстве.
Когда Извольский попробовал вмешаться, то через три дня явился к нему германский посол Пурталес и потребовал безусловного признания аннексии Боснии и Герцеговины. Германия впервые выступила тут из-за кулис. Совет министров решил уступить.

Ряд этих неудач — свидание в Бухлау, аннексия, австрийский и германский ультиматумы и безусловная сдача России — произвели огромное и тяжелое впечатление в русском обществе всех направлений. Обвинение в провале сосредоточилось на личности и политике Извольского. И моя позиция совпала с настроениями националистов. Шаг за шагом я следил за неудачами Извольского в «Речи», не стесняясь в осуждении министра. Я думаю теперь, что я был несправедлив к Извольскому. Если это была политика «большого стиля», то она, конечно, не считалась с тогдашней слабостью России вообще — и на Балканах в особенности. Столыпин очень метко охарактеризовал эту политику, как действие «рычага без точки опоры». Но во всяком случае, если Извольский потерпел неудачу, — неудачи повторялись и после него, — то он преследовал не свою личную политику, а политику императора. Мысль о взятии Дарданелл и Константинополя была постоянной мыслью Николая II, и к этой мысли он неоднократно возвращался. В надписи на докладе 30 августа 1916 г. находим его слова: «Мы должны покончить с Турцией; ее место — не в Европе».

В 1908 году и позднее я был далек от этого намерения, не только потому, что настроился дружественно по отношению к младотуркам и ожидал от них серьезной реформы Турции, но и потому, что мое изучение Восточного вопроса давно уже показало мне, какие серьезные препятствия на этом пути встретятся нам со стороны Европы. Свидетельствовать о моем осторожном отношении к вопросу о Дарданеллах могут хотя бы мои статьи о нейтрализации проливов в 1913, 1915 и в начале 1917 года. Только наше соглашение с союзниками **{41}** 1915 г. настроило меня смелее — в смысле осуществления предоставленных нам уже формально прав, причем про себя я и тогда не переставал думать о затруднениях, какие будут нам противопоставлены — даже в случае нашей победы. Освобождение славянских земель от турецкого ига — это было одно дело; изгнание турок из Европы представлялось обломком старой официальной традиции; а их добровольное удаление — прежде всего идейное — стало возможным только после реформы Кемаля Ататюрка и переноса центра государства в Анкару, — о чем, конечно, никто тогда не думал.

В. Думская делегация в Англию

Отношение английского общественного мнения к Государственной Думе всех четырех созывов оказало заметное влияние на сближение официальной Англии с официальной Россией. Но оно причинило и немало затруднений английскому правительству в его сношениях с русским. В особенности эти затруднения почувствовались, как только обнаружилось, что созыв Первой Думы был не моментом примирения, а новым этапом борьбы со старым порядком. Недавно (1937) вышедшая в печати переписка А. П. Извольского с русским послом в Лондоне гр. Бенкендорфом за 1906 год иллюстрирует рост внутренних разногласий в Англии по этому поводу, и я воспользуюсь несколькими цитатами из нее — в качестве предисловия к нашему визиту 1909 года. Как известно, русская делегация членов Думы (там был наш Родичев) и Государственного Совета приехала в Лондон на съезд междупарламентского союза мира как раз в дни роспуска Первой Думы. Премьер Кемпбелл-Баннерман произнес по этому поводу знаменитые слова: "La Douma est morte, vive la Douma" (Дума умерла — да здравствует Дума!). Гр. Бенкендорф сообщает о впечатлении, произведенном его речью, в таких выражениях: «Его речь произвела в оппозиции и даже при дворе, в части его партии, — той, которая его не любит, — впечатление урагана **{42}** против него... Это могло бы дойти до министерского кризиса с большими дебатами в парламенте. Вы видите, что бы из этого вышло. Я не мог дать себя использовать для этого, меня на это толкали» (к сожалению, фраза в печатном тексте оборвана)... Визит английской эскадры в Петербург как раз перед этим был отменен по русскому предложению. Дальше началось приспособление к создавшемуся положению в России. Бенкендорф одобрял Столыпина, а после покушения на него отметил перемену общественного мнения в его пользу и предложил называть «революционное» движение (что предполагает «реформы») — «террористическим».

Но левое течение общественного мнения, «литераторы и наивные люди» продолжали делать неприятности. Они осенью, в ожидании выборов во Вторую Думу, затеяли составить «мемуар» или адрес Думе и послать депутацию в Россию. Я не знаю результатов этого решения, — если только это не тот адрес Муромцеву в красивом переплете, подписанный левыми именами, который уже по смерти Муромцева (1910) был мне вручен для передачи его вдове (что я и исполнил). Очевидно, исход выборов во Вторую Думу помешал выполнению плана, как он был задуман. Всё же, проект посылки депутации с адресом обеспокоил русское представительство в Лондоне, тем более, что это совпало с новым погромом в Седлеце и с рядом обращений по этому поводу к европейскому общественному мнению. Какое-то мое интервью дошло тоже до Парижа и Лондона. Не помню его содержания, да и гр. Бенкендорф не мог найти его подлинного текста. Он только упоминает, что я там «осуждаю всякие террористические средства», и находит, однако, что «когда такой человек, как Милюков, и такая партия, как его партия, ведут кампанию за границей, этот прием доказывает, что, по той или другой причине, она находится в отчаянном положении (aux abois)». «Во всем этом, — прибавляет он, — я принимаю всерьез только Милюкова; остальные — ничтожества, не имеющие никакого значения и политического влияния».

Бенкендорф полагал, что «человек, как Милюков, мог бы иметь больше отклика, если бы сумел **{43}** взяться за дело», не так, как «открытые революционеры», но «и тогда он получил бы скудные результаты». Но, думая переубедить англичан, он «совершил ошибку». У Бенкендорфа уже было смутное опасение, что Вторая Дума будет «хуже первой»; но, думал он, вместо выжившего из ума Горемыкина, там будет Столыпин, «государственный человек небольшого размаха», но сильная личность, которая знает свой путь и «пойдет прямо к намеченной цели». Бенкендорф делал только одну оговорку, доказывавшую его проницательность: «почему такое ожесточение индивидуально против к. д. и этот флирт с противоположным лагерем? На этой покатости можно поскользнуться, если только не обладать сильным духом и решительной волей». Бенкендорф не знал только, что это «скольжение» вправо входило в систему. Обоим корреспондентам пришлось очень разочароваться и ждать осуществления своих надежд до Третьей Думы.

Проект приезда короля в начале 1907 г. пришлось отложить, и только в Ревеле удалось, наконец, в 1908 году, устроить свидание государей. Инструированный Никольсоном, Эдуард VII на этом свидании навел разговор со Столыпиным на тему о Третьей Думе, проявил неожиданную осведомленность и наговорил Столыпину много комплиментов по этому поводу. Не знаю, тогда ли же или несколько позже решено было отправить в Англию делегацию членов Третьей Думы. Во главе делегации была поставлена декоративная фигура председателя Думы (на отлете) Н. А. Хомякова — человека вполне культурного и лично порядочного, которого не стыдно было показать Европе.

Мне в нем всегда вспоминался участник санитарного отряда московского дворянства, каким я

его узнал в 1878 году: ленивый барин, отлынивавший от работы и отлеживавшийся на диване от кавказской летней жары. В делегации он был как-то незаметен. Правый фланг делегации представлен был красочной фигурой в другом смысле — гр. Бобринского, а левый фланг, для полноты, должен был представлять я. Обращение ко мне с этим предложением понятно после только что приведенных отзывов Бенкендорфа; но оно не считалось с той **{44}** репутацией, которую я имел в Англии среди левых. Всё сошло бы благополучно, если бы приезд делегации Третьей Думы не встретил резкой газетной критики и протеста с левой стороны, где еще не забыли участи Первой Думы. Члены делегации решили ответить печатно, и мне был принесен готовый текст контрпротеста для подписи. И по моему отношению к Третьей Думе, и по моим личным чувствам, и по моему положению относительно левых, подписать такой бумаги я не мог, изменить текст не хотели мои спутники, и я наотрез отказался от подписи. Это, конечно, вызвало большую сенсацию: я не исполнил главной функции, для которой был приглашен в их среду. Помню, как наш менеджер, профессор Лондонского университета Пэре (Pares), мой старый знакомый с 1905 года, — получивший за свою миссию потом титул баронета, — просиживал целыми часами в моем номере гостиницы, всячески убеждая подписать нашу декларацию, настаивая на моем согласии и, в ожидании, флегматично покуривая трубку. Я не сдавался и с своей стороны предложил простое решение. Пусть за всю делегацию подпишет Хомяков; я возражать не буду. Так и было решено.

Из эпизодов, связанных с этой поездкой, особенно запомнился один. Нас повезли в Эдинбург, с целью показать только что построенную морскую базу в Firth of Forth — доказательство доверия к новым друзьям. Показали древности и красоты живописного города, прокатили под мостом бесконечной длины, устроили, наконец, от города небольшой, закрытый банкет. Мимо нас промаршировала, играя на волынках, голоногая шотландская военная команда в традиционных клетчатых юбках. В заключение, сел за фортепиано пианист и заиграл, как полагается, английский гимн. Все присутствующие встали, и шотландские нотабли стройным хором пропели God save the King. Потом, в нашу честь, пианист заиграл русский гимн, и, увы, нас двое присутствующих, Бобринский и я, не оказались на высоте. Бобринский затянул фальшивым фальцетом. Я не вытерпел и, как умел, — но громко — пропел «Боже, царя храни». Получился скандал, обратный неподписанию **{45}** делегатской декларации. Долго после этого меня поносили за мой квасной патриотизм в партийных и предвыборных собраниях Петербурга.

Я не припомню других официальных приветствий в честь делегации. Ввиду разнобоя в печати, делегация Третьей Думы явно не пользовалась успехом. Я познакомился с сэром Эдвардом Грэем, министром иностранных дел, — и он произвел на меня наилучшее впечатление своей простотой обращения, вдумчивостью и отчетливостью своей речи, общим своим обликом искренности и честности. Я имел интересную беседу с военным министром Холдэном о его творении, «территориальных войсках», о которых он был высокого мнения. Молодой тогда Черчилль произвел на меня впечатление раскупоренной бутылки шампанского. Я побывал у Брайса — старая моя симпатия — и познакомился с его семьей, возобновил знакомство кое с кем из левых политических деятелей, виделся со старыми русскими друзьями. Но я боюсь смешать тогдашние встречи и беседы с впечатлениями других моих поездок в Англию: их было немало.

4. «НЕОСЛАВИЗМ» И ПАЦИФИЗМ

Прежде чем вернуться к воспоминаниям о деятельности в Третьей Думе, мне хочется остановиться на своем отношении к двум течениям, которые особенно ярко проявили себя в эти самые годы: к «неославизму» и пацифизму. Из своей балканской поездки я вывез обновленные чувства сочувствия к славянскому прогрессировавшему национализму и к его боевым настроениям. Эти чувства даже начали примирять со мной моих правых противников в Третьей Думе. Но тут же они встретили противовес в моем сопротивлении «неославизму» и в моих пацифистских стремлениях. Расскажу теперь о том и о другом.

Кажется, можно считать изобретателем звучного и привлекательного термина «неославизм» Крамаржа. По крайней мере, он его привез к нам в Петербург. Не зная Крамаржа лично, я привык относиться к его имени с уважением, как к организатору и главе младо-чешского **{46}** движения. В Петербурге мы встретились дружески. Но скоро это дружественное отношение стало прохладным, а затем заменилось более чем сдержанным. Я заметил, что в своем стремлении создать широкий фронт «неославизма» Крамарж обращается более к Столыпину и к полякам думского «коло», нежели к нам. Обнаружилась и цель визита, более политическая, чем идейная. Дело шло о том, чтобы примирить

русских поляков со Столыпиным и тем приобрести голоса австрийских поляков в венском парламенте; их не хватало для создания желательного Крамаржу большинства. Эта цель была прикрыта идеей возобновления славянских съездов, и первый из них был уже намечен в Софии. Я знал одного старого и почтенного деятеля идеи славянского единения в Софии, издателя небольшого журнала.

Но это был представитель не нового, а старого славизма, ближе всего связанного с русским славянофильством — и довольно смутного по содержанию. Около идеи Крамаржа и могли объединиться в России обломки старого славянофильства, обыкновенно люди консервативного направления. К ним могли, конечно, присоединиться и молодые элементы, вроде моего восторженного и наивного знакомого Лясковского, который с софийским съездом и с «неославизмом» связывал воинствующие стремления архаического «панславизма». Между тем, в лице Масарика, вождя новой славянской молодежи, я видел совсем другой тип, нежели запоздавшие последователи эпохи Колара и молодых годов Шафарика. От «панславизма» этого типа, которому положил конец уже Палацкий — и увлечения которого продолжали эксплуатировать австрийские враги славянства, до Масарика было очень далеко. Я не знал тогда, что и Масарик высказался против подделки «неославизма», не помню даже, знал ли о произведениях Гавличка, духовного учителя Масарика; позднее я с ними познакомился, как и с книгой Масарика о Гавличке. Но я уже чувствовал фальшь. На съезд в Софию я не поехал, как и на следующий, собравшийся в Праге. Этими двумя съездами, собственно, и кончилась пропаганда Крамаржа; он сам бросил эту затею, когда увидал, что задняя **{47}** мысль его политики не выгорела. «Неославизм» взвился ракетой, протрещал, и потух. Реальные задачи славянства пошли своим путем, мимо этой опасно вздутой идеологии.

В Москве продолжало действовать, в духе довольно умеренного славизма, под председательством кн. Павла Долгорукова, Общество Славянской Культуры — то самое, в котором когда-то мы искали точки примирения с поляками. Позднее князь Павел Дмитриевич организовал Общество Мира и культивировал пацифизм, — довольно неумеренный. Во время войны он как-то рассказывал нам — полушутя, полусерьезно, как, подъехав к самому фронту, у речки, разделявшей две армии, он доказывал немецкому офицеру на том берегу преимущества мира. Вероятно, это был единственный случай «братания» с русской стороны. Я давно сочувствовал пацифистским стремлениям; еще в Первой Думе я был членом и товарищем председателя междупарламентского Союза мира, которым декоративно руководил лорд Уэрдель, а деловым образом — неутомимый Христиан Ланге. Но мои надежды считались с реальностью.

Я прочел работу Блиоха, *(о нем см. на ldn-knigi)* который склонил Николая II организовать первую Гаагскую конференцию 1899 г., и внимательно следил за второй Гаагской конференцией 1907 г., против которой протестовали немцы (После созыва второй Гаагской конференции имп. Вильгельм сказал британскому послу сэру Франку Ласселю, что если в программу конференции будет включен вопрос об ограничении вооружений, Германия не примет участия в ней. В ответ на официальное предложение британского правительства обсудить на конференции вопрос об ограничении вооружений канцлер Бюлов заявил в рейхстаге, что германское правительство не может принять участие в дискуссии, которую оно считает непрактичною и даже опасною. (Прим. ред.).). Верхом успеха в развитии международного права представлялось мне тогда постепенное расширение содержания и распространение формулы обязательного арбитража. Но появление знаменитой книги Нормана Энджеля «Великая иллюзия» меня совершенно ошеломило. Автор доказывал, — и, казалось, доказывал неопровержимыми данными, — что войны должны **{48}** прекратиться просто потому, что они невыгодны. Победители и побежденные одинаково теряют, и никакие приобретения, ни материальные, ни территориальные, не приносят никакой выгоды. Как раз тогда петербургское отделение Общества Мира просило меня прочесть доклад о пацифизме; я развил в нем аргументы Нормана Энджеля и, несколько расширив текст, напечатал под заглавием: «Вооруженный мир и ограничение вооружений» (1911).

Не помню, насколько отразилось тут мое увлечение Энджелем. То были идиллические времена, когда правила международного права казались неприкосновенной святыней, когда Европа наслаждалась долголетним миром, колониальная борьба на время затихла, национальные претензии не поощрялись, «империализм» был почти бранным словом, и вечный мир вовсе не казался недостижимой перспективой.

У меня, однако, шевелились сомнения по поводу безупречности выводов Нормана Энджеля. Они представлялись неопровержимыми при допущении одной предпосылки: что весь мир — или, по крайней мере, вся Европа — стоит на одном культурном уровне с Англией. Но я знал, что это — не так, и «мировая политика» Вильгельма была наглядным опровержением этого. В предчувствии европейского вооруженного конфликта, великие державы как раз тогда начинали усиленно вооружаться. И «великая иллюзия» грозила великим разочарованием. Но это последовало не сразу: я

расскажу дальше о своей роли пацифиста на практике еще в годы балканских войн 1912-1913 годов.

5. МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТРЕТЬЕЙ ДУМЕ

Молодой русский историк Б. А. Евреинов, раннюю смерть которого мы все оплакивали, дал себе труд просмотреть стенографические отчеты заседаний Третьей и Четвертой Государственных Дум и составил по ним список моих выступлений на думской трибуне для моего семидесятилетнего юбилея (П. Н. Милюков. Сборник материалов по чествованию его семидесятилетия 1859-1929, под редакцией С. А. Смирнова, Н. Д. Авксентьева, М. А. Алданова, И. П. Демидова, Г. Б. Слиозберга, А. Ф. Ступницкого. Париж, 1929. (В продажу не поступила).). По этому списку я **{49}** составил прилагаемую здесь таблицу (См. приложение I-ое, в конце книги.), распределив материал по пяти сессиям Третьей Думы, по предметам выступлений и по календарным датам (11, V — 11 мая и т. д.). Я вернусь к содержанию этой таблицы, но прежде всего сделаю несколько общих замечаний о характере моей работы. Общее число моих выступлений — 73 в Третьей и 37 в Четвертой Думе — само по себе довольно значительно; но оно еще не дает понятия о количестве труда, положенного на мою думскую работу.

Когда И. И. Петрункевич настаивал на издании моих речей, я сделал вырезки из отчетов: получился том в 600-700 страниц большого формата, (издание не состоялось). По наказу думские речи должны были продолжаться не больше часа; но в обход наказа, на случай, если речь продолжалась дольше часа, какой-нибудь член фракции записывался говорить после оратора и, по наказу же, мог уступить ему свое место. Мне нередко приходилось пользоваться этой льготой. Но, чтобы сказать такую речь и заставить собрание ее выслушать, требовалась предварительная подготовка. Она, притом, не ограничивалась кабинетной работой, а предполагала участие в комиссии Думы, подготовлявшей доклад по данному вопросу. Левые группы Думы, обыкновенно ограничивавшиеся декларативными выступлениями, могли освободить себя от комиссионной стадии работы. Мы, при нашем взгляде на характер работы в Думе, этого не могли. Я, в качестве председателя фракции, должен был не только следить за общим ходом дел в Думе, но и знакомиться с материалами, подчас обширными, вносимыми в Думу разными ведомствами, принимать личное участие в разработке их в комиссиях, в которых подготовка доклада получала политическое значение (как, например, в бюджетной), и, наконец, брать на себя специальную работу по вопросам, по которым во фракции не находилось специализовавшихся сочленов. Все это объясняет то разнообразие тем, на которые мне приходилось говорить в общих собраниях Думы, а также и то количество предварительного труда, которое **{50}** требовалось употребить на подготовку этих выступлений.

Новое направление деятельности фракции, неизбежно, изменило отношение ее к Центральному комитету партии. Конечно, Центральный комитет в Москве и его отделение в Петербурге продолжали собираться в прежнем составе наших испытанных деятелей. Но некоторые из них, и притом главные, как осужденные по Выборгскому процессу, были формально отброшены от политической деятельности, а ее измельчание отбило у них, вместе с возможностью, и вкус к ее продолжению. Политика большинства Думы была отвратна, роль оппозиции, особенно по началу, казалась бесплодной и второстепенной, характер думской работы — мелким и будничным, а ее темп не давал возможности следить за нею и руководить ею со стороны. По необходимости, моя личная роль становилась гораздо более ответственной, чем прежде, и около меня складывался круг более молодых деятелей, имена которых, через печать, становились известны России. Куда-то, вдаль от нас, ото-. двигались и наши партийные группы в провинции. Их общее настроение, и прежде более левое, не поспевало эволюционировать за нами. Партийные съезды собирались все реже; 8-й и 9-й собрались уже при исключительных политических условиях 1917 года. Наша связь с провинцией поддерживалась регулярно издаваемыми отчетами фракции о ее деятельности в Думе; но откликов на эти отчеты было очень мало; до меня они не доходили.

Прежде чем перейти от этих общих замечаний к обзору моей деятельности, связанной с Третьей Государственной Думой, остановлюсь еще на моих личных делах за годы ее существования (1907-1912).

Из сказанного уже видно, что все мое внимание за это время было поглощено политикой. Для личных дел у меня уже почти не оставалось времени. Если мои академические друзья когда-либо могли оплакивать мой уход от научной работы, то это было именно в это десятилетие.

Я не мог даже просматривать прежних моих книг, выходивших новыми изданиями. Моя жена **{51}** открыла собственное издательство, держала корректуры, сносилась с книгопродавцами и вела счеты по продаже. В 1910 году умер В. О. Ключевский, и я написал воспоминания о нем. Это было своего рода прощание с периодом научного творчества. За эти годы до его смерти я регулярно посещал

Василия Осиповича в приобретенном им домике в Замоскворечье. Но наши беседы касались той же политики, которою Ключевский заинтересовался со времени своей кандидатуры в выборщики по кадетскому списку. Я ему аккуратно докладывал о ходе дел в Думе и о кулисах русской политики вообще, и наши взгляды вполне сходились.

Даже моя газетная работа сосредоточилась теперь на тех же темах, даваемых повседневной политической жизнью. В дни думских заседаний, общих и комиссионных, я приходил в редакцию поздно, там же писал статьи и передовицы, дремал на знаменитом редакционном кожаном диване в ожидании корректуры и последних известий — и уходил домой, зачастую далеко за полночь. Одно только свое любимое занятие я не прекращал, а расширил: занятие музыкой. У меня на дому регулярно собирался ансамбль в новом составе.

Первую скрипку играл молодой гвардейский офицер Ростовцев, брат знаменитого ученого; партию виолончели исполнял учитель словесности Нелидов, очень культурный человек, заканчивавший писательством свою педагогическую карьеру; партию рояли исполняла жена, я играл на альте или на второй скрипке. На почве музыки в эти годы я также завел знакомство с своей будущей второй женой, Н. В. Лавровой.

Знакомство это началось года за полтора до этого с мимолетной встречи на вокзале станции в Великих Луках, в ожидании ночного петербургского поезда. Пассажирское движение тогда еще не наладилось, вагоны были переполнены, носильщики отсутствовали, разношерстная публика сидела на чемоданах и на полу, расписание не выполнялось. По соседству я заметил молоденькую миловидную даму, очевидно не привыкшую к таким беспорядкам. Я помог ей перенести багаж и устроиться в купе. Она возвращалась от родных в Томск к мужу — инженеру-строителю **{52}** на Сибирской дороге; я заканчивал одну из своих предвыборных поездок.

На прощанье я дал ей свою визитную карточку, — карточку неизвестного ей лица, так как политикой она не занималась; ее муж объяснил ей, кто я такой. В какой-то темной истории он был убит рабочими, и Н. В. вернулась в Петербург. Я получил от нее записку, приглашавшую прийти «поскучать за чаем». «Скучать», однако, не пришлось. Нина Васильевна оказалась прекрасной музыкантшей, обладавшей не только блестящей техникой, но и тонким музыкальным вкусом, развитым серьезной консерваторской школой. Она покинула петербургскую консерваторию по настоянию жениха, весьма состоятельного человека, перед самыми выпускными экзаменами, и не смотрела на свое музыкальное образование как на профессию. Но музыкальное преподавательство было ее любимым занятием, и она рассчитывала, что кое-какие сохранившиеся консерваторские связи помогут ей найти частные уроки. За нею должны были привезти ее малолетнюю дочь Ксению и великолепный рояль Блютнера. Инструмент прибыл благополучно, и начались мои дуэты с взыскательной партнершей, привыкшей к строгой классической музыке. Мне пришлось подтянуться и даже подзубрить Крейцерову сонату Бетховена, чтобы не остаться за флагом. Мало-помалу эти дуэты вошли в привычку, а общие музыкальные вкусы, вместе с личными достоинствами Н. В., создали между нами прочные отношения, которым суждено было продолжаться до конца моей жизни.

Упомяну еще об одной черте, которая проявилась у меня за эти же годы: о вкусе к постоянной оседлости. Мои материальные возможности значительно увеличились в это время. К моему содержанию редактора газеты прибавилось жалованье члена Думы; продажа «Очерков», не терявших своей популярности, также давала постоянный дополнительный доход. Я обзавелся постоянной квартирой в одном из компанейских домов, построенных на пустыре Песков, и перебрался туда из Эртелева переулка. После моей первой поездки в Крым меня тянуло к южному берегу. Эта тяга увеличилась, **{53}** когда туда переселился И. И. Петрункевич, заболевший после случайного перелома ноги при выходе из трамвая в Петербурге. Он объявил нам, к нашему большому огорчению, что окончательно отказывается от непосредственного участия в практической политике, и жил в имении падчерицы, графини С. В. Паниной, в Гаспре, где раньше пользовались гостеприимством хозяйки гр. Толстой во время своей болезни и Чехов. Мы приезжали туда на каникулы с женой; А. С. Петрункевич, супруга Ивана Ильича, была хорошей музыкантшей, обожала Бетховена, и, вместе с Полем, известным впоследствии музыкальным критиком, исполнявшим на альте партию виолончели, мы разыгрывали Бетховенские трио.

Счастливый случай сделал нас собственниками участка, доставшегося по дешевой цене по разделу с пайщиками в нетронутой, дикой местности между мысом Айя и заливом Ласпи, с его рыбаками, ярко описанными в рассказе Куприна. На высоте, над морем, я построил домик, стоивший всего тысячу рублей, но состоявший из четырех комнатушек с восемью кроватями для детей и приезжих. Там мы провели несколько вакаций.

Затем открылась другая возможность — приобрести участок в Финляндии, в местности Ино, которая начинала заселяться дачниками. Мне было недосужно, но, по сообща обсужденному плану, жена построила здесь уже большую двухэтажную дачу. Место, выбранное нами, представляло высшую точку берега, и с верхней террасы открывался обширный вид: на востоке блистали в лучах заходящего солнца купола Кронштадта, а на юго-западе стушевывались в тумане мягкие очертания Лисьего Носа. Однако, обладание этим участком оказалось непродолжительным. В один прекрасный день пришла на мой участок группа генералов и офицеров, я повел их на террасу любоваться видом и сказал между прочим: вот, господа, милости просим сюда, когда приедет в гости Василий Иванович (так называли императора Вильгельма), лучшего места для встречи вы не найдете. Моряки оказались того же мнения и скоро вернулись с обязательным предложением отчудить участок для постройки форта. Отчуждение состоялось; дом был **{54}** разрушен и на месте моего кабинета стояла дальнобойная пушка. С трех точек — Кронштадта, Лисьего Носа и форта Ино пушечные выстрелы как раз сходились против нашей бывшей дачи, закрывая путь к Петербургу.

Наш интерес к прибрежной местности Финляндии, однако, не был исчерпан первой неудачной попыткой, Мы решили приобрести на полученные от экспроприации средства другой участок, за пределами новой военной зоны, получили несколько предложений от местных жителей и поехали на поиски. Проездом, мое внимание привлек своим живописным расположением один участок; оказалось, что его можно приобрести за недорогую цену, и мы на нем остановились. Дорога пересекала две половины участка. Верхняя, надгорная часть, густо облесенная соснами, пересекалась ущельем, на дне которого тек ручеек. Мне тотчас представилось доисторическое время, когда ручеек был горным потоком, промывшим себе путь к морю. Ручеек продолжался в нижней части участка, нес с собой отложения гумуса, редкие на этом песчаном берегу. На отлогом спуске образовался луг, кончавшийся заболоченной низиной у самого берега, отделенного лишь узкой полоской ивняка. У входа в нижний участок стояла старинная крестьянская изба, солидно сложенная из толстых бревен красной сосны, давно переведшейся в этой местности. За избой — классический четыреугольник полуразвалившихся служб: циклопическая постройка из грубых камней, деревянные амбары и, у самого входа, бревенчатая сторожка, которую можно было превратить в баню.

Лучшего сочетания особенностей всей Финляндии в миниатюре нельзя было найти; мы немедленно приобрели участок, и я принялся за перестройку. Внутренность моей избы представляла одну огромную комнату, четверть которой была занята такой же огромной старинной печью с обширными полатями и громоздким дымоходом. Я решил разобрать печь и заменить ее кафельной печкой балканского и чешского образца. К стенам я пристроил полки для книг, закрытые дверцами, окрашенными под красное дерево. Получился большой кабинет, куда я перевез часть своей библиотеки, **{55}** заключавшую в себе исторические журналы, материалы, издания актов и документов, коллекции изданий по географии России, словом, все, в чем я уже не нуждался для текущей работы, кроме сочинений по русской истории. Туда перешел также первоначальный состав моей старой московской библиотеки старых и новых классиков, напоминавший мне историю моего собственного интеллектуального роста. Петербургская часть библиотеки наполнялась уже изданиями, связанными с моей политической работой. Одной большой комнаты было, конечно, мало, и я приступил к пристройкам: со стороны въезда спланировали переднюю, с двумя спальнями по обе стороны. С противоположной стороны была пристроена широкая терраса. Над всем зданием был надстроен верхний этаж легкой постройки со спальнями и с балконом над террасой. На стороне, обращенной к морю, я вывел башенку, кончавшуюся светелкой, удобной для занятий. Наружный фасад получил вид постройки в стиле германского Fachwerk (Род постройки домов, при которой наружные стены состоят из рам, заполняемых кирпичом, камнем или глиною. (Прим. Ред.).), каменной кладки по деревянному переплету, принявшему орнаментальные формы и заполненному штукатуркой.

Этот стиль казался мне наиболее подходящим для севера. Все эти пристройки выполнил опытный финский плотник со своим товарищем, по моим планам, за недорогую цену. Получился живописный домик, и наши соседи, семья Леонида Андреева, приходили даже специально его фотографировать. Верхним участком, богатым водой, стекавшей по склону, я воспользовался для обводнения нижнего участка. Я нашел источник, каптировал его и провел трубами воду к постройке, с краном для кухни, шлангами для огорода и даже с водоемом, среди которого бил фонтан с вертевшимися фигурными струями, — когда вода не употреблялась для других целей. Я очень любил этот участок, на который было положено много моей личной работы, даже физической. Семья подросших детей, Сергей и Наталия («Така»), проводила здесь лето и приезжала на Рождество для зимнего спорта.

{56} Среди верхних сосен мы выбирали место для елки, на нижнем отлогом спуске практиковались на лыжах, замерзшее болотце внизу превращали в каток, и Така подшучивала надо мной, когда я принимал участие в упражнениях, цитируя пушкинский стих: «на тонких лапках гусь тяжелый» и т. д. Летом верхнюю площадку над дорогой мы расчистили и выровняли под теннис.

Эта сельская идиллия, в годы эмиграции, кончилась печально. Мои младшие дети сделались жертвой войны и белой борьбы, а дача была сожжена добрыми финляндскими соседями, чтобы побудить нас продать им участок. Они очень зарились на луг, единственный в окрестностях орошенный водой, и предлагали раньше сдать его им в аренду, на что я не соглашался. Библиотеку я своевременно вывез от нападений «Василия Ивановича» в глухую деревню, где нашел ее, уже при большевиках, и вывез в Америку проф. Франк Гольдер, причем пароход, перевозивший ее, потерпел крушение, и мне пришлось продать ее Stanford University, California, чтобы уплатить премию и кое-что выручить.

Перейду теперь к обзору моей личной деятельности в заседаниях Думы, следуя рубрикам приводимой таблицы (См. приложение 1-ое.). Во главе ее стоят вопросы конституции и государственного права. Здесь мы проводили основные принципы государственного устройства — те же самые, которые были заявлены партией в первых двух Думах.

Но в Третьей приходилось проводить их, исходя скорее от существующего, нежели от желательного. Законодательный почин Государственной Думы был вообще ограничен, и осуществление его предполагало наличность большинства, которого мы не имели. Законодательное предположение могло быть внесено за подписью тридцати членов Думы (а нас было 50); но если оно не отвергалось сразу, то сдавалось в комиссию для предварительного обсуждения его «желательности». Только признанное желательным, оно могло обсуждаться в заседании Думы и быть принято во внимание правительством. Таким образом, нам приходилось, чтобы не **{57}** разрывать с действительностью, чаще всего проводить свои взгляды, критикуя предположения большинства или заявления и законопроекты правительства. На этой почве мы иногда могли получить и большинство или к нему присоединиться. Характерный пример того, какие комбинации могли при этом получиться, я приведу из первой же сессии Думы. В заседании 24 апреля (это не отмечено в таблице) мне пришлось выступить в защиту предложения бюджетной комиссии образовать, в порядке думского законодательства, анкетную комиссию для исследования хозяйства железных дорог. Правительство уже с Первой Думы не допускало устройства подобных думских расследований с участием посторонних.

И министр финансов Коковцов, отвечая мне, бросил неосторожную боевую фразу: «Слава Богу, у нас нет парламента». Он, вероятно, хотел сказать: «парламентаризма», т. е. режима министерской ответственности. Против этого возражать было бы невозможно. Но на его фразу я тотчас же ответил: «Слава Богу, у нас есть конституция». В печати я обыкновенно употреблял выражение: «лжеконституционализм» или «псевдо-обновленный строй».

Но здесь подчеркнуть наличность конституционных начал уже в существующих основных законах было совершенно необходимо, так как мы вели борьбу за их расширение и, следовательно, против их огульного отрицания. На другой день октябрист гр. Уваров, отличавшийся тем, что носил в петлице белый цветок в подражание старому Чемберлэну, заявил, по поручению своей фракции, что Дума есть тоже парламент, — что было, в общем смысле, совершенно правильно. А председатель Думы, которым был тогда Н. А. Хомяков, размахнулся на заявление, что выражение Коковцова «неуместно». Этого, конечно, Коковцов не мог стерпеть, и через день, 26 апреля, Хомякову пришлось — очевидно, по требованию правительства — формально взять свои слова обратно и извиниться перед министром с той же председательской трибуны. Дума все-таки приняла предложение бюджетной комиссии, но летом 1908 г. состоялось высочайшее повеление об учреждении анкетной комиссии в порядке верховного **{58}** управления, с участием назначенных правительством членов Думы и Государственного Совета. И октябристы туда послали своего представителя. Тут сказался весь диапазон думских прав и думского бесправия.

Не останавливаясь здесь на других своих выступлениях по первой рубрике (к ним я вернусь дальше), я перехожу к второй — аграрному вопросу. По первой рубрике мы могли идти общим фронтом с частью большинства. Здесь это было невозможно, так как на конфликте по аграрному вопросу было построено самое существование Третьей Думы. Тем не менее, нашей роли в этом вопросе я приписываю особенное значение — не в виду непосредственных результатов, которые были ничтожны, но в виду того отголоска среди крестьянства, который получили наши выступления против Столыпинско-дворянского законодательства.

Как известно, немедленно после роспуска Второй Думы, в порядке чрезвычайного внедумского законодательства (статья 87 основных законов), был издан указ 9 ноября 1906 г., предопределивший

направление аграрной политики в чисто дворянском духе. Крыжановский утверждал, что Столыпин не прибавил к дворянскому проекту ничего своего. Это было насильственным разрешением спора, который давно уже велся между правым и левым лагерем русской общественности — и который кадетская партия пыталась разрешить в духе разумного компромисса. Со времени крестьянского освобождения 1861 года величина земельного надела, уже тогда отведенного крестьянам в недостаточных размерах, значительно уменьшилась вследствие увеличения населения. «Малоземелье» было признано основной причиной крестьянского обеднения. Устранение этой причины сами крестьяне видели в разделе между ними частновладельческих, дворянских, казенных, дворцовых земель и мечтали добиться этого раздела или от царской власти или революционным путем. Дворяне хотели сохранить не только свои земли, но и рабочие руки, спекулируя на недостаточности наделов и на дорогих ценах аренды крестьянами прилегающих участков. Таким образом крестьяне были закабалены помещику или **{59}** местному «кулаку». Другими путями борьбы против малоземелья были — или покупка крестьянами через дворянский и крестьянский банк земель у обедневшего и разорившегося дворянства, или переселение на свободные земли окраин, или — повышение производительности земли путем улучшенных приемов культуры, невозможных в примитивных условиях общинного землевладения. Но продажа дворянских земель быстро ослабляла «правящий класс»; переселение давно практиковалось, но, несмотря на правительственный оптимизм, уже начинало истощать запас наиболее удобных земель в Сибири. Оставалось — разрушение общины по принципу: богатым прибавится, у бедных отнимется. Этим, во-первых, отвлекалось внимание крестьянства от раздела дворянских земель и вбивался клин между зажиточными и бедными крестьянами; во-вторых — создавался класс «крепких мужиков», кандидатов на пополнение убывающих рядов «правящего класса», и, в-третьих, приобреталось либеральное прикрытие классовой реформы: освобождалась частная инициатива и частная собственность от принудительных тисков, в которых оставили крестьян освободители 1861 года. Левая общественность всем этим дворянским планам противопоставляла защиту неотчуждаемости наделов крестьянской общины, сохранение в ней старых порядков переделов, частичных и общих, удешевление аренды, улучшение продуктивности земледелия путем перехода к кооперативному, машинному и интенсивному хозяйству, но, прежде всего, как ближайший и неизбежный прием против основного зла — крестьянского малоземелья, ту или другую форму принудительной экспроприации частновладельческих земель.

Между этими двумя тенденциями, дворянской и демократической, не могло быть примирения: шла классовая борьба, в которой правительство приняло сторону правящего класса. Третья Дума должна была, при этой поддержке, решить окончательно вопрос в пользу «правящего класса».

Разрушение общины и переход к частному землевладению должны были служить при этом наиболее достижимым способом.

{60} Как требовал закон, указ 9 ноября был внесен немедленно в Думу, и 23 октября 1908 г. началось его обсуждение, продолжавшееся до 8 мая 1909 г. Большинство, в своем стремлении ускорить разрушение общины, пошло еще дальше правительства. Оно ввело в закон постановление, по которому все общины, в которых не было переделов в течение 24 лет, автоматически признавались перешедшими к наследственно-участковому владению, а участки, которыми крестьяне пользовались ко времени издания закона, тоже автоматически признавались их личной собственностью. Однако, установить факт прекращения переделов, как и указывала оппозиция, оказалось практически трудным, и решение в отдельных случаях было отдано на произвол местных властей и землеустроителей.

Наша фракция организовала энергичную борьбу против этого законопроекта. Выступали, главным образом, Шингарев, прекрасно знавший крестьянскую жизнь по личным наблюдениям в качестве уездного врача в Воронежской губернии, и я, вооруженный своими предыдущими работами по истории крестьянского вопроса до и после освобождения и знакомством с текущей литературой и с трудами русских земских статистиков школы В. И. Покровского. Борьба была упорная, и в ней, к удивлению, я пожал первые серьезные успехи в лагере противников. Меня слушали — и слушали внимательно. А говорил я целых четыре часа, по два часа в двух заседаниях; кажется, это был единственный пример во всей истории Государственных Дум. Но для нас гораздо важнее был успех в другом отношении. Нас слушали крестьяне и священники Третьей Думы, — зависимый, но демократический элемент, — а за ними сведения о нашей борьбе разошлись по России, и к нам направился целый поток крестьянских ходоков из самых разнообразных концов России. У меня особенно осталось в памяти появление депутации сибирских крестьян, рослых, могучих, волосатых, забронированных в тяжелые, солидные полушубки — ни дать, ни взять, великаны из «Золота Рейна». Увы, ни дать, ни обещать им мы ничего не могли; но для репутации **{61}** оппозиции в Третьей Думе

сделано было очень много. О содержании наших выступлений я не говорю; оно целиком определилось программой левых русских экономистов и проектом партии Народной свободы. Мы не отрицали недостатков общинного хозяйства, признавали и факт постепенного разложения общины под влиянием индивидуалистических стремлений, — о них говорил еще Глеб Успенский, — соглашались и на облегчение выхода из общины. Но мы решительно протестовали против насильственного разрушения того единственного оплота, который все еще представляла община против хищнического захвата и распродажи ее наделов сильными элементами деревни, и признавали возможность эволюции общины в направлении кооперации и артельного хозяйства. Мне хорошо было известно, что и сама община не была исконным проявлением русского «духа», как думали славянофилы и народники, а продуктом постепенного закрепления крестьянской рабочей силы помещиками и правительством.

Если в области аграрного вопроса дворянство принуждено было проводить, для сохранения своих интересов, радикальную земельную реформу, то в области управления России тот же «правящий класс» был заинтересован оставить все по-старому, как повелось со времен дворянского царствования «матушки Екатерины (II)».

Попытка «красных» бюрократов эпохи Александра II — ввести в России более или менее широкое местное самоуправление (земство) осталась недостроенным зданием «без фундамента» (волостное бессословное самоуправление) и «без крыши» (истинное народное представительство). В последовавшую затем эпоху реакции Александра III граф Дмитрий Толстой привел земские учреждения в гармонию с общим дворянским стилем империи. Русской провинцией продолжал управлять дворянин — от старого губернского предводителя дворянства до нового «земского начальника» волости. Что касается органов центрального управления, здесь тоже оставалось в силе изречение, что «дворянство есть тесто, из которого правительство печет чиновника». Правда, на положении исполнителей и, так сказать, **{62}** чернорабочих, вроде Крыжановского, в министерствах сидели подготовленные люди с университетским стажем, но дух учреждения оставался старый: дух свободы от закона и права. При таком положении все усилия оппозиции в Государственной Думе в области внутренней политики должны были остаться бесплодными. Недаром над Думой был поставлен страж этого старого «порядка», Государственный Совет. Я помню свое первое впечатление от залы Мариинского дворца, куда члены Думы допускались по билетам на хоры, в качестве публики.

Внизу, на спокойных бархатных креслах мирно дремлют блещущие лысинами старцы, одни имена которых восстанавливают в памяти эпопею русского беззакония и насилия. Здесь, на покое, они доканчивают свою разрушительную карьеру. Блюстители «исторических начал» и политических традиций неограниченной монархии, прочное «средостение» между символом вырождающейся династии и безгласным народом, они обречены на роль не только гасителей благих начинаний Думы, но и гробовщиков России. Какое сравнение между похоронным видом этой залы — и скопированным с европейских парламентов амфитеатром Таврического дворца, со скамей которого неслись заглушенные крики партийной борьбы, все громче напоминавшие о том, что происходило за этими стенами, на необозримых пространствах действительной русской жизни!

На долю нашей фракции — на этот раз вместе с левыми — выпало передавать эти крики русской действительности через Государственную Думу. Ответственным органом, к которому они обращались, было министерство внутренних дел — орган русского бесправия и произвола. Главной формой этих обращений была так же, как и в первых двух Думах, — форма запросов. Их сила по-прежнему притуплялась тем, что правительство могло отсрочивать свои ответы в течение месяца, — когда запросы теряли значительную долю своей актуальности. Конечно, актуальность не терялась, когда запросы касались не отдельных правонарушений, а прочно укоренившейся практики русского управления.

Мне лично пришлось выступить во второй **{63}** сессии (13.11) по поводу запроса нашей фракции о деле Азефа. Не помню, тогда ли или несколько позже Столыпин сделал удовольствие себе и правым Думы разоблачить (по доносу Азефа же) мое участие в Парижском съезде конституционных и революционных партий 1905 г., под псевдонимом Александрова. В той же сессии я говорил (27.V) о покровительстве министров внутренних дел и юстиции преступлениям, совершенным Союзом русского народа.

К этим темам пришлось вернуться и в пятой сессии в связи с запросом с. - д. о провокации агентов охраны среди членов с. - д. партии (18.XI) и о насаждении провокации в революционных партиях вообще (30.XI). Но, не ограничиваясь запросами, мы поднимали в этой Думе и коренные вопросы организации местного самоуправления и органов центрального управления и

законодательства. Сюда относится моя речь во второй сессии (5.III) с предложением изменить избирательный закон для Государственного Совета.

Я подчеркнул в ней, что наша верхняя палата «является оплотом старого порядка, орудием классовых интересов и тормозом для органического законодательства». В четвертой сессии (19.I) я говорил о вмешательстве правительства в дела земского и городского самоуправления. 29 мая 1909 г. наша фракция внесла законопроект об изменении закона о выборах в Государственную Думу, с целью сохранить избирательное право для кандидатов, не приговоренных судом к лишению прав; это было ответом на отнятие этих прав у выборжцев и на исключение Думой члена партии А. М. Колюбакина. Конечно, эти демонстративные выступления не были рассчитаны на практический успех. О нарушении правительством основных законов приходилось говорить неоднократно; но к этому я вернусь в следующем отделе. Истощив все средства борьбы с внутренней политикой правительства, фракция решила, наконец, прибегнуть к крайней мере: вопреки своему правилу голосовать за бюджет, она решила отказать в утверждении сметы министерства внутренних дел. Я мотивировал этот принципиальный шаг в четвертой сессии (26.II) «полным и непримиримым противоречием **{64}** внутренней политики с основными началами преобразованного государственного строя» и оскорбительными для национального достоинства неудачами во внешней политике, признав подобную политику «антинациональной и антипатриотической». Эта формула повторялась затем, с необходимыми изменениями, ежегодно при отказе в смете, подчеркивая тем, что Дума изменяет даже своим собственным лозунгам.

Одной из первых и важнейших рубрик, конечно, следовало бы поставить финансы и экономику. Но в этой области мое личное участие, около которого я сосредоточиваю здесь свое изложение, является почти полным пробелом. Я всегда считал «право кошелька» тем основным правом народного представительства, за осуществление которого будет бороться — у нас, как везде — всякий состав народного представительства, хотя бы и самый несовершенный. Я рассчитывал, что именно на борьбе за бюджет оппозиция может объединиться с большинством Думы и добиться известной степени независимости народного представительства от правительственной власти. Эти ожидания в значительной степени и осуществились, поскольку это касается Государственной думы; они разбились лишь перед вне-думским сопротивлением. Но работу по прохождению бюджета в тесном смысле, как сказано выше, очень скоро монополизировал А. И. Шингарев, и я мог быть только благодарен ему за возможность снять с себя этот непосильный груз сверх остальной моей думской работы. Экономическими вопросами, менее других связанными с политикой, занимался Н. Н. Кутлер.

На мою долю остались лишь выступления по сметам отдельных министерств, часто служившие единственным способом реагировать политически на ту или другую сторону государственной жизни.

Это, прежде всего, касалось внешней политики, остававшейся прерогативой монарха и уже потому забронированной от вмешательства Думы. Такой взгляд и пытался провести П. Н. Крупенский в последней сессии Третьей Думы. Извольский нарушил это правило, но при Сазонове министерские выступления прекратились, и о внешней политике можно **{65}** было говорить в Думе только по поводу сметы министерства иностранных дел. Это и дало мне возможность продолжать мою критику политики Сазонова в третьей, четвертой и пятой сессии Думы (см. таблицу). Но так как мое отношение к внешней политике этим не ограничивалось, то я посвящу моей личной деятельности в этой области (после 1908-1909 гг.) особый отдел.

Моей специальностью в Думе, в качестве универсанта и автора истории русской культуры, сделались вопросы народного образования и церкви. Вопросам народного образования посчастливилось в этой Думе. Они были настолько выдвинуты передовой литературой, настолько казались бесспорными сами по себе, что сколько-нибудь культурное народное представительство не могло не поставить их на очередь. Правда, и тут правительство вступило в борьбу с общественными начинаниями (главным образом, земскими) и противопоставило им церковно-приходские школы снизу и самый придирчивый бюрократический надзор сверху. Так называемые «монархические» партии и тут шли на поводу у власти. Но октябристские «конституционалисты» колебались и, избегая открытого конфликта, старались сделать, что могли, чтобы продвинуть вперед решение вопроса. Таким образом, на этой почве мы чаще всего могли идти вместе.

Во главе забот русского образованного общества и органов самоуправления было, во-первых, сделать весь народ грамотным и, во-вторых, познакомить его с своей родиной. Но для этого нужно было построить достаточное количество школ и создать соответствующий корпус учителей. Для того и другого нужны были денежные средства, которых у земства не хватало, так как источники его бюджета были строго урезаны правительством. О программе обучения чтению, письму и элементам

родиноведения уже позаботились выдающиеся русские педагоги, как Ушинский, Водовозов, бар. Корф. Новое течение популяризировал и дал образцы его гр. Толстой в своей Ясной Поляне. Правительство, в своей боязни народного просвещения, хотело отдать народную школу под контроль Св. Синода и обучать в **{66}** ней, по старине, церковно-славянскому языку, церковным службам и пению в церкви. Педагогами должны были быть священники и их незамужние дочери. Борьба шла вовсю, и народное представительство вынуждено было в нее вмешаться.

Третья Дума, в лице октябристского центра и оппозиции, прежде всего позаботилась, в бюджетном порядке, увеличить расходы на народное образование. Уже в 1908 г., сверх сметы, Дума ассигновала на народные школы больше 8 миллионов, столько же в 1909 г. и 10 миллионов в 1910 г. Смета министерства народного просвещения за пять лет существования Третьей Думы была удвоена. В 1910 г. был внесен — и в 1911 г. принят большинством октябристов и оппозиции — законопроект о введении всеобщего обучения, которое до тех пор введено было только в нескольких уездах России стараниями наиболее передовых земств. В начале 1911 года, вопреки возражениям министра финансов, тем же большинством был принят и финансовый план всеобщего обучения.

Каждый год, в течение десяти лет, к смете должно было прибавляться по десяти миллионов, и к началу 1920-х годов материальная база для достижения всеобщей грамотности должна была быть готова. Что касается организации народной школы, прежде всего она передавалась в ведение земства. Идея непрерывности школы, т. е. связи начального образования с средним и высшим, осуществлялась созданием высших народных училищ по «положению», принятому Думой в том же 1911 году. В местностях, где преобладало инородческое население, допускалось расширение курса обучения на четыре года — на народном языке учащихся. Именно после принятия этого последнего положения думские националисты отказались от участия в дальнейшем обсуждении — и тем признали себя побежденными.

Мое личное участие в этой области выразилось как в стадии комиссионного обсуждения, так и в двух выступлениях в четвертой сессии с критикой законопроекта о всеобщем обучении (18 октября 1910 г.) и с речью **{67}** о предоставлении всем народностям права обучения на народном языке (12 ноября 1910 г.).

На область средней и особенно высшей школы либерализм думского большинства не распространялся. В этой области борьба правительства против самых основ русской культуры сделалась традицией. С тех пор как Екатерина II создала, в конце своего царствования, первую, правильно организованную среднюю школу, а Александр I, в первые годы царствования, положил начало сети русских университетов, гонения вновь созданного министерства «народного просвещения» против русского просвещения не прекращались, за исключением блестящей поры реформ Александра II. Под прикрытием идеи свободной науки и свободного преподавания, университетский устав 1863 г., обеспечивавший академическую автономию, был заменен реакционным уставом 1884 года, насильственно проведенным министром Деляновым.
Правда, сама жизнь отменила применение реакционных начал этого устава, а в революционный 1905 год пришлось издать высочайшее повеление о введении университетской автономии. Но с крушением революции этот указ был сведен на-нет, и в 1910 г. в Третью Думу был внесен министром Шварцем проект университетского устава уже без всякой автономии. Но в том же году новый министр Кассо взял этот проект обратно и начал проводить политику, напоминавшую Рунича и Магницкого.

Ответом на это были студенческие волнения, каких Россия не видала с 1906 г. Теперь, как и раньше, они служили, по вошедшему в употребление старому выражению д-ра Н. И. Пирогова, «барометром общественного настроения» и должны бы были служить предостережением правительству. Но — тоже как и раньше — предостережение было понято в обратном смысле и послужило для Кассо поводом к такого рода мероприятиям, которые в образованном обществе XX века произвели впечатление настоящего нашествия варваров. Московская профессура уже с конца XIX века пыталась выступить посредником между властью и студенчеством. Эти попытки в 1911 году повели к небывалому в академической жизни разгрому Московского **{68}** университета. На меры репрессии часть профессоров ответила добровольными отставками. Кассо ответил общей чисткой; более 100 преподавателей ушли или были выброшены. Кассо назначил на их место своих ставленников.

Подобные же события произошли в Киевском политехническом институте, в Донском институте и в Томском университете. «Неблагонадежные» были заменены «благонадежными», и уровень преподавания был сильно понижен. Ушли наиболее талантливые и знающие, — в том числе все, кто по политическим взглядам был более или менее близок к оппозиционным партиям.

Это было вторым предостережением правительству, так же не понятым, как и первое.

Естественно, что мои выступления в Думе были преимущественно направлены на борьбу с этими антиобщественными проявлениями власти. Уже в первой сессии (1908) я дважды критиковал политику министерства народного просвещения (3. VI и 9. VI). Но особенно часты стали мои выступления в пятой сессии: дважды в заседаниях 8 и 15 февраля и дважды в заседаниях 7 и 14 марта 1912 г. Два другие выступления (25.X и 16.IV) были посвящены политике того же Кассо в средней школе. С целью изолировать школу от общества, он уничтожил так называемые «родительские комитеты», служившие такой связью. Он также не пошел навстречу желаниям Думы допустить переход из средней школы (кроме гимназии) в высшую и тем сохранил изоляцию средней школы, вопреки упомянутой идее о единой линии образования, господствовавшей в педагогических кругах.

В вопросах церкви и веры, независимо от своего общего мировоззрения, я разделял, как политик, формулу Кавура: Chiesa libera nel stato libero — свободная церковь в свободном государстве.

В России церковь с древних времен была порабощена государством, а со времени Петра и обезглавлена; вера была монополизирована официальным исповеданием, считавшимся не только делом личной совести, но и неотъемлемой чертой национальности. Наконец, внутри самой господствующей церкви высшая бюрократия епископов, **{69}** централизованная в Св. Синоде, порабощала «белое» духовенство, священников городских и сельских, церковную демократию. Все это, во мнении передовых общественных кругов, должно было уступить место режиму свободы веры и самоуправления верующих. Факты окостенения веры и злоупотреблений церковного управления были настолько очевидны для всех, что в более умеренной форме эти взгляды проникали и в среду самих служителей церкви, а через них и в консервативные круги общества. Крайние правые и здесь исполняли веления власти, закостеневшей в сохранении традиции. При Александре III и Николае II (до 17 октября) блюстителем этой традиции был учитель и советник обоих царей, сухой, упрямый фанатик, получивший недаром прозвище Торквемады, К. П. Победоносцев, — принципиальный враг всего, что напоминало свободу и демократию.

Он — один из тех, кто несет главную ответственность за крушение династии.

Свою деятельность по вероисповедным вопросам Третья Дума начала с очень многообещающих предположений. В основу были положены три правительственных проекта, вносившие в эту замкнутую сферу принципы свободы совести. Один из них покончил даже с монополией господствующей церкви, допуская свободный переход из нее в другие исповедания, включая даже перемену христианской веры на нехристианскую. Другой законопроект снимал преграды, упорно разделявшие старообрядчество от официальной церкви. Открытие старообрядческих общин освобождалось от необходимости разрешения, а производилось путем простого заявления об этом.

Старообрядческое духовенство получило право называться «священнослужителями». Третий законопроект снимал всякие ограничения прав при выходе (или лишении) из духовного звания. Все эти законопроекты подверглись существенным изменениям в комиссии Думы, и в этой работе я непосредственно участвовал. По первому и второму законопроекту мне пришлось выступать и в общем собрании Думы, во вторую сессию 1909 г. (13.V; 15.V; 23.V). Можно было ожидать, конечно, что в Государственном Совете **{70}** все эти нововведения встретят самое решительное сопротивление и будут отложены в долгий ящик. По третьему проекту Николай II собственноручно начертал: «не утверждаю» (26 мая 1911 г.). Другие два застряли в Государственном Совете. Само собой разумеется, что признание «внеисповедного состояния», т. е. непринадлежности ни к какой положительной религии, уже совершенно выходило из кругозора Третьей Думы.

Вопросы, касавшиеся непосредственно господствующей церкви, разрабатывались, конечно, в Св. Синоде и в Совете министров, и самое внесение их в Государственную Думу оспаривалось, за исключением того обстоятельства, когда требовались новые денежные ассигнования по бюджету. Наиболее принципиальным из этих вопросов было восстановление полноты церковной организации и иерархии путем созыва поместного собора и выбора на нем, после двухсотлетнего перерыва, нового патриарха. С этими двумя задачами прогрессивная часть духовенства соединяла идею об «обновлении» церкви — о возможности вдохнуть живой дух в омертвевшее тело. В революционный год царь должен был пойти навстречу этим стремлениям. Вместе с свободой совести и религиозной терпимостью указ 17 апреля 1905 г. обещал и созыв поместного собора. Предсоборная комиссия начала подготовительную работу в 1906 г., но с роспуском Первой Думы закрыла свои заседания. Но Победоносцев был против созыва, и идеей собора завладела консервативная часть духовенства. С появлением на обер-прокурорском посту ставленника Победоносцева, Саблера, это течение окончательно определилось (1911). К этому моменту относится и мое выступление в пятой сессии Думы (4 марта 1912 г.), в котором я пытался вернуть вопрос на принципиальную почву взаимоотношений между церковью и

государством. Несмотря на царское обещание — разрешить вопрос к юбилею Романовых (1913), тема эта так и заглохла вплоть до революционного переворота.

Такая же судьба постигла и попытку оживить церковную жизнь снизу, под предлогом возвращения к древним началам устройства православного прихода, когда **{71}** миряне сами выбирали своего кандидата в священники. Этим вопросом занималась та же предсоборная комиссия 1906 г., и в декабре того же года было высочайше утверждено решение выработать проект организации прихода, не дожидаясь созыва собора. Через год, в декабре 1907 г., другим высочайшим повелением разработка проекта была передана в Синод, и проект внесен в Совет министров. Право мирян выбирать своего священника и право прихода владеть имуществом на правах юридического лица было положено в основу. Но тут начался обратный ход. Проект четыре раза переделывался и, наконец, со вступлением В. К. Саблера в должность обер-прокурора (1911), был изменен радикально. Права мирян были признаны не соответствующими ни св. Писанию, ни «духу православной церкви». Не помогла и ссылка на древний обычай.
И реформа прихода была положена под сукно.

Казалось, более осуществимо было другое обещание указа 1905 г. — пересмотреть в либеральном духе устройство духовной школы. Основной задачей здесь было сделать эту школу не строго конфессиональной, а общеобразовательной, открыв в нее доступ не одним только детям духовенства и согласовав ее программы с соответствующими ступенями светской школы. Таким образом и здесь была бы проведена через все три ступени — низшей, средней и высшей школы, — идея единой цепи образования. Учебный комитет при Св. Синоде готов был превратить в общеобразовательную — низшую школу, четырехклассное духовное училище и даже, при переработке, сделать из нее шестиклассную «прогимназию». Но средняя школа, духовная семинария, должна была остаться строго конфессиональной — без выхода из нее в другие учебные заведения и, как было формулировано при Саблере, служить исключительно для подготовки пастырей. Высшей школой для нее была — уже чисто богословская духовная академия, ректором которой должен был быть епископ, а большинством преподавателей — лица «православного образа мыслей» и «предпочтительно состоящие в священном сане». Государственная Дума могла **{72}** высказывать пожелания и должна была ассигновать средства, но по существу вмешательство в дело духовной школы для нее не допускалось. В конце последней сессии царь подчеркнул эту недопустимость в личном обращении к членам Думы.

Насколько в вопросах самоуправления, школы и веры мы все же находили точки соприкосновения с думским центром, настолько же в вопросах национальных нам приходилось вести с ними непрерывную борьбу. Из русского «национализма», русских «национально-исторических» начал большинство этой Думы делало себе политическую рекламу, слепо готовя России рост сепаратистских стремлений. Не только во имя принципиальных соображений, но просто во имя сохранения единства России мы предупреждали против этого гибельного пути. Но это направление внутренней политики, в котором искаженное народное представительство шло дальше самого правительства, уже начало приносить отравленные плоды. Далеко было то время (Первой Думы), когда в Центральном комитете партии Народной свободы участвовали такие видные представители народностей России, как А. Р. Ледницкий (поляк), Я. Чаксте (будущий президент латвийской республики), Я. Я. Теннисон (будущий премьер эстонского правительства), М. С. Аджемов (армянин), М. М. Топчибашев (председатель азербайджанского правительства), И. Я. Шраг (украинский деятель) и др. Теперь представители национальных интеллигенции, лишенные значительной части мандатов в Третьей Думе, перебрались заграницу и организовали там пропаганду против России — «тюрьмы народов»...

Моя главная работа по национальным вопросам сосредоточилась, как уже видно по числу моих выступлений, на финляндском вопросе. Когда позднее, в «Земщине» Маркова II, появилось заявление, что я подкуплен финляндцами, мой друг и постоянный защитник О. О. Грузенберг, с своим огненным темпераментом, настоял на том, чтобы я поднял в суде дело о клевете. Как можно было ожидать при тогдашних политических настроениях, суд вынес двусмысленный приговор, **{73}** оправдав меня, обвинителя, но не обвинив прямо обвиняемых. А я теперь думаю, что я, действительно, был «подкуплен». Меня подкупила симпатия к этому народу — задолго до споров в Третьей Думе.
Еще во времена безумной политики генерал-губернатора Бобрикова, так печально закончившейся террористическим актом 1904 г., я следил со вниманием за героической борьбой всего народа, в строго конституционных формах, против петербургской бюрократии. На парижском съезде мы приняли моральные обязательства по отношению к финляндцам, и Первая Дума эти обязательства исполнила, политическое гостеприимство финляндцев в годы нашей партийной борьбы, мои приезды в Финляндию, а затем и моя постоянная оседлость в крестьянской глуши познакомили меня ближе с

финляндским крестьянством.

Я прикоснулся к самому источнику национальной силы этого маленького народа, узнал мужицкое упорство и стойкость в защите прав, фанатическую любовь к родной земле и готовность к жертве, сознательный патриотизм крестьянской массы. Я немного научился финскому языку и мог, с словарем, брести по финской книге, узнал короткую историю фактической независимости этого народа со времени двусмысленного восстановления его «коренных законов» Александром I и недвусмысленного воссоздания государственных учреждений Александром II, который, «оставаясь верен конституционным и монархическим началам, санкционированным одобрением финляндского народа», еще расширил его права созданием конституции 1869 года, принятой сеймом. Я полюбил этот народ, каким его нашел, — и, да, я был «подкуплен» не до, а после моей публичной защиты его прав и учреждений в Третьей Думе, когда, проснувшись раз утром в своей, еще не перестроенной, крестьянской избе, услышал за окном пение толпы. Это крестьянские парни из соседних ферм пришли меня приветствовать домодельной серенадой, как защитника их родины...

Никакие приветствия и выражения благодарности не могли бы меня так порадовать, как этот простой отклик из недр народной массы. Когда, на парижском съезде 1904 г., я **{74}** познакомился и подружился с патриархом финляндского сопротивления Мехелином, движение это еще держалось в строго конституционных рамках. Но уже там я столкнулся с представителем нового поколения, «активистом» Циллиакусом, о котором рассказал выше. При общем революционном настроении, активизм уже переходил за пределы конституционной борьбы и стремился к достижению полной независимости Финляндии. Поведение большинства Третьей Думы давало перевес этому новому настроению. Отсюда и мое особенное упорство в защите конституционных прав Финляндии.

Программу борьбы с этими правами Столыпину не было надобности выдумывать. Ее уже составил Плеве, и начал осуществлять Бобриков. Нужно было просто сравнять Финляндию с остальными губерниями России. Правые застрельщики Думы выставили эту цель, по соглашению со Столыпиным, в качестве требования русского народного представительства. Обыкновенно законопроекты залеживались в Думе и застревали в Государственном Совете. Но на этот раз проект общеимперского законодательства прошел законодательные палаты с быстротою экспресса. 17 марта 1910 г. он был передан в комиссию, 23 мая внесен в общее собрание и проведен в три заседания скоропалительно, с нарушением всех правил думской процедуры; прения были срезаны, и оппозиция должна была, исчерпав все средства, демонстративно отказаться от перехода к постатейному обсуждению и даже выйти из залы. 31 мая проект был принят большинством Думы, а 17 июня проведен в Государственном Совете в неизмененном виде и стал законом. Всё же мне удалось развить свои возражения и в стадии подготовки, и в стадии обсуждения проекта (в трех заседаниях первой сессии и в пяти заседаниях третьей). Я был хорошо вооружен знанием специальной литературы о предмете, и мне было нетрудно доказать всю незаконность правительственной и думской затеи. Я не был против самого принципа создания общей процедуры для проведения законов, общих для Финляндии и для России. Но я протестовал против проведения их одними русскими законодательными учреждениями при **{75}** полном игнорировании соответствующих финляндских учреждений, признанных монархом в качестве «великого князя финляндского».

Я рекомендовал параллельную процедуру с определенными способами соглашения в случае разногласий. Самое содержание «общеимперского» законодательства было легко определить на основании существующих примеров, выделив наиболее важные области общеимперского ведения из остального содержания «местного» законодательства, предоставленного, опять-таки по взаимному согласию, местным финляндским учреждениям. На это соглашались и финляндцы. Когда, тем не менее, русский проект стал односторонним законом, оставалась одна возможность парализовать его действие. Он установил общие положения, но не указал способов их осуществления. Оставалось еще провести конкретно применение закона к частным случаям. Это и было сделано двумя законопроектами, проведенными Столыпиным через Думу в 1911 г. Один восстанавливал действие указа эпохи Бобрикова, изданного в 1899 г. и уничтожавшего финляндскую крошечную армию с заменою ее денежной повинностью.

Это было в то время главным поводом к финляндскому сопротивлению. Другой законопроект уравнивал русских граждан в правах с финляндскими, что имело вид удовлетворения русскому патриотизму. Но надо вспомнить, что на три миллиона финляндцев в их стране насчитывалось всего около восьми тысяч русских чиновников и дачников. А главное, и эти законы проводились в том же порядке одностороннего русско-имперского законодательства. Мне пришлось опять трижды выступать против этих проектов в пятой сессии Третьей Думы — и, конечно, столь же бесплодно. Много позднее,

уже в эмиграции, В. А. Маклаков печатно осуждал мою позицию в финляндском вопросе. Но я мог ответить простой ссылкой, что и сам он, в тех же прениях, занимал ту же позицию, — единственно возможную для опытного юриста, как и для осведомленного историка. Финляндцы, конечно, отметили мои возражения — и выпустили их отдельной брошюрой. Прибавлю, что торжествовать «объединителям», как и соучастникам аграрной **{76}** политики Столыпина, пришлось очень недолго — и оба раза ко вреду для России.

Совершенно иначе сложились мои отношения с поляками. У нас во фракции был один безусловный защитник поляков, Ф. И. Родичев. Горячий поклонник Герцена, он разделял вполне его точку зрения, его политику и его увлечения. Я так далеко идти не мог. Я уже упоминал о моем сдержанном отношении к польским требованиям на парижском съезде 1904 г. Быть может, оттуда пошло и сдержанное отношение ко мне поляков. На московских съездах я со всей искренностью и убежденностью, вопреки даже прямому партийному интересу, защищал идею автономии для Польши и шел рука об руку — и тогда и позднее — с таким представителем демократического течения в Польше, каким был А. Р. Ледницкий. Но уже польское коло в Думе было иначе настроено; во Второй Думе оно внесло собственный проект автономии, не считаясь с нами, а в Третьей Думе пошло уже открыто вместе с правительством Столыпина, лишь изредка поддерживая оппозицию своими голосами. На этом сочетании был построен, как я говорил, и «нео-славизм» Крамаржа. В Четвертой Думе депутат Гарусевич подчеркнул неискренность их отношений к нам жестоким Лермонтовским стихом:

Была без радости любовь,
Разлука будет без печали.

Никому из нас не пришло бы в голову подвести такой итог: мы были слишком сентиментальны. У нас была и «печаль», и «радость»... Всё-таки, я должен признать, что не мог симпатизировать польскому социальному строю, как симпатизировал финляндскому. Тот и другой отпечатлелись на национальном характере обеих народностей. Крестьянская простота и прямолинейность, народный фольклор и поэзия природы, отражения того и другого в литературе меня привлекали. Напротив, аристократический «гонор» и отношения помещика к «хлопу» меня отталкивали. Я, конечно, понимал, что тут мы имеем дело с более сложным социальным организмом, с более высокой интеллигентностью, со старой **{77}** традицией утраченной государственности, с мистикой национальных мечтаний, с сложными международными отношениями. Но именно это понимание побуждало к большей осторожности. В Москве мы сговорились о восстановлении этнографической границы — той самой, которую потом предложила полякам Версальская конференция («линия Керзона») — и от которой они отказались. Я знал, что от старых лозунгов «от моря до моря», «границы 1772 года» (т. е. до Екатерининских разделов) поляки не отказались. И я не мог не понимать, что отказ поляков от возвращения независимости мог быть только временным и условным. Мало того, я сам желал восстановления этой независимости, вместе с некоторыми русскими славянофилами; но я понимал и то, что Польша может быть восстановлена только, как целое,
т. е. в результате общеевропейского соглашения или европейского конфликта. Наконец, я знал, что польские патриоты отделяют Россию от Европы и себя представляют перед европейским общественным мнением в роли защитников Европы от русского «варварства» — в прошлом, настоящем и будущем. Всё это не могло, конечно, содействовать тесному сближению двух интеллигенции, — и (правдивая) история Мицкевича это показала. Мне пришлось выступить во второй сессии (18.III) в защиту польской нации против выходки министра юстиции. Но вообще это была миссия Ф. И. Родичева.

Конечно, вслед за Плеве националисты Третьей Думы выдвинули и еврейский вопрос. «Жидомасонская» формула была уже тогда в обороте, и кадеты были специально объявлены «жидомасонами». Но систематически травля евреев началась после того, как, во время третьей сессии, съездом объединенного дворянства был дан сигнал (в докладе Панчулидзева).

Решено было поднимать еврейский вопрос по всякому поводу. На этой задаче специализировались Пуришкевич, Замысловский, Марков
2-й.

Шла ли речь об армии, предлагалось исключить евреев из армии; обсуждались ли проекты городского и земского самоуправления, вносились предложения исключить евреев и оттуда; по поводу

{78} прений о школе требовалось ограничение приема туда евреев; исключались евреи и из либеральных профессий врачей и адвокатов. На такие выходки можно было возражать только попутно, — что и делалось оппозицией.

Но и центр, и президиум относились к ним сочувственно. Поднят был и вопрос об употреблении евреями христианской крови, в связи с делом об убийстве Ющинского, и в пятой сессии я выступил специально против погромной агитации, которая велась около этого дела (8. VI).

Мне пришлось также возражать переселенческому управлению против отнятия так называемых «излишков» от наделов полукочевых инородцев. Переход к высшей культуре — земледелию — был сам по себе естественным и законным; но он производился с таким произволом и бесцеремонностью, которые, естественно, вызывали крайнее раздражение народностей, потревоженных в их вековом быте. Я, наконец, защищал права обучения народностей на их родном языке (четвертая сессия, 7. XII и 12.XI).

От вопросов государственной обороны, как сказано выше, мы были искусственно устранены Гучковым в его комиссии. Но это не мешало нам говорить о них в общих собраниях. Дважды я говорил на эту тему в первой сессии (29. XI; 24. V) и столько же раз в последней (7.V; 6. VI). Помимо Думы, к нам прямо обратились молодые флотские офицеры с докладами о необходимости усиления флота. Тут я впервые познакомился с Колчаком, и он произвел на меня очень выгодное впечатление.

Неожиданно много времени мне пришлось потратить на обсуждение — в комиссии и в Думе — законопроекта об авторском праве. Как русский писатель и журналист, я защищал здесь интересы русского читателя от монополии своих и иностранных авторов. Но иностранная точка зрения победила, и оба главные вопроса в этой области — о праве переводов и о сроке авторской собственности — были проведены Думой в смысле, обратном сокращению этих прав. Законопроект был не политический и, несомненно, вносил в действующее право немало серьезных улучшений.

{79} Я должен упомянуть, в заключение, еще об одном отделе фракционной работы, в котором, при всей его важности, я не принимал участия, так как мог всецело положиться на молодого члена фракции В. А. Степанова, специализировавшегося в этой области. Речь идет о рабочем вопросе. Здесь имелся прецедент в деятельности либеральной фабричной инспекции, и правительство внесло серьезные проекты о страховании рабочих, вознаграждении за несчастные случаи, найме торговых служащих, нормальном отдыхе приказчиков и т. д. В. А. Степанову приходилось бороться против Думы и Государственного Совета за сохранение первоначального духа и за возможное улучшение этих проектов. На вопрос, что сделала Третья Дума по всем этим важным вопросам рабочего законодательства, Степанов сам ответил: «Почти ничего». Он скромно умолчал о собственном труде и о том, что его деятельность, по крайней мере, сохранила в руках фракции инициативу дальнейшего улучшения рабочего законодательства.

6. РАЗЛОЖЕНИЕ ДУМСКОГО БОЛЬШИНСТВА

Я хотел первоначально назвать этот отдел: «Эволюция Третьей Думы». И в ней, действительно, происходила эволюция, подготовлявшая «эволюцию» Четвертой Думы. Но это был вторичный продукт основного процесса — разложения той политической идеи, которая руководила самым созывом Третьей Думы. В цепи событий, последовавших за октябрьским манифестом, и после разгона двух первых Дум, разложение Третьей представляет новое звено одной и той же нисходящей политической кривой. Ее источника надо искать вне Думы и народного представительства: там же, где и раньше. Разлагающие влияния шли от Двора и от русского дворянства. Оба фактора продолжали добиваться полного возвращения к «историческим началам», обеспечивавшим их господство под эгидой «самодержавия». С существованием народного представительства они вообще не мирились, и борьба, в пределах Третьей Думы, по существу продолжалась по той же линии. Таким **{80}** образом, основную нисходящую линию представляло «разложение», а «эволюция» была мало заметным пока, хотя и бесспорным началом нового политического восхождения. Оно было представлено не неудавшимся большинством этой Думы, кое-как сколоченным и непрочным, а оппозицией — и именно ее умеренной частью. Левая пока оставалась вне сцены очередной борьбы.

Основным ферментом разложения Третьей Думы явился сам ее творец: П. А. Столыпин. Это может показаться странным, но это было вполне естественно. Столыпин построил здание своего недолгого господства не на прочном фундаменте, а на зыбучем песке незакончившегося политического

обвала. Он не только не мог остановить его, но, напротив, лишь ускорил, благодаря своим личным особенностям.

П. А. Столыпин принадлежал к числу лиц, которые мнили себя спасителями России от ее «великих потрясений». В эту свою задачу он внес свой большой темперамент и свою упрямую волю. Он верил в себя и в свое назначение. Он был, конечно, крупнее многих сановников, сидевших на его месте до и после Витте. Для заслуженных сановников Государственного Совета он был чужим, выскочкой, пришельцем со стороны — и болезненно чувствовал свою изоляцию. Он был призван не на покой, а на проявление твердой власти; власть он любил, к ней стремился и, чтобы удержать ее в своих руках, был готов пойти на многое и многим пожертвовать. Не чуждый идеологий, которые были традицией в его семье, он был не чужд и интриги. Своих союзников он склонен был трактовать, как очередные орудия своего продвижения к власти, и менять их по мере надобности. Если принять в расчет его нетерпение победить и короткий срок его взлета, эта быстрая смена могла легко превратить вчерашних друзей в соперников и врагов — и раздражать покровителей сменой внезапных капризов.

А главным покровителем был царь, не любивший, чтобы им управляла чужая воля. Такова история возвышения и падения Столыпина, вернувшая его в конце к одиночеству, из которого он вышел, и к **{81}** трагической развязке. Призванный спасти Россию от революции, он кончил ролью русского Фомы Бекета (Английский канцлер и затем архиепископ Кентерберийский в XII веке, известный конфликтом с королем Генрихом II из-за посягательств последнего на права духовенства. После примирения с королем Фома Бекет был, в 1171 г., убит в соборе в Кентербери. (Примеч. ред.).).

Напомню здесь первые стадии Столыпинского взлета к власти. Я приводил подозрение Коковцова перед роспуском Думы, что Столыпину «улыбалась в ту пору идея министерства из людей, облеченных общественным доверием». Она мелькала и в приведенном разговоре со мной на Аптекарском острове. Но, убедившись в том, что он в такое министерство не попадет, — и став окончательно на точку зрения Горемыкина и Коковцова о необходимости роспуска Думы, он перешел ко второй стадии. Роспуск был решен, но... роспуск «либеральный». Кадеты не пригодились для этого; очередь была за мирнообновленцами.

Я приводил выше прямое заявление Столыпина об этом Д. Н. Шилову: «роспуск Думы должен быть произведен обновленным правительством, имеющим во главе общественного деятеля, пользующегося доверием в широких кругах общества». Для меня нет сомнения, что этот план был внушен царю именно Столыпиным, а не Коковцовым, и тем менее — Горемыкиным. Царь принял его — не только потому, что не вполне прекратились его собственные колебания относительно роспуска, о которых рассказано выше. Другой мотив, более реалистический, можно найти в тогдашней переписке Извольского с гр. Бенкендорфом. Роспуска Думы боялись, как перед Европой, так и перед Россией. В письме Бенкендорфа от 14 (27) июня 1906 г. читаем: «Это министерство (Горемыкина) мне кажется осужденным: Дума, в том виде, как она есть, рано или поздно — также... Но не теперешнее министерство может распустить Думу. Один факт, что это министерство возьмет на себя ответственность за эту меру, повлечет за собой, во-первых, материальную опасность, а затем выборы с еще худшими результатами...

Мне кажется, что надо составить кабинет из либерального, но **{82}** умеренного меньшинства этой Думы; он... имел бы бесконечно больше морального авторитета. Такой кабинет был бы при первом же голосовании оставлен в меньшинстве и мог бы приступить к роспуску с гораздо большими шансами на успех. Я не вижу другого способа избежать красной Думы или военной репрессии». Этот прототип парламентарного разрешения вопроса упростился в Петербурге до кабинета Шипова с участием Столыпина, а орган самого Столыпина, «Россия», пугал даже в эти дни вмешательством Германии и Австрии.

Я приводил отказ Шипова от этой неблагодарной роли в его замечательном разговоре с царем 28 июня 1906 г. На нем и оборвалась вторая стадия тактики Столыпина. Дальше начинается третья стадия, которую уже трудно назвать иначе, чем интригой. Интересно отметить, что при этом даже ближайший сообщник, Коковцов, был устранен Столыпиным от непосредственных сношений с царем; было решено, что Столыпин заменит Горемыкина на месте премьера; были одобрены царем даже и все практические меры к роспуску, включая дату 9 июля. Царь «благословил Столыпина иконой» (см. выше мой подробный рассказ). Затем Столыпин обманул Думу относительно воскресной даты ее роспуска, назначив на понедельник свое собственное выступление в Думе и тем обезоружив все еще опасного противника.

Итак, в третьей, решающей стадии Столыпин сделал сам себя героем роспуска Первой Думы. Но этим его политическая эволюция не, могла закончиться. Пройти четвертую стадию — роспуска Второй Думы — было даже гораздо легче. Как и предвидели благоразумные люди — эта Дума оказалась

«красной» и легко уязвимой. Но зато и победа над ней стоила гораздо дешевле. Героев здесь не понадобилось. Из незаменимого спасителя Столыпин спускался на роль исполнителя чужих приказаний. «Черный крест», поставленный Пуришкевичем над Второй Думой, был первым сигналом, раздавшимся из авангарда замаскированных заговорщиков. Избирательный coup d'état (Государственный переворот.), подготовленный **{83}** Крыжановским по заказу дворянства, был выстрелом из дальнобойного орудия; аграрный законопроект Гурко и Ко. — знаменем, развернутым на месте победы. Но где был настоящий победитель? Среди этих сил Столыпин действовал по проторенному пути, без всякого риска, хотя и с вошедшим уже в привычку коварством. Но с этого рода союзниками он, все же, чувствовал себя неловко. «Оттенок благородства» надо было соблюсти; идея «либерального» роспуска не совсем заглохла; она выразилась в союзе Столыпина о Гучковым. Мы видели, однако, что союзники разошлись с самого начала по самому основному вопросу русского государственного строя. Союз напоминал Крыловскую басню о лебеде, раке и щуке, с той только разницей, что октябристские «облака» висели слишком низко, рак оказался самым сильным партнером, а роль щуки, потопившей себя, пришлось сыграть самому Столыпину. Такое «сложение сил» было первородным грехом Третьей Думы. Начиналась пятая, предпоследняя стадия Столыпинской тактики: его дальнейшее отступление вправо.

Едва ли Столыпин ожидал, что разложение его большинства начнется немедленно же — на самой опасной для него почве борьбы за пределы прерогативы монарха и законодательных учреждений, и что на эту шаткую почву его втянет главный его союзник Гучков. После своих спортсменских поездок к бурам и на Дальний Восток, Гучков считал себя знатоком военного дела и специализировался в Думе на вопросах военного перевооружения России. Это было и патриотично и эффектно. Он при этом монополизировал военные вопросы в созданной им комиссии, из которой исключил своих соперников из оппозиции под предлогом сохранения государственной тайны. Я тогда же протестовал от имени фракции против такого способа беречь государственные секреты и монополизировать права Государственной Думы в целом (первая сессия, 29. XI; 24.V). Случай для конфликта тотчас представился.

Порядки морского ведомства были притчей во языцех в Петербурге; морские офицеры ходили не к одним нам, пропагандируя реформы и ожидая выступления со стороны **{84}** Думы. Гучков узнавал секреты ведомства и более прямым путем. И мы совместно с октябристами провели отказ в кредите по смете морского ведомства на постройку четырех новых броненосцев. Ведомство от этого не пострадало, так как кредит был восстановлен Государственным Советом. Но впечатление было произведено. Оно было еще усилено эффектной речью Гучкова во время обсуждения сметы; довольно прозрачно он намекнул на великих князей, как на источник ведомственных беспорядков.

Столыпин тотчас почувствовал опасность и 13 июня 1908 г. в речи в Государственном Совете дал первый сторожевой окрик своему союзнику. Он передвинул «демаркационную линию» между тем, что дозволено и не дозволено — все равно, «своим или чужим». Но правые поспешили воспользоваться этим поводом. На рождественском съезде «объединенного дворянства» решено было перейти в наступление с определенной целью вновь изменить избирательный закон и восстановить старый строй. Правые выискивали все случаи обвинить Думу в нарушении прав монарха. К Гучкову была пришита кличка «младотурка», вызвавшая при Дворе неприятные ассоциации и положившая начало ненависти к Гучкову.

А тут присоединилось новое обстоятельство. В конце весенней сессии 1908 г. Государственный Совет отверг принятый Думой довольно второстепенный проект о штатах Морского Генерального штаба — на том основании, что Дума может только разрешать денежные ассигновки, но не утверждать штаты. Осенью 1908 г. штаты прошли вторично — ив Думе, и в Совете, причем правительство утверждало, что никакого вторжения в прерогативы монарха тут нет. Тогда вмешались высшие сферы. Летом 1909 г. проект не удостоился высочайшего одобрения, и на имя Столыпина был опубликован рескрипт, которым требовалось составить правила, которые бы определенно разграничили компетенцию правительства и законодательных палат в военном и морском законодательстве.

Тем временем, в марте и апреле 1909 г., П. А. Столыпин лечился в Крыму. В его отсутствии пошли **{85}** впервые слухи, что он к своему месту не вернется. С своей стороны, и Столыпин принял меры самозащиты. «Новое время», где сотрудничал брат Столыпина, несколько позднее сообщило, что Столыпин, «морально ослабленный историей с морскими штатами», уже тогда «осторожно отодвинулся от октябристов» и принялся «нащупывать почву в новых думских комбинациях». Точнее говоря, эти комбинации уже сами складывались в ожидании его отставки, и ему оставалось только пойти им навстречу. Правое крыло октябристов уже взбунтовалось против Гучкова и отделилось в особую группу («гололобовцев»). «Умеренно-правая» фракция Балашева была переименована в «национальную партию». Так или иначе, Столыпину удалось, ценой этого сдвига вправо, остаться у власти. Требуемые

«правила» о демаркационной линии были опубликованы 24 августа 1909 года. В прямое нарушение ст. 96 основных законов они оставляли за законодательными учреждениями только право обсуждать ассигновки — и то в том случае, если в сметах не было остатков, которые могли быть использованы для создания новых учреждений без всякого обращения к Думе.

Это явное правонарушение вызвало было среди правящего центра Думы первую вспышку протеста. С. - д. внесли запрос о незакономерном издании правил 24 августа; в первый же день третьей сессии Гучков поддержал запрос и признал необходимым публично объясниться с правительством. В заседании 22 февраля 1910 г. он откровенно высказал причину своего нетерпения, признавши, что октябристы «и здесь, и в стране чувствуют себя несколько изолированными». Мало того, ища выхода из этого состояния «изоляции», он заявил правительству, что «прискорбная необходимость» Столыпинской системы «успокоения» прошла и что «при наступивших современных условиях он и его друзья уже не видят прежних препятствий, которые оправдывали бы замедление в осуществлении гражданских свобод». И он определил позицию фракции нетерпеливым выкриком: «мы ждем». Мы — кадеты, — по правде, **{86}** ничего не ждали, но в заседании 31 марта 1910 г. и я от имени фракции поддержал запрос левых.

Была основательная причина для октябристов почувствовать себя «изолированными в стране». Общественное мнение поняло их двусмыс-ленную роль в Думе — и от них отвернулось. На дополнительных выборах в трех главных городах, Москве, Петербурге и Киеве, в первой курии — собственной вотчине октябристов — крупная буржуазия послала в Думу кадетов вместо октябристов. Этим летом 1910 г. умер С. А. Муромцев; необозримая толпа народа вышла проводить его тело до могилы. Эта сцена врезалась в память. Только поздно к вечеру толпа дошла до Новодевичьего монастыря и, несмотря на запреты, просочилась за ограду. При свете факелов я говорил над открытой могилой, стараясь запечатлеть величавый образ вождя, спокойно противопоставлявшего волю народа произволу верховной власти. В декабре и январе академический сезон впервые, после долгого перерыва, открылся студенческими беспорядками — первым симптомом поднимающейся кривой общественного настроения.

С своей стороны, и Столыпин не «ждал». С самого начала третьей сессии он уже составил свое правое большинство — 151 член, включая правых октябристов — с подчеркнутым настроением воинствующего национализма, на слегка освеженной старой формуле: самодержавие, православие и народность.

Именно в это время началась бешеная антисемитская кампания в Думе, сопровождаемая погромной агитацией в стране. Приличная декорация октябризма приходила в состояние разрушения. И Н. А. Хомякову стало неуютно сидеть на председательском кресле. Друзья про него говорили: вот увидите, в один прекрасный день он встанет и уйдет, скажет: не хочу больше. И я вспоминал, как молодой Николай Алексеевич спасался от кавказской жары и от забот по санитарному отряду, лежа на диване в Сураме. Он действительно ушел, когда в Думе стало слишком жарко. У Гучкова не было выбора; даже независимо от своего самолюбия и желания укрепить свое падавшее влияние, он должен был занять место председателя.

{87} Но он пришел не в добрый час: теперь приходилось конкурировать с националистами и бороться их же оружием. И прежде всего надо было спрятать все конфликтные вопросы. Октябристы прошли в Думу, благодаря правительственной поддержке. А Столыпин теперь заявлял в «Новом времени», что он представляет себе будущую Четвертую Думу «с крепким устойчивым центром, имеющим национальный оттенок». На добровольную поддержку избирателей расчеты были плохи.

При этих условиях был ликвидирован и запрос о незаконности правил 24 августа 1909 г. Отвечая мне и Маклакову, Столыпин говорил о чем угодно: о борьбе с революцией, о смертной казни, о политическом положении, но по существу ограничился прочтением выписки из журнала Совета министров, которым признавалось, что правила 24 августа есть лишь своего рода «инструкция» министрам. На эту же точку зрения стали и октябристы, во главе с своим покладистым докладчиком Шубинским, — и запрос был отвергнут 161 голосами против 100. Большинство отказалось от своего права законодательствовать.

Совет министров, созданный в замену прежнего Комитета министров одновременно с октябрьским манифестом, в толковании Столыпина становится отныне вообще каким-то опекуном над законодательными учреждениями. До издания «основных законов» Совет министров уже совершал акты, имевшие силу закона. Но это была временная его функция. После их издания, законодательные права формально перешли к Думе и Государственному Совету. Совет министров, тем не менее,

продолжал старую практику Комитета министров. Например, даже действие такого исключительной важности акта, узаконившего русское беззаконие, как положение 1881 г. об усиленной и чрезвычайной охране, продолжалось Советом министров при наступлении каждого года, — и только после убийства Столыпина Третья Дума обратила на это внимание. Даже и новое изменение, внесенное в исключительное положение в 1911 году и отдававшее права граждан в районе 37 губерний и 21 уезда на произвол администрации, было введено в порядке управления. Но **{88}** окончательно грозила уничтожить только что проведенную грань между законом и административной мерой пресловутая статья 87 основных законов. Во многих конституциях была предусмотрена возможность издания временных правил с характером закона в чрезвычайном порядке, в случае крайней надобности, в отсутствие народного представительства. Но только в России эта статья была использована для издания капитальной важности актов, в промежутке между двумя Думами, с определенной политической целью. Столыпин пошел еще дальше, желая превратить исключительный порядок в нормальную часть законодательства. Он даже изобрел на этот случай свою особую теорию. Совет министров, в его толковании, становился какой-то самостоятельной инстанцией между монархом и законодательными учреждениями. Помимо прав верховной власти наложить вето на законопроект, принятый ими, или распустить палату, Совет министров вводил в практику собственное законодательство по статье 87, не стесняясь поставленными этой статьей условиями. Столыпин так и мотивировал это в своей речи 1 апреля 1911 г. перед Государственным Советом: «Законодательные учреждения обсуждают, голосуют, а действует и несет ответственность правительство». Это было бы почти возвращением к «совещательной» Думе времен Лорис-Меликова и Булыгина.

Характерно, что в том случае, о котором пойдет здесь речь, Столыпин выступил в двойном обличье — либерала и крайнего националиста. Как либерал, он хотел победить сопротивление Государственного Совета — и, видимо, сговорился с Гучковым, который едва ли бы объявил за свой страх во время четвертой сессии Думы, что он «сосчитается с Государственным Советом». Как самый ортодоксальный националист, Столыпин сделал предметом борьбы свой собственный план проведения до конца националистической политики в России. Он был очень высокого мнения о придуманной им мере, заявляя перед Государственным Советом, что его политика приводит, не более и не менее, как к «поворотному пункту» русской истории. Тут «предрешалось национальное будущее» России, и проводимый им закон был **{89}** «законом-показателем», «законом-носителем русских надежд». Правда, противники Столыпина и в Думе, и в Государственном Совете усматривали в его своеобразном национал-радикализме — начало разложения России.

Сказанного достаточно, чтобы показать, что тут не случайно проявился самый сильный из «волевых импульсов» Столыпина. Столыпин вступал в пятую и последнюю стадию своей политической эволюции. Он играл va-banque (В азартной игре ставка, равная сумме денег в банке.), ставя на карту весь остаток своего личного влияния в роли спасителя России. Преувеличивал ли он свое влияние — и ошибся, или, наоборот, видел, что оно уже пошатнулось, и предпочел фальшивому положению рискованный tour de force (Сложный и требующий особой ловкости фокус.), это — проблема для психологов.

Но тут я должен снова прибегнуть к помощи того же источника, который помог мне восстановить картину подготовки роспуска Первой Думы, — к воспоминаниям В. Н. Коковцова. До наших оппозиционных кругов сведения о том, что происходило на самом «верху», доходили в виде слухов, более или менее глухих и неполных.

Под рукой обиженного царского служаки (Коковцов был очень чувствителен к обидам) они превращаются в осязательные факты, освещающие самые темные закоулки того, что на тогдашнем эзоповском языке называлось «тайнами мадридского двора».

Мы более или менее знали, что Двор этот все более замыкался в узком семейном кругу, из которого и исходили сменяющиеся влияния на слабую волю царя — сперва матери, потом дяди, наконец жены

Николая II. Давно уже прошла первая стадия влияния Марии Федоровны, урожденной Дагмары датской, через которую просачивались кое-какие либеральные воздействия Фреденсборга.

Потом наступил период, тоже уже бывший на исходе, «славянских» влияний черногорок — «черных женщин», по враждебной терминологии Александры Федоровны. Этот период ознаменовался столоверчением и переходом от Monsieur Филиппа к собственным национальным юродивым, таким, как фанатик **{90}** Илиодор, идиотик Митя Козельский или — самый последний — сибирский «варнак», как называл его В. Н. Коковцов, или «святой чорт», как окрестил его Илиодор в своей обвинительной брошюре, — Григорий Распутин, окончательно овладевший волей царицы. Столыпин попал на последнего, не хотел ему подчиниться и постепенно был перечислен в категорию врагов «нашего Дру-

га». Мы увидим, что такова же была судьба и Коковцова, но, в ожидании, чуждый «большой политики» и гордый своими финансами, Коковцов сохранял нейтральное положение и, по калибру, считался неизбежным заместителем Столыпина.

Таково было положение, когда Столыпин, в согласии с националистами, внес в Думу свой проект введения земства в девяти западных губерниях, долженствовавший осчастливить Россию внесением нового националистического принципа в законодательство. Он заявил, что «выносил в душе свою идею со времени первой юности», в качестве помещика северо-западного края, «которому отдал лучшие свои годы». Идея состояла в том, чтобы «устранить поглощение польским элементом русского крестьянства в избирательных собраниях», а методом послужила «идея» искусника Крыжановского — растасовать избирателей по «куриям» на произвольные группы, чтобы доставить перевес любому кандидату. Теперь только «курия» из классовой или групповой должна была стать «национальной». Столыпин серьезно утверждал, что «после крестьянской земельной реформы» это будет важнейшим его нововведением. Он сделал этот вопрос своим личным вопросом и сам провел его через Совет министров и через послушную ему Думу. Но, неожиданно для себя, в Государственном Совете он встретил сопротивление: «русская курия» была отвергнута, и весь проект падал.

Столыпин был «потрясен». Он навел справки, и оказалось, что два члена Совета, В. Н. Дурново и В. Ф. Трепов, забежали к государю и объяснили ему проект Столыпина, как «революционную выдумку», в пользу «мелкой русской интеллигенции», которой хочется оттеснить от земского дела «культурные и консервативные» **{91}** (польские) элементы и «поживиться земским пирогом». Столыпин немедленно поехал в Царское Село и поставил царю ультиматум: или он уйдет в отставку, или... его противники будут покараны, а законопроект будет проведен по 87 статье (для чего Государственный Совет и Дума должны быть распущены на три дня).

Царь был «подавлен» и не соглашался уволить министра из-за разногласия с законодательными учреждениями (это же был бы «парламентаризм»). Но он не хотел и принять условий Столыпина, и решил «подумать». Он «думал» целую неделю. Положение создалось крайне напряженное. В публике создалось впечатление, что отставка Столыпина обеспечена. В печати, и особенно в правой, раздавались свободно голоса резкого осуждения. Столыпин «снял перчатки с кулаческой политики», говорил «Свет» Комарова. Это — «огромный заговор против России», поддавал кн. Мещерский, ментор двух государей. И даже «Новое время» принуждено было заявить: «до последней минуты мы не хотели верить тому, о чем сегодня все говорят, как о событии совершившемся: об уходе П. А. Столыпина... Но факт сильнее наших желаний. Это неожиданное событие, по-видимому, действительно совершилось».

По-видимому, — именно к этому моменту относится эпизод, рассказанный В. Н. Коковцову некиим Сазоновым, одним из добровольцев черносотенства, доходивших в подобных случаях до Двора. Весной 1911 г. (то есть именно тогда, когда произошла размолвка с царем), «по указанию из Царского Села» этот Сазонов получил поручение съездить вместе с Распутиным в Нижний и проэкзаменовать тамошнего губернатора А. Н. Хвостова на пост министра внутренних дел. Хвостов не соглашался, потому что в премьеры намечался Витте. Тогда Распутин определил, что Хвостов «шустер, но очень молод» и «пусть еще погодит». Коковцов прибавляет, что через полгода, в Киеве, ему этот самый Хвостов был предложен на тот же пост, в качестве заместителя убитого Столыпина...

Трудность положения царя, конечно, сознавалась и другими. Коковцов прямо сказал Столыпину тогда же, что царь «никогда не простит» произведенного на него **{92}** давления. И Мария Федоровна, осудив роль царя и его наушников, тем не менее заметила Коковцову: царь «не знает, как выйти из создавшегося положения... После долгих колебаний он кончит тем, что уступит». Но, «пережив создавшийся кризис вдвоем с императрицей» и «принявши решение, которого требует Столыпин, государь будет глубоко и долго чувствовать всю тяжесть решения», и «найдутся люди, которые будут напоминать сыну, что его заставили принять такое решение... Один Мещерский чего стоит... чем дальше, тем больше у государя все глубже будет расти недовольство Столыпиным, и я почти уверена, что теперь бедный Столыпин выиграет дело, но очень не надолго, и мы скоро увидим его не у дел». А Столыпин, с своей стороны, отвечал Коковцову на его советы смягчить ход дела: «лучше разрубить узел разом... Вы правы, что государь не простит мне, если ему придется исполнить мою просьбу, но мне это безразлично, так как и без того я отлично знаю, что до меня добираются со всех сторон, и я здесь не надолго».

Так все и вышло. Николай II уступил — и затаил обиду. Упомянутые противники Столыпина были уволены в отпуск до 1912 года. И, хотя октябристы тотчас же внесли отвергнутый Государственным Советом проект обратно в Думу, Столыпин предпочел «разрубить узел» в порядке

трехдневного роспуска законодательных учреждений и проведения закона по статье 87-й. Исполнилось и предсказание царя Столыпину, что Государственный Совет и Дума с этим не примирятся. Гучков демонстративно сложил с себя обязанности «посредника» между Думой и правительством, мотивировав свой уход с председательского места тем, что его роль была основана на взаимном доверии, теперь нарушенном. Это совершилось, конечно, гораздо раньше, — что не помешало Думе и позже остаться послушной. Но Гучкову нужно было выйти самому из фальшивого положения, установив точную дату личного формального разрыва. Четыре оппозиционные фракции в самый день указа о роспуске, 14 марта, внесли запросы о незакономерности указа, и мне пришлось мотивировать запрос нашей фракции. Объяснения Столыпина в заседании 27 апреля были признаны **{93}** неудовлетворительными и его акт — незакономерным. Большинством 202 против 82 Дума приняла формулу недоверия, выработанную при нашем непосредственном участии. Государственный Совет — особенно в речах Витте и М. М. Ковалевского — признал деление на национальные курии идеей антирусской и антигосударственной.

От демонстрации до дела было, конечно, еще далеко. Это сказалось прежде всего на выборе заместителя А. И. Гучкова. Выбран был большинством Думы, в качестве правого октябриста, М. В. Родзянко. Послушание Думы было проявлено в том, что думская сессия была насильственно прекращена новым председателем как раз перед наступлением срока, когда, по закону, Столыпин должен был внести проведенный по ст. 87 закон в Думу. А затем — Третья Дума просто позабыла о своем праве нового рассмотрения закона...

С личностью М. В. Родзянко на видном посту председателя Думы мы встречаемся здесь впервые — и она провожает нас вплоть до наступления революции. Незначительная сама по себе, она приобретает здесь неожиданный интерес. И, прежде всего, естественно возникает вопрос, как могло случиться, что это лицо, выдвижение которого символизировало низшую точку политической кривой Думы, могло сопровождать эту кривую до ее высшего взлета.

М. В. Родзянко мог бы, поистине, повторить про себя русскую пословицу: без меня меня женили. Первое, что бросалось в глаза при его появлении на председательской трибуне, было — его внушительная фигура и зычный голос. Но с этими чертами соединялось комическое впечатление, прилепившееся к новому избраннику. За раскаты голоса шутники сравнивали его с «барабаном», а грузная фигура вызвала кличку «самовара». За этими чертами скрывалось природное незлобие, и вспышки напускной важности, быстро потухавшие, дали повод приложить к этим моментам старинный стих:

Вскипел Бульон, потек во храм...

«Бульон», конечно, с большой буквы — Готфрид Бульонский, крестоносец второго похода.

{94} В сущности, Михаил Владимирович был совсем недурным человеком. Его ранняя карьера гвардейского кавалериста воспитала в нем патриотические традиции, создала ему некоторую известность и связи в военных кругах; его материальное положение обеспечивало ему чувство независимости. Особым честолюбием он не страдал, ни к какой «политике» не имел отношения и не был способен на интригу. На своем ответственном посту он был явно не на месте и при малейшем осложнении быстро терялся и мог совершить любую gaffe (Неловкий поступок.). Его нельзя было оставить без руководства, — и это обстоятельство, вероятно, и руководило его выбором. За ним стояла небольшая группа октябристских «лидеров» во главе с главным оракулом, Никанором Вас. Савичем, игравшим роль éminence grise (Буквально «серое преосвященство». Впервые было применено к сотруднику кардинала Ришелье, капуцину отцу Жозефу и с тех пор употребляется для обозначения закулисного влияния. (Примеч. ред.).).

Об уме Савича, его знании людей, умении находить выход из трудных положений и хранить «генеральную линию» фракции ходили, быть может, преувеличенные толки в Думе. Сам он держался в стороне, молчал и хитро улыбался, храня свой политический анонимат. В исключительных случаях Haupt-und Staats-Actionen (Высшие государственные действия.) выступал Гучков, не потерявший еще своего авторитета. Но вся октябристская комбинация явно шла насмарку, и члены фракции с тревогой ожидали приближения выборов, не зная, у кого придется перестраховаться, чтобы не потерять поддержки очередного начальства.

Настоящими хозяевами положения чувствовали себя националисты, во главе с Балашовым, и продолжали свои антисемитские и антиинородческие оргии. Но с тех пор, как Столыпин пошатнулся и его пребывание у власти признавалось кратковременным, и националисты, и чистые черносотенцы должны были занять позицию выжидания грядущих перемен. По острому выражению Пуришкевича, Дума «гнила на корню».

{94}

7. DER MOHR KANN GEHEN

(Мавр может уйти.)

(Убийство Столыпина)

После мартовского кризиса Столыпин, по показанию Коковцова, стал «неузнаваем». Он «как-то замкнулся в себе». «Что-то в нем оборвалось, былая уверенность в себе куда-то ушла, и сам он, видимо, чувствовал, что все кругом него, молчаливо или открыто, но настроены враждебно». Коковцову он заявил, что «все происшедшее с начала марта его совершенно расстроило: он потерял сон, нервы его натянуты и всякая мелочь его раздражает и волнует. Он чувствует, что ему нужен продолжительный и абсолютный отдых, которым для него всего лучше воспользоваться в его любимой ковенской деревне». Он получил согласие государя передать все дела по Совету министров Коковцову и только просил последнего непременно приехать в Киев, где готовилось открытие памятника Александру II и предполагался прием земских гласных от западного края, только что выбранных по закону Столыпина.

Приехав в Киев 28 августа, Коковцов застал Столыпина в мрачном настроении, выразившемся в его фразе:

«Мы с вами здесь совершенно лишние люди».

Действительно, при составлении программы празднеств их обоих настолько игнорировали, что для них не было приготовлено даже способов передвижения. На следующий день Столыпин распорядился, чтобы экипаж Коковцова всегда следовал за его экипажем, а 31-го он предложил Коковцову сесть в его закрытый экипаж — и мотивировал это тем, что «его пугают каким-то готовящимся покушением на него» и он «должен подчиниться этому требованию». Коковцов был «удивлен» тем, что Столыпин, как бы приглашает его «разделить его участь»...

Нельзя не сопоставить с этим каких-то более ранних «предчувствий» Столыпина, что он падет от руки охранника.

Так разъезжали по городу оба министра два дня — и вместе приехали вечером 1 сентября на парадный спектакль в городском театре. Коковцов сидел в одном конце кресел **{96}** первого ряда, а Столыпин в другом— «у самой царской ложи». Во втором антракте Коковцов подошел к Столыпину проститься, так как уезжал в Петербург, — и выслушал просьбу Столыпина взять его с собой: «мне здесь очень тяжело ничего не делать». Антракт еще не кончился, и царская ложа была еще пуста, когда не успевший выйти из залы Коковцов услышал два глухие выстрела.

Убийца, «еврей» Богров, полуреволюционер, полуохранник, свободно прошел к Столыпину, стоявшему у балюстрады оркестра, и так же свободно выстрелил в упор. Поднялась суматоха; Столыпин, обратясь к царской ложе, с горькой улыбкой на лице, осенил ее широким жестом креста — и начал опускаться в кресло. Государь появился в ложе, около которой с обнаженной шашкой стоял ген. Дедюлин; оркестр заиграл гимн, публика кричала «ура», и царь, «бледный и взволнованный, стоял один у самого края ложи и кланялся публике». Столыпина выносили на кресле; толпа повалила преступника на пол, потом полиция увела его. Начался разъезд...

Коковцов, вместо вокзала, поехал в клинику и автоматически принял на себя обязанности Столыпина. Ему сообщили, что готовится еврейский погром, и он распорядился вернуть в город три казачьих полка, которые готовились к смотру следующего дня, — так как программа торжеств ни в чем не была изменена. Это был первый политический жест нового председателя Совета министров. На молебствие в соборе, назначенное в полдень 2 сентября, «никто из царской семьи не приехал и даже из ближайшей свиты государя никто не явился». А один член Третьей Думы подошел к Коковцову и выразил сожаление, что он своей мерой пропустил «прекрасный случай ответить на выстрел Богрова хорошеньким еврейским погромом».

Царя Коковцов нашел «совершенно спокойным»; он только «заметил, что полкам, конечно, было неприятно не быть на смотру после маневров». На опасения Коковцова относительно исхода покушения Николай ответил упреком в «обычном пессимизме» и был «удивлен» сообщением Коковцова, что «ген. Курлов уже по первым следственным действиям скомпрометирован в покушении на Столыпина его непонятными действиями».

{97} Он также отказался от автоматической замены поста министра внутренних дел товарищем министра Крыжановским, говоря: «Я не имею основания доверять этому лицу». Очевидно, при Дворе уже имели в виду другого кандидата.

4 сентября вечером, соблюдая программу, Николай отплыл в Чернигов (где уже готовился еще

один кандидат, черниговский губернатор Н. А. Маклаков, полюбившийся царской семье своим обращением). Столыпин был еще жив, но уже терял сознание, и царь его не видал. В ночь на 6-ое Столыпин скончался, несмотря на успокоительные прогнозы доктора Боткина, и царь, прямо с пристани, поехал в лечебницу поклониться его праху. Вернувшись во дворец, Николай вызвал к себе Коковцова и предложил ему, уже формально, пост председателя Совета министров. Коковцов поблагодарил за доверие, но прибавил, что «в трудных условиях управления Россией» ему необходимо знать, кто будет назначен министром внутренних дел. «Я уже думал об этом», ответил царь... и назвал Хвостова.

Тогда Коковцов, заявив царю о «вреде» такого назначения, попросил царя «освободить его от высокого назначения». Николай «терял терпение, дверь дважды приотворялась» (сигнал императрицы), и он спешно заявил, что считает назначение состоявшимся, и кортеж двинулся к поезду. Приехав в Петербург, Коковцов дал царю отрицательную характеристику Хвостова, и в его письме были следующие места, характеризовавшие его общую точку зрения: «(Хвостов) человек всем известных, самых крайних убеждений, находящихся в полном противоречии с тем строем государственной жизни, который насажден державною волею вашего И. В....

Что всего важнее, его назначение было бы принято всем общественным мнением и в особенности нашими законодательными учреждениями с полным недоумением и даже недоверием, побороть которое у него не хватило бы ни умения ни таланта, ни знаний, ни подготовленности». У Коковцова, очевидно, было основание тут же характеризовать и другого вероятного кандидата, Н. А. Маклакова, как человека «недостаточно образованного, мало уравновешенного, легко **{98}** поддающегося влияниям людей, не несущих ответственности, но полных предвзятых идей» (тут, конечно, разумелся кн. Мещерский), который «едва ли сумеет снискать себе уважение в ведомстве и в законодательных учреждениях».

С своей стороны, Коковцов рекомендовал государственного секретаря Макарова, выдвигая особенно его «знание полицейского дела» и его «уважение к закону». Макаров и был назначен, причем в ответном письме царь подчеркивал его другие качества: при нем министерство войдет «в свои рамки» и внесет «деловое спокойствие» туда, где слишком развилась «политика и разгулялись страсти различных партий, борющихся, если не за захват власти, то, во всяком случае, за влияние на министра внутренних дел». Коковцов правильно усмотрел в этих намеках «явное неодобрение политики только что сошедшего столь трагическим образом со сцены Столыпина». Он не мог скрыть от себя, что это было неодобрением и его собственной политики, поскольку она выразилась в приведенных цитатах и характеристиках.

И если царь выражался намеками, то царица высказывалась прямее и категоричнее. 5 октября, в Ливадии, в день именин наследника, Александра Федоровна имела с Коковцовым специальный часовой разговор, раскрывавший ее карты и «буквально записанный» ее собеседником. Разговор этот начался с повторения слов государя. «Мы надеемся, что вы никогда не вступите на путь этих ужасных политических партий, которые только и мечтают о том, чтобы захватить власть или поставить правительство в роль подчиненного их воле».

Коковцов попытался ответить, что он всегда был вне партий и в этом усматривает слабость своего положения, которое «гораздо труднее» положения Столыпина в смысле работы с законодательными учреждениями. Он или не понимал или не хотел понять, что мысль царицы шла совсем в противоположную сторону. И она стала еще откровеннее: «Я вижу, что вы всё делаете сравнения между собою и Столыпиным. Мне кажется, что вы очень чтите его память и придаете слишком много значения его деятельности и его личности. Верьте мне, не надо так жалеть тех, кого не стало...

Я уверена, что каждый исполняет свою роль и свое назначение, и если **{99}** кого нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль и должен был стушеваться, так как ему нечего было больше исполнять. Жизнь всегда получает новые формы, и вы не должны стараться слепо продолжать то, что делал ваш предшественник. Оставайтесь самим собой, не ищите поддержки в политических партиях; они у нас так незначительны. Опирайтесь на доверие государя — Бог вам поможет. Я уверена, что Столыпин умер, чтобы уступить вам место, и что это — для блага России».

Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan,
Der Mohr kann gehen.

(«Мавр сделал свое дело — мавр может уйти» (из трагедии Шиллера «Заговор фиэско»).)

Что это было: мистика или конкретная политическая программа? Коковцов должен был понять, что он предназначался на роль следующего «мавра», который, окончив свою очередную роль, тоже перестанет быть нужен «для блага России» и тоже подвергнется, в той или другой форме, участи Столыпина, о котором «через месяц после его кончины... мало кто уже и вспоминал»... А «через месяц» произошло следующее. (Согласно воспоминаниям В. Н. Коковцова, это имело место 19 октября 1911 г. (Примеч. ред.).)

На докладе Коковцова царь смущенно сказал ему, что, желая ознаменовать «добрым делом» выздоровление наследника, он решил прекратить дело по обвинению Курлова, Кулябки, Веригина, Спиридовича — киевских охранщиков — в «небрежности» их поведения в день убийства Столыпина. Коковцов взволновался, стал доказывать царю, что Россия «никогда не помирится с безнаказанностью виновников этого преступления, и всякий будет недоумевать, почему остаются без преследования те, кто не оберегал государя... Бог знает, не раскрыло ли бы следствие нечто большее»... Царь остался при своем. В вечер I сентября он лично опасности не подвергался.

Вступив в отправление должности, Коковцов скоро сам очутился перед испытанием, которое должно было приоткрыть для него, откуда идут нити этой высокой политики. Он подвергся испытанию — на Распутина.

{100} Так как Коковцов, несмотря на усиленные настояния, отказывался его видеть, то, очевидно, по поручению Царского, Распутин сам назвался на свидание. Он пробовал гипнотизировать Коковцова своим пристальным взглядом, молчал и юродствовал, но когда увидал, что это не производит никакого действия на министра, заговорил о главной теме визита. «Что ж, уезжать мне, что ли? И чего плетут на меня»? — «Да, — отвечал Коковцов, — вы вредите государю... рассказывая о вашей близости и давая кому угодно пищу для самых невероятных выдумок». — «Ладно, я уеду, только уж пущай меня не зовут обратно, если я такой худой, что царю от меня худо».

На следующий же день «миленькой» рассказал о разговоре в Царском и сообщил о впечатлении: «там серчают... кому какое дело, где я живу; ведь я не арестант». Еще через день, при докладе царю о разговоре, Николай спросил: «вы не говорили ему, что вышлете его?» — и на отрицательный ответ заявил, что «рад этому», так как ему было бы «крайне больно, чтобы кого-либо тревожили из-за нас». А в ответ на отрицательную характеристику «этого мужичка» царь сказал, что «лично почти не знает» его и «видел его мельком, кажется, не более двух-трех раз, и притом на очень больших расстояниях времени». Едва ли он был искренен.

Но в тот же день Коковцову сообщили, что Распутину известно о неблагоприятном для него докладе царю и что он отозвался: «вот он какой; ну что же, пущай; всяк свое знает». А когда Коковцов удивился быстроте передачи из Царского на квартиру Распутина, ему пояснили: «ничего удивительного нет; довольно было... за завтраком рассказать (царице),... а потом долго ли вызвать Вырубову, сообщить ей, а она сейчас же к телефону — и готово дело». Вся организация сношений здесь — как на ладони.

Распутин, все же, уехал через неделю, но тут же дело осложнилось тем, что в руках Гучкова оказалось письмо императрицы к Распутину, где была, между прочим, цитируемая Коковцовым фраза: «мне кажется, что моя голова склоняется, слушая тебя, и я чувствую прикосновение к себе твоей руки». Гучков размножил текст письма и решил сделать из него целую историю, передав копию **{101}** Родзянке — на предмет доклада императору. Это как-то совпало с обращением самого Николая, переславшего председателю Думы дело о хлыстовстве Распутина, начатое тобольской духовной консисторией. Дело было вздорное, и нужно было эти слухи опровергнуть. Но Родзянко очень возгордился поручением, устроил целую комиссию с участием Гучкова и приготовил обширный доклад. Вскипел Бульон, потек во храм.

Тут припуталось и дело о письме Александры Федоровны, и Родзянко возомнил себя охранителем царской чести. Обо всем этом, конечно, было «по секрету» разглашено и в Думе, и вне Думы, и Родзянко стал готовиться к докладу. Тем временем Макаров разыскал подлинник письма и имел неосторожность передать документ Николаю. О произведенном впечатлении свидетельствует сообщение Коковцова. «Государь побледнел, нервно вынул письма из конверта и, взглянувши на почерк императрицы, сказал: «Да, это не поддельное письмо», а затем открыл ящик своего стола и резким, совершенно непривычным ему жестом швырнул туда конверт». Выслушав этот рассказ от самого Макарова, Коковцов сказал ему: «Теперь ваша отставка обеспечена».

Впечатление глубокого личного оскорбления, вызванное непрошенным вмешательством в самые интимные стороны семейной жизни, распространилось, из-за Родзянко и Гучкова, и на Государственную Думу. Родзянко получил свой доклад у царя и, вернувшись, с большим одушевлением рассказывал о том, какое глубокое впечатление произвели его слова и каким престижем пользуется имя

Государственной Думы, но в частности по поводу доклада о Распутине царь сказал только, что пригласит его особо. После тщетного ожидания, Родзянко написал царю просьбу о приеме по текущим делам Думы. Ответа не было; тогда Родзянко приехал к Коковцову, жаловался на обиду, наносимую народному представительству, и грозил подать в отставку.

А царь в действительности вернул Коковцову просьбу Родзянки со своей резолюцией, написанной карандашом: «Я не желаю принимать Родзянко... Поведение Думы глубоко возмутительно». Коковцов скрыл от Родзянко эту резолюцию **{102}** и убедил царя заменить ее запиской, что примет его по возвращении из Крыма. Родзянко был доволен и демонстративно заявил окружавшим его депутатам, что «государь был всегда расположен» к нему лично «и не решился бы портить отношений к Думе оказанием невнимания ее избраннику».

Уезжая, Николай говорил при прощанье Коковцову: «Я просто задыхаюсь в этой атмосфере сплетен, выдумок и злобы...

Постараюсь вернуться как можно позже». При отъезде императрица прошла мимо провожавших в вагон, ни с кем не простившись. Не успел царь доехать до Ливадии, как Распутин вернулся в Петербург. В Крыму Александра Федоровна проявляла явные знаки невнимания к Коковцову. Но уже и до этого — и до своего свидания с Распутиным, Коковцов почувствовал, что его «медовый месяц» приходит к концу. Царь требовал самых решительных карательных мер против печати, откликавшейся на слухи о Распутине, а Коковцов и Макаров доказывали ему, что этого никак нельзя сделать через Думу в законодательном порядке. По поводу прений в Думе по синодской смете Мария Федоровна вызвала его поговорить о распутинской истории, «горько плакала» по поводу его объяснений, обещала поговорить с государем и закончила таким прогнозом:

«Несчастная моя невестка не понимает, что она губит и династию, и себя. Она искренне верит в святость какого-то проходимца, и все мы бессильны отвратить несчастье». В нескольких словах здесь был точный анализ очень плачевно сложившегося положения — и верный исторический прогноз, к которому Коковцов не мог не присоединиться. Несколько позднее, по поводу торжеств трехсотлетия дома Романовых, и сам Коковцов поставил следующий, вполне верный диагноз самого корня государственной болезни. «В ближайшем кругу государя понятие правительства, его значения, как-то стушевалось, и все резче и рельефнее выступал личный характер управления государем, и незаметно все более и более сквозил взгляд, что правительство составляет какое-то «средостение» между этими двумя факторами (царем и народом. — П. М.), как бы мешающее их взаимному сближению.

Недавний ореол «главы правительства» в лице Столыпина в **{103}** минуту революционной опасности совершенно поблек (при Коковцове. — П. М.), и упрощенные взгляды чисто военной среды, всего ближе стоявшей к государю, окружавшей его и развивавшей в нем культ «самодержавности», понимаемой ею в смысле чистого абсолютизма, забирал все большую и большую силу (здесь главным образом разумеется влияние Сухомлинова. — П. М.)... Переживания революционной поры 1905-1906 годов сменились наступившим за семь лет внутренним спокойствием и дали место идее величия личности государя и вере в безграничную преданность ему, как помазаннику Божию, всего народа, слепую веру в него народных масс...

В ближайшее окружение государя, несомненно, все более и более внедрялось сознание, что государь может сделать все один, потому что народ с ним... Министры, не проникнутые идеею так понимаемого абсолютизма, а тем более Государственная Дума, вечно докучающая правительству своею критикою, запросами, придирками и 'желанием властвовать и ограничивать исполнительную власть, — все это создано, так сказать, для обыденных, докучливых текущих дел и должно быть ограничиваемо возможно меньшими пределами, и чем дальше держать этот неприятный аппарат от государя, — тем лучше и тем менее вероятности возникнуть на пути всяким досадливым возражениям, незаметно напоминающим о том, чего нельзя более делать так, как было, и требующим приспособляться к каким-то новым условиям, во всяком случае, уменьшающим былой престиж и затемняющим ореол «царя Московского», управляющего Россией, как своей вотчиной».

Коковцов осуждаемого здесь мнения не разделял, и ему как раз постоянно приходилось напоминать государю, что «нельзя более делать так, как было», и сдерживать порывы «так понимаемого абсолютизма». Между прочим, я пользуюсь случаем ответить здесь В. Н. Коковцову на замечание в его воспоминаниях о моем личном отношении к нему со времени моей первой речи по бюджету (1908 г.): «С этой поры наши встречи с ним (Милюковым) были проникнуты какою-то вежливою натянутостью: мы ограничивались всегда **{104}** изысканно-вежливыми поклонами и даже в эмиграции характер наших далеких отношений мало изменился».

Я уже заметил, что В. Н. Коковцов был очень обидчив. Он не усмотрел в моей «изысканной

вежливости» того оттенка уважения лично к нему, как к политическому деятелю, которым я отдавал ему дань, несмотря на все различия наших политических ролей и наших личностей. В характере Коковцова была черта внутреннего самоуважения и требования признания его от других, которая давала основание шутить над его суетностью и тщеславием. Я этого суждения, довольно общего, не разделял. Французское выражение vanité (Чванство.), быть может, тут более приложимо, чем русское тщеславие. Я помнил меткое замечание Лабрюйера, что vanité может соединяться с чувством исполненного долга, тогда как тщеславие довольствуется внешним успехом, хотя бы он и не оправдывался внутренней заслугой. То обстоятельство, что Коковцов шел на явный неуспех, оставаясь верен себе и своей роли, не могло не вызывать уважения к нему, особенно в связи с его пониманием этой роли, как оно выражается в только что приведенной цитате.

Приближался срок окончания полномочий Государственной Думы, и Коковцову пришлось оказать ей последнюю услугу, вызвав этим большое неудовольствие государя. Дело было в том, чтобы, по желанию многих членов думского большинства, устроить прием Думы у государя перед разъездом. Николай согласился на это — под условием принятия Думой морской программы.

Коковцов преувеличивал опасность Гучковского сопротивления, — программа была принята, вопреки критике Гучкова; оставалось исполнить обещание. Но царь уклонялся и на настойчивое напоминание о данном обещании, наконец, ответил Коковцову, что у него «решительно нет времени». На новые настояния он раздраженно бросил фразу: «Значит я просто обману Думу?» — «Да, ваше величество, — ответил Коковцов, — или же я должен понести ответственность за превышение ваших полномочий». Царь сдался, но предупредил, что выскажет членам Думы свое возмущение их речами. Коковцов тут же **{105}** набросал проект царского обращения, очень комплиментарный. Царь согласился и на это, но на приеме 12 июня Коковцов услышал, что его комплименты сокращены, а вместо них вставлена фраза: «Меня чрезвычайно огорчило ваше отрицательное отношение к близкому моему сердцу делу церковно-приходских школ». В тот же день Дума ответила на этот реприманд, отказав подавляющим большинством кредиты на церковно-приходские школы, оставшиеся неразрешенными. Этим диссонансом и закончилась деятельность Третьей Думы. Оппозиция в приеме, конечно, не участвовала.

8. «НАЦИОНАЛЬНАЯ» ПОЛИТИКА САЗОНОВА И БАЛКАНЫ

А. П. Извольский правильно предсказывал сэру Эдварду Грэю, что ему не простят в Петербурге его провала по вопросу о Дарданеллах и что его заменят «реакционным» министром.
Протеже Марии Федоровны, либерал и «европеец», кандидат на пост в кадетском министерстве, назначенный вместо скромного Ламсдорфа, чтоб разговаривать с первой Думой, Извольский уже не подходил к стилю Третьей Думы. Англофильства Извольского Николай не разделял, сохраняя еще верность германским связям; успехи 1907 года были, в сущности, выгоднее для Англии, чем для России, а национальное унижение 1908-1909 года объяснялось не только трудностью задачи, но и отказом Англии в поддержке. Извольский, правда, не хотел сдаваться. Если «друзья и союзники» в Лондоне и Париже не помогли, то оставалось обратиться к члену другой комбинации, — конечно, только не к Австрии и не к Германии. Оставалась Италия. Изобретательный ум Извольского создал новую комбинацию взамен той, которая была проиграна с Австрией, — но долженствовавшую служить той же цели. Вместо Боснии и Герцеговины, приманкой должна была тут служить уступка Италии Триполитании и Киренаики, а взамен этого Италия соглашалась поддержать русские требования в проливах.

В случае нарушения status quo на Балканах **{106}** события должны были строиться на признании «принципа национальностей». Все это было оформлено в секретном документе, подписанном в результате свидания царя с итальянским королем в Раккониджи, 22-24 октября 1909 г. Италия достигла своей цели, аннексировав Триполитанию и Киренаику после войны с Турцией 1911 года. К попытке осуществления «принципа национальностей» на Балканах мы сейчас вернемся. А относительно проливов наш новый посол в Константинополе Чарыков вручил Порте 27 ноября проект конвенции — довольно странного содержания. Россия обещала Турции поддержать существующий режим в Дарданеллах, в случае иностранного нападения, — при условии предоставления ей свободного прохода военных судов через проливы и распространения русской поддержки на «соседние местности». Плохо прикрытый план овладения проливами, конечно, вызвал сопротивление Турции, поддержанное Германией, и не вызвал никакого сочувствия в Англии и Франции. Расхлебывать этот неловкий шаг пришлось уже преемнику Извольского.

Уход Извольского был, во всяком случае, решен; но осуществление решения задержалось больше, чем на год, — по-видимому, по той причине, что заменить его было некем. В конце-концов выбор остановился, — если верить Витте, по указанию того же Извольского, — на beau-frère Столыпина, С. Д. Сазонове, сперва как товарище министра, а потом, с конца сентября 1910 г., и его заместителе, причем Извольский получил пост посла в Париже. Тот же Витте дал в своих Воспоминаниях такую характеристику нового министра: «очень неглуп», «со средними способностями», «не талантливый», «мало опытный», а к тому же болезненный. Назначение его состоялось в конце сентября 1910 г., во время пребывания царской четы у гессенских родственников в Германии, — и уже этим как бы подчеркивалась его политическая цель: новая ориентация русской политики. Но этой перемены ориентации не произошло, и, хотя Эдуард VII умер 6 мая
1910 г., поставленная им цель, вместе с ненавистью Извольского к Австро-Венгрии, повела русскую политику по уже проторенному руслу. Влияние Извольского на **{107}** мало подготовленного и несамостоятельного Сазонова тут продолжало сказываться.

Однако же, замена Извольского Сазоновым была встречена сочувственно русскими националистами.
И первый шаг нового министра отвечал их ожиданиям. Царь закончил свое пребывание в Германии личным свиданием с Вильгельмом в Потсдаме, на котором присутствовал и Сазонов (ноябрь 1910 г.) (После свидания в Потсдаме (4-5 ноября) Николай II вернулся на некоторое время в Вольфсгартен, где он гостил у герцога Гессенского. Здесь, 11 ноября, имп. Вильгельм отдал ему визит, причем при этом свидании не присутствовали ни Сазонов, ни Бетман-Гольвег. Об имевшей в Вольфсгартене беседе двух монархов на политические темы имп. Вильгельм сообщил канцлеру Бетман-Гольвегу, запись которого об этом сообщении напечатана в собрании германских документов. (Примеч. ред.).).

Германская дипломатия хотела сразу использовать этот момент для закрепления происшедшей перемены, и Сазонов тотчас после Потсдама получил из Берлина ясную и точную формулу желательного для Германии нового направления русско-германской политики. Первый пункт этой формулы констатировал, что Германия «получила самое точное заверение от австро-венгерского правительства, что оно не намеревается преследовать на Востоке политику экспансии»; Германия со своей стороны заявляла, что она «не приняла на себя никакого обязательства и не имеет никакого намерения поддерживать подобную политику, которую могла бы преследовать Австро-Венгрия». Второй пункт предлагал и России сделать соответственное заявление, что она «не обязалась и не имеет намерения поддерживать враждебную Германии политику, которой могла бы следовать Англия». Это значило поставить все точки над и — и парализовать уже происшедшую в Европе дифференциацию двух лагерей: это была попытка, возвращавшаяся к неудавшемуся опыту в Бьерке.

Сазонов не поддержал ее, затянул ответ, а затем отговорился тем, что, в сущности, царь уже дал в Потсдаме обещание не поддерживать никогда никакой антигерманской политики. Довольно откровенно Сазонов объяснил германскому послу Пурталесу свою уклончивость тем, что такой секретный документ мог бы компрометировать **{108}** англо-русские отношения. Так мотивированное уклонение от ответа было ответом само по себе, -— ив области уже назревшего европейского конфликта положение осталось неизмененным.
Характерным образом, внимание германских дипломатов в Потсдаме сосредоточилось на конкретном вопросе — русско-персидских отношений. В духе своей «мировой политики» Вильгельм уже в 90-х годах заявил, что он не потерпит, чтобы какие-нибудь мировые сделки заключались без его ведома и без его подписи. А тут налицо было соглашение 1907 г. с Англией о Персии, вынимавшее жало из старого англо-русского конфликта.

Потсдамское соглашение выразилось в согласии России не препятствовать постройке Багдадской железной дороги и сомкнуть русско-персидскую сеть («когда она будет готова») с германской у пограничной станции Ханекин. (Со своей стороны, Германия признала особое политическое положение России в северной Персии. Что касается этого соглашения в части его, касавшейся постройки немцами Багдадской жел. дороги, то из сообщения Сазонова английскому правительству видно, что достигнутое в Потсдаме соглашение должно было вступить в силу лишь после получения Германией такого же согласия со стороны Англии и Франции. (Примеч. рад.).) Надо сказать, что русские интересы были мало задеты этим сочетанием «национальных» нужд России с «мировыми» задачами Англии и Германии, — если не считать, что соглашение 1907 г. дало России carte blanche (Полномочие.) на ту политику, которая в английской либеральной печати была квалифицирована как «удушение Персии».

Первый год управления Сазонова, — правда, больного и часто отсутствовавшего — 1911 год как раз и ознаменовался этими русскими эксцессами, нисколько не церемонившимися с молодой — и младенческой — персидской «конституцией», — вплоть до карательной экспедиции со смертными

приговорами и с оккупацией казачьего отряда. В Англии это произвело самое тяжелое впечатление.

Гораздо важнее для русских интересов было укрепление России на Дальнем Востоке. В том же 1911 г. в Китае произошла революция, и маньчжурская династия **{109}** уступила место республике президента Юаншикая. Владетельные князья Монголии почувствовали себя свободными от китайских чиновников, солдат и колонистов — и объявили Монголию независимой.

В Петербурге появились монгольские депутации — просить Россию о поддержке. Интересы России тут были прямо задеты, и поддержка была оказана. После долгих переговоров, затянувшихся и на 1912 год, было выработано соглашение 21 октября 1912 г., по которому желания Монголии были удовлетворены, но с сохранением номинального суверенитета Китая. Монголия становилась автономной, получала право иметь свое национальное войско и управление; китайцы были удалены. Были, с другой стороны, точно определены права русских торговцев и русских подданных. Договор был объявлен неизменяемым без согласия России. Таким образом, во Внешней Монголии Россия водворялась в роли покровительницы; самая территория ее расширялась и объединялась. Так называемая Внутренняя Монголия поступала под покровительство Японии, и были точнее разграничены сферы «специальных интересов» России и Японии в Маньчжурии и в Монголии. Это было несомненным успехом «национальной» политики Сазонова.

Но главнейший интерес русской «национальной» политики сосредоточился в эти годы (1912-1913) в области Балканского вопроса. Здесь своеобразно скрещивались «национальные» идеи, — понимая под ними старое славянофильское отношение к «славянскому» вопросу, — с славянской же действительностью на Балканах и с международным положением России. Для историка этот момент представляет особый интерес в виду малоразъясненного еще сплетения этих перекрещивавшихся нитей и влияний, а для политика — совсем уже жгучий и болезненный интерес, как переходная стадия к трагедии русского участия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Конечно, лишь ход дальнейших событий и опубликование неизвестных в то время документов дают возможность представить себе более или менее полную картину. Должен признаться, что и для меня многое оставалось тогда в тумане. Но мой двойной наблюдательный пункт, как **{110}** члена Думы и лица, хорошо осведомленного в борьбе балканских народностей, свободных и несвободных, — ставил меня в особое положение. Я многому сам научился за эти два года, и многие остатки прежних иллюзий и увлечений остались позади. Поневоле вырабатывался тот взгляд на роль России в последующих событиях, который я привык считать правильным.

Исходной точкой был план Извольского подготовить реванш за неудачу 1908-1909 года путем объединения элементов, оказавшихся конфликтными. Это был проект соединить балканские народности в одну «федерацию» при участии Турции — и тем парализовать преобладание Австрии. При лучшем знании балканских дел этот план мог бы быть тогда же признан неосуществимым; но он был тогда единственным, положенным в основу русской политики. Исполнителем должен был быть Сазонов. Но Сазонов был исполнителем особого типа. Лишенный опыта и личных реальных переживаний, он был, в сущности, равнодушен ко всякому заданию, и брал его таким, каким находил в рутине своего ведомства. Националисты считали его своим, но он не был националистом — и боялся их крайностей, как и всяких крайностей вообще. Аккуратно выполняя очередные дела, он не имел общего взгляда на них, не был «работником» в ведомстве, каким был Извольский, и не вносил никаких новых идей. В славянском вопросе, как я мог убедиться впоследствии из личных сношений, он держался официальных тогдашних воззрений и находился всецело в руках старых исполнителей такого типа, как наш бел- градский представитель Гартвиг, ярый фанатик славянофильской традиции. Сазонов разделял, конечно, и одностороннее предпочтение сербов — старых клиентов России перед новыми — болгарами, и веру в сохранность русского престижа на Балканах, и традиционный взгляд на провиденциальную роль России среди славянства. Мои немногие попытки провести в его сознание новый материал наталкивались на самоуверенность неведения, неподвижность мысли и отсутствие интереса ко всему, что не вмещалось в готовые рамки. С таким ограниченным пониманием — и при все еще слабом удельном весе **{111}** России на Балканах — проведение силами славянства антиавстрийской политики Извольского грозило России самыми неожиданными сюрпризами.

А между тем, к проведению этой политики было уже приступлено». В конце января 1912 г. приехал в Петербург Николай Черногорский с определенным планом расширения черногорской территории за счет Турции и албанцев. В глазах петербургского Двора он, по установившейся традиции, считался вождем славянского движения на Балканах. 29 февраля 1912 г., при содействии России, был заключен секретный сербо-болгарский (оборонительный) договор, долженствовавший устранить главное препятствие к участию Болгарии и Сербии в общей балканской лиге: их спор о

Македонии. «Секрет» этот, конечно, очень скоро вышел наружу. В основу соглашения тут был положен раздел Македонии между обоими государствами, причем, однако, средняя полоса между сербской и болгарской долями оставалась спорной, и судьба этой средней зоны должна была решиться арбитражем русского царя. (Подробный рассказ о сербо-болгарских переговорах см. в моей вступительной главе к «Анкете» Карнеги (см. ниже). (Прим. автора).)

С другой стороны, предполагаемая роль Турции в «федерации» должна была привести к политике укрепления турецкого влияния на Балканах. Турция была ослаблена войной с Италией, и усилия Сазонова обратились к скорейшему прекращению этой войны. Но эти усилия ни к чему не приводили (мир с Италией был заключен только после начала балканской войны), а ослабление Турции было одним из главных поощрений для балканских народностей — искать скорейшего освобождения от турецкой власти. Банкротство младотурецкой политики к этому времени стало уже несомненным фактом.

И возвращение к бесконечным попыткам разрешить вековой спор внутренними реформами лишь наталкивалось на традиционное пассивное сопротивление Турции. Согласовать таким способом интересы христианского населения с сохранением турецкого господства становилось явно невозможным. Было ясно, что балканские **{112}** народности пойдут к своему освобождению не тем путем, которым хотели их направить Извольский и Сазонов, все еще считавшие, что casus foederis (Вступление в действие союзных обязательств.) наступит лишь, «если какая-нибудь великая держава попытается аннексировать... какую-нибудь часть территории полуострова».

Оставалась, наконец, попытка склонить Турцию к уступкам относительно проливов. Но было так же ясно, что это не есть средство привлечь Турцию к России. И упомянутый проект Чарыкова, — по существу, самый смелый из предыдущих, — лишь столкнулся с возраставшим влиянием Германии. Против него резко возражал влиятельный германский посол в Константинополе, Маршалль фон Биберштейн, и Сазонову пришлось взять его обратно, объявив его простым «академическим рассуждением» и пожертвовав Чарыковым, который был переведен в Сенат.

В итоге, план Извольского не только не удался, но он обращался в свою противоположность. Извольский задумал создать балканскую федерацию с участием Турции, как противовес Австро-Венгрии. А балканцы направляли теперь свое объединение против Турции, как своего злейшего врага. Но все дальнейшие шаги к созданию балканского союза делались уже в величайшем секрете от держав, включая и Россию. С октября 1911 г. велись переговоры между Болгарией и Грецией, и 16-29 мая 1912 г. заключена была — также «оборонительная» — конвенция между ними, в которой, однако, не было речи о территориальном разграничении, еще более спорном. Но было ясно, что ближайшею целью конвенции было военное выступление. Соглашение было распространено и на Черногорию. (Соглашение с Черногорией имело место на словах. (Примеч. ред.).) Затем генеральные штабы четырех сговорившихся между собою государств приступили к разработке общего плана войны против Турции. Каждое из них должно было поставить определенное количество войск и оккупировать часть территории, на которую оно претендовало. Самое начало войны уже с **{113}** весны было намечено на половину сентября, по окончании уборки хлеба. Прологом к войне должно было послужить восстание в Албании.

Подробности об этих приготовлениях, конечно, были известны лицам, специализировавшимся на балканских делах. Но слухи о том, что что-то готовилось на Балканах, доходили и выше. И следующим этапом было выяснение того, как к этому относились руководители большой европейской политики. Наилучшим образом это проявилось в двух посещениях России — императором Вильгельмом в Балтийском Порту (21-22 июня ст. ст.) и новым французским премьером Пуанкарэ в Петербурге (27-31 июля ст. ст.). Исходя из противоположных точек зрения, оба они смотрели на искры разгоравшегося балканского пожара, как на опасное осложнение готовившегося мирового конфликта. Их одинаковой целью было — отделить их собственные интересы от балканского спора, наложив на него свое вето.

Сазонов очень радовался, передавая Коковцову общий смысл разговоров Вильгельма с Николаем в Балтийском порту. «Мы можем быть совершенно спокойны; германское правительство не желает допускать того, чтобы Балканский огонь зажег Европейский пожар, и нужно только принять все меры к тому, чтобы наши доморощенные политики не втянули нас в какую-либо славянскую авантюру». И царь был «в прекрасном настроении», получив от Вильгельма «самое определенное заверение, что он не допустит Балканским обострениям перейти в мировой пожар».

Это было очень хорошо — и совершенно искренно, — так как главный нерв германской политики проходил в другом месте. Коковцов и обнаружил его, заговорив с канцлером Бетманом-Гольвегом, сопровождавшим Вильгельма, о том, что «германская программа вооружений 1911 г. и вотированный

рейхстагом чрезвычайный военный налог вносят величайшую тревогу у нас; мы ясно видим, что Германия вооружается лихорадочным темпом, — и я (Коковцов) бессилен противостоять такому стремлению и у нас». Действительно, царь кончил приведенную фразу так: «а всё-таки готовиться нужно, и хорошо, что нам удалось провести **{114}** морскую программу, и необходимо готовиться и к сухопутной обороне». Мы увидим, что слова эти были не случайны.

В свою очередь, и Франция не желала смешивать борьбу за свое мировое положение с исходом балканских столкновений. Ознакомившись в Петербурге с военным договором балканской лиги, Пуанкарэ прямо заявил Сазонову, что «общественное мнение Франции не позволит правительству республики решиться на военные действия из-за чисто балканских вопросов, если Германия не примет в них участия и если она по собственному почину не вызовет применения casus foederis (Вступление в действие союзных обязательств.). Только в последнем случае Россия может рассчитывать на то, что Франция точно и полностью исполнит ее обязательства».

Разграничительная черта между конфликтными вопросами, подготовлявшими мировое столкновение, и чисто русскими национальными интересами проводилась здесь достаточно отчетливо. Дело в том, что как раз в 1912 году столкновение мировых интересов европейских демократий с Weltpolitik (Мировая политика.) Вильгельма вступало в свою последнюю и решающую фазу. Уже в апреле — мае 1911 года вступление французского отряда в Фец вновь поставило на очередь Марокканский вопрос. Вильгельм объявил, что тут нарушена Алжезирасская конвенция, — и послал в Агадир свой крейсер «Пантеру». Эдвард Грэй тогда впервые открыл свои карты, заявив германскому послу в Лондоне, что в случае вооруженного столкновения Германии с Францией, Англия должна будет исполнить свои обязательства в отношении Франции по вопросу о Марокко. Спор был улажен уступкой части французского Конго Германии. Но этим возможность «мирового пожара» отнюдь не была устранена. Вильгельм только устранял возможность второго фронта, держа на привязи Австро-Венгрию, единственный связующий пункт между «мировыми» и русскими интересами. Австрия, в свою очередь, должна была связывать Россию; это был некоторый суррогат **{115}** невозобновленного в 1890 году «союза трех императоров».

Позиция Англии стала известна и в России, когда состоялся 25-28 января 1912 г. ответный визит в Россию английских общественных деятелей и морских офицеров. В качестве члена Думы я присутствовал на завтраке и обеде в честь гостей — и был свидетелем горячих речей и ответных тостов наших правых парламентариев и английских военных. Не знаю, что говорилось за кулисами, но значение этого публичного обмена любезностей было достаточно ясно. Франция, с своей стороны, не спеша откликнуться на наши балканские осложнения, завела переговоры о сотрудничестве русского и французского флотов в Средиземном море. Это облегчало ей возможность перевести свой флот на юг, предоставив защиту своих западных и северных границ английскому флоту. С своей стороны, Англия сделала последнюю попытку убедить Вильгельма приостановить быстрый рост германского судостроительства и отказаться от соперничества на море. Попытка встретила отпор, отношения обострились; рейхстаг разрешил те меры увеличения военного строительства и налогов, с которыми Коковцов был «бессилен бороться» в России. Это значило, что и русское военное ведомство пошло своим путем, не спрашиваясь председателя Совета министров.

Сухомлинов в своих мемуарах утверждает, что уже в 1912 г. русская мобилизация была настолько подготовлена, что он получил право отдать приказ о немедленном начале военных действий против Германии и Австрии! *(о нем см. у Коковцева – ldn-knigi)*

В сентябре военные приготовления балканских государств и брожение умов стали настолько очевидны, что Сазонов решил предпринять объезд европейских государств, чтобы сговориться об общих действиях для сохранения мира. Результаты получились скудные. В Лондоне больше говорилось о русских безобразиях в Персии. Около недели, по приглашению Георга V, Сазонов пробыл в резиденции короля Бальморале, но ничего — ни положительного, ни отрицательного — не добился. В Париже отнеслись к делу несколько активнее, предложив послать, через посредство Австрии и **{116}** России, строгую ноту для предупреждения балканской войны, обещав в ней — реформы; если война все же начнется, державы объявляли, что, каков бы ни был результат ее, то, все равно, никаких территориальных изменений не будет допущено и суверенитет султана и неприкосновенность турецкой территории будут сохранены. Несомненно, державы рассчитывали, что балканские союзники будут разбиты турками, и дело ограничится новой попыткой реформ, обещанных еще Берлинским договором, но не осуществленных. В эти реформы балканцы давно изверились; но нота 7 октября давала им неожиданное преимущество. Она гарантировала, по крайней мере, на время военных действий, невмешательство держав (в том числе и Австрии), и борьба могла впервые вестись один на один.

"L'Europe s'est retrouvée" (Европа вновь нашла себя.) — утешал себя Сазонов, уезжая в Берлин. А в Берлине, на банкете у русского посла, он заявил, что отныне великая опасность общего восстания на Балканах устранена. Близорукость таких предсказаний обнаружилась тем же вечером. Накануне представления ноты 7 октября Николай Черногорский, намеренно опережая события, начал военные действия и объявил войну Турции. Болгария через несколько дней предъявила Турции коллективные требования союзников: административная автономия вилайетов, губернаторы из бельгийцев или швейцарцев, пропорциональное национальностям представительство, собственная жандармерия и милиция, наблюдательный за реформами совет из равного числа мусульман и христиан под контролем посланников держав и представителей четырех государств союза. 15 октября Турция прервала дипломатические отношения и 17 октября объявила войну Болгарии и Сербии; в тот же день Греция объявила войну Турции.

Далее произошло нечто необычайное и неожиданное. Предоставленные самим себе, балканские славяне, без помощи России и Европы, освободили себя сами от остатков турецкого ига. И притом, они совершили это с такой быстротой, что Европа не успела **{117}** опомниться и была поставлена перед совершившимся фактом. Ее угрозы не допустить территориальных изменений и сохранить суверенитет и неприкосновенность турецкой территории были просто отброшены в корзину истории.

Как и было предусмотрено, серия выступлений против Турции началась восстанием в Албании, в Георгиев день 23 апреля 1912 г., с прямым расчетом на поддержку черногорцев. Посланные против албанцев правительственные войска повернулись против комитета «Единения и Прогресса» и потребовали смены кабинета, роспуска палаты и устранения комитета от политики. Угроза похода на Константинополь подействовала (как и в 1908 г.): новый кабинет распустил палату (23 июля). Такое проявление слабости младотурок поощрило противников и послужило к образованию военного балканского союза. Случайно или неслучайно, албанское восстание дало повод и для моей новой поездки на Балканы.

9. МОИ ПОСЛЕДНИЕ ПОЕЗДКИ НА БАЛКАНЫ

На Балканах появился мой старый друг, Чарльз Крейн, всегдашний поклонник старых культур и сторонник освобождающихся народностей. Говорили потом, что он оказал материальную помощь албанцам; мне он, конечно, об этом не сообщал. Но он написал мне, прося приехать и принять участие в его поездке по Балканам. Я, разумеется, с удовольствием согласился. Роспуск Третьей Думы 8 июня и созыв Четвертой на 15 ноября давали мне полную возможность посвятить промежуток посещению Балкан, а то, что я знал уже о готовившихся событиях, делало эту поездку необоходимой.

Особенно спешить было некуда. Я решил из Белграда прокатиться вниз по Дунаю, через знаменитые Железные Ворота до Турну-Магурели и оттуда живописными горными ущельями р. Искера проехать в Софию, где уже ждал меня Крейн. Я застал его в сношениях с болгарскими художниками; правда, попытка моя обратить его внимание на картины Митова из болгарского быта не удалась; зато он приобрел фигуру **{118}** во весь рост «царя болгар», в великолепном византийском одеянии, — она потом висела в его нью-йоркской квартире. Его очень интересовали также старинные славянские святыни. Он знал Афонскую Святую гору, и картина Пантелеймоновского монастыря, сделанная по его заказу чешским историческим художником Мухой, также красовалась на видном месте в его квартире.

Здесь целью нашей первой поездки был намечен Рыльский монастырь, и мы двинулись туда на лошадях, через горное плато Самокова. В монастыре я не нашел ничего особенно замечательного, — может быть, потому, что и не искал. Голова была занята мыслями о политике. Гостил в монастыре — подобно нам, в ожидании новостей — известный журналист Диллон, корреспондент «Таймса», знакомый мне еще с 1905 г. Он, сильно постарел с тех пор, но сохранил живой темперамент, холодный ум, склонный изображать людей и вещи в черном свете, и страсть к сенсационным разоблачениям, хотя бы и не вполне достоверным.

На меня он смотрел, как на опасного конкурента, и тщательно скрывал от меня свои сношения с местными информаторами, приносившими ему платные новости. Все же, между нами постоянно возникали споры; Крейн слушал молча, вставляя ядовитые шутки, которые очень ему удавались. Так мы скоротали несколько дней на монашеском режиме — и вернулись в Софию без сенсаций. Вторая наша поездка имела целью посещение Шипкинского перевала, — память героических боев войны 1878 года.

По мере подъема наверх вспоминался смелый переход генерала Гурко, трудное отступление и тяжелое зимнее сидение («На Шипке все спокойно!»). Крейна больше занимала православная русская

церковь — памятник на вершине перевала. Духовенство встретило нас очень ласково. При церкви жило несколько русских инвалидов-пенсионеров времени войны. Мы поднялись и спустились в порядке русского наступления, с севера на юг, выехав в «долину роз» (Казанлык). Кроме названия, эта долина ничего поэтического собой не представляет: это просто — обширная плантация, засаженная кустами роз, из которых выжимают розовую эссенцию — **{119}** дорогой товар. На память я получил маленький флакон. У Старой Загоры мы выбрались на линию железнодорожных сообщений. Стоял уже октябрь; в России начинались выборы в Четвертую Думу; Сазонов возвращался из своей заграничной поездки. Болгария начала военные действия против Турции; болгарские войска заняли станцию Мустафа-паша на р. Марице (23 октября) и быстро двигались к Адрианополю. Мне пора было возвращаться, но мы с Крейном все же решили проехать на юг, следом за болгарскими войсками. Мы остановились в Мустафе-паша; дальше ехать было нельзя. В ожидании обратного поезда мы прошли прогуляться по городу, и тут случился со мной маленький эпизод, который крепко мне запомнился.

Был базарный день, солнце ярко освещало крестьянскую толпу и женщин в цветных местных костюмах. Крейн залюбовался на картину в восточном стиле, а я, с своим кодаком в руке, спустился вниз к берегу Марицы, через которую шел, на большой высоте, железнодорожный мост по направлению к Кара-Игачу, предместью Адрианополя. Под мостом открывалась красивая перспектива противоположного берега, и я расположился ее сфотографировать. Но я совсем забыл, что мы — в самой зоне войны, — и дело пахло расстрелом. Сзади подошли жандармы, схватили меня, отняли аппарат и повели в полицию. Крейн спешил мне навстречу. На базаре мы остановились; нас окружила толпа; полицейские начали допрос. Конечно, мои первые объяснения их не удовлетворили, а мой болгарский язык только показал, что я — не болгарин. Положение становилось неприятным; они требовали документов, а я вломился в амбицию — и еще больше сгустил подозрение. Крейн смотрел на меня жалостно, но он был без языка. Я, наконец, вынул паспорт; полицейский стал его читать... и вдруг положение изменилось. «Господин Милуков? Приятель на Болгария!?» Жандарм отступил на шаг, сделал под козырек, отдал паспорт и аппарат, — и извинился.

Меня почти пробрали слезы от умиления. Вот тут, на маленькой проезжей станции, меня знают, как друга, и мне верят без разговоров! Это было неожиданно — и трогательно... Это **{120}** меня вознаграждало за годы работы на пользу болгарского народа. Крейн был удивлен и тронут не меньше меня. Под этим настроением мы двинулись в обратный путь.

Мне надо было спешить вернуться к выборам и к открытию Четвертой Думы. Поэтому остановка в Софии была очень непродолжительна. Но к этим немногим дням я должен отнести свою первую встречу с царем Фердинандом. Инициатива встречи, конечно, принадлежала ему; но он решил устроить свидание конспиративно. Мне сообщили, что мы встретимся в его зоологическом саду, где он хранил свои орнитологические коллекции. В определенный час я был на указанном месте; ко мне навстречу шел по определенной дорожке в штатском костюме Фердинанд. Из нашего разговора у меня ничего не сохранилось в памяти: очевидно, беседа носила преимущественно комплиментарный характер, и своих карт мой собеседник не открывал. А открыть было что! Не от него, конечно, я знал, что переговоры с Сербией и Грецией продолжаются при более сговорчивом преемнике Малинова, Гешове, — с Венизелосом и с Миловановичем. Но условия соглашения все еще не были выработаны. Общественные настроения на Балканах еще колебались между «войной за освобождение» и «войной за завоевание». Сторонники окончания войны в «освободительной» стадии считали, что задача была осуществлена победами при Люле-Бургас (31 октября 1912г.), в Салониках (27 октября) и в Битоле (Монастир, 18 октября). Напротив, сторонники продолжения войны стремились довести ее до полной победы над Турцией, что впоследствии определялось датами взятия Адрианополя болгарами (13 марта 1913 г.), Янины греками (24 февраля), Дураццо и Скутари сербами и черногорцами (9 апреля). Было, конечно, ясно, что Фердинанд на стороне продолжения войны и что в этом поощряют его австрийцы. Болгарские войска осаждали Адрианополь и двигались к Константинополю. Но перспективы были еще неясны.

Крейну хотелось перед расставаньем взглянуть на красоты горного пейзажа на Дунае, недалеко от **{121}** сербской границы. Вследствие эрозии песчаников скалы там принимали необыкновенно причудливые формы. Побывав там, мы расстались с Крейном на Дунае же, у Никополя. Я спустился оттуда вниз по реке до Джурджева, чтобы вернуться через Бухарест, где я никогда еще не бывал. Мне хотелось посмотреть на последний след управления Киселева Дунайскими княжествами при Николае I: на русских извозчиков в черных бархатных кафтанах с шапочками, окаймленными павлиньим пером. Один из них прокатил меня по «Киселевскому проспекту»; затем я сел в поезд до Ясс, где меня интересовали результаты археологических раскопок так называемой Трипольской культуры. Молодой университетский профессор принял меня очень любезно; я снял фотографии с хранившихся в

университетском кабинете предметов окрашенной керамики, родственной Киевской, — и через Тирасполь вернулся домой.

Октябрь был переломным месяцем в истории балканской борьбы. В зимние месяцы она вступала в новую — опасную — фазу. Бесспорное становилось спорным. Беспокойство Европы росло по мере того, как ее предвидения оказывались опрокинутыми. Побеждала не Турция, а славяне, и их окончательное освобождение от турецкого ига становилось таким же бесспорным фактом, как и давно ожидавшееся разложение Турции. И весь вопрос переносился на интернациональную почву.

Напомню главные факты этого момента перелома. Болгары, как сказано, осаждали Адрианополь и почти дошли до Константинополя, остановившись лишь у сильно укрепленной линии Чаталджи. Черногорцы вышли на Адриатику и осаждали Скутари. Сербы, вместе с ними, занимали адриатические порты и собирались делить с греками албанские земли. Греки заняли Халкидонский полуостров, южную часть Македонии и острова. Салоники становились спорным пунктом между сербами, болгарами и греками, — и тут вырисовывался основной предмет разногласия между союзниками, так как одновременно сербы оккупировали всю Македонию — и все менее были склонны ее уступать. Связанные борьбой у Адрианополя, болгары опоздали на несколько **{122}**
часов или дней (26-27 октября) занять Салоники, где их опередили сербы.

В ноябре раздались предостерегающие голоса Австрии и Германии.

Австрия протестовала против занятия славянами портов на Адриатическом море (Сан-Джовани ди Медуа и Алессио). Ограждая свои интересы в Албании, она спешила провозгласить ее независимость (16 ноября). Вслед за этим послышался, из уст канцлера Бетмана-Гольвега, первый окрик Германии. Если воюющим сторонам не удастся сговориться, предостерегал он, и если между ними возникнет открытое столкновение, и при этом, вследствие нападения третьей стороны, будет грозить опасность самому существованию Австро-Венгрии, то тогда Германии «пришлось бы, соответственно союзным обязательствам, решительно стать на ее сторону».

Естественно, что противоположный лагерь тоже обеспокоился. Пуанкарэ и Грэй спешили предупредить об опасности «непоправимой инициативы» какого-нибудь отдельного государства. Разумелась тут, конечно, та же Австрия. Она спешно вооружалась и готовилась к мобилизации. В ноябре 1912 г. положение достигло такой степени напряжения, что даже сам Вильгельм счел нужным одернуть своего «блестящего секунданта» (11 ноября): «Германия должна рисковать своим существованием, — писал он, — из-за того, что Австрия не хочет видеть сербов в Албании или в Дураццо! Очевидно, это не есть основание для Германии вести разрушительную войну... Поставить германскую армию и народ в зависимость от капризов другого государства значило бы — выйти за пределы договорных обязательств. Casus foederis (Вступление в действие союзных обязательств.) наступает, если Австрия подвергнется нападению России — при условии, что русское нападение не будет провоцировано Австрией, что на практике может случиться по поводу Сербии. Австрия обязана избежать этого». Повторенные в 1914 году, эти благоразумные предостережения могли бы предупредить мировую войну из-за Балкан. Но, увы, это был **{123}** уже последний отголосок настроений Балтийского Порта; скоро должно было возобладать обратное настроение.

Мы увидим, как реагировала на это ноябрьское напряжение Россия. Но я не хочу прерывать рассказа о дальнейших балканских осложнениях конца 1912 и начала 1913 гг. Здесь напряженное настроение поздней осени разрешилось на время приостановкой военных действий. 22 октября Турция обратилась к державам с просьбой о вмешательстве. Через месяц, 20 ноября, подписано было перемирие Турции с Болгарией, Сербией и Черногорией (Греция отказалась к нему присоединиться). По приглашению Англии, представители балканских держав съехались в Лондон для переговоров (2 декабря), а через день начались там же совещания послов, составившие своего рода контрольную инстанцию. Туда же перенесены были и все разногласия, не замедлившие открыться и обостриться — к удовольствию и при содействии австрийской дипломатии. По мере того, как возрастала требовательность союзников, росла и неуступчивость Турции. Болгария потребовала осажденного Адрианополя. Турция отказалась (6 января 1913 г.). Тогда союзники «суспендировали» работы конференции. В Константинополе экстренное «великое собрание» собиралось ответить в уступчивом духе, когда члены комитета «Единения и Прогресса» ворвались в собрание, убили главнокомандующего Назима-пашу и добились отставки кабинета. Союзные делегаты в Лондоне ответили на это «перерывом» переговоров (16 января); по окончании срока перемирия (21 января) военные действия возобновились.

Турция возобновила просьбу о посредничестве держав (16 февраля), но союзники в ответ (1

марта) еще повысили свои требования. 13 марта Адрианополь был взят штурмом. Помню, как сейчас, глупую физиономию думского шута, Павла Крупенского, вскочившего на кафедру, размахивавшего руками и оравшего во все горло «ура» болгарам. «Славянские» манифестации правых вышли на улицу.

Николай Черногорский отказался (19 марта) подчиниться требованию держав — прекратить осаду Скутари, хотя **{124}** Россия уже соглашалась на оставление Скутари в пределах Албании. А 25 марта Бетман-Гольвег откликнулся на эти проявления славянской самостоятельности речью, в которой послышался первый отклик нового настроения Вильгельма. Имперский канцлер заговорил о «возрождении и обострении расовых инстинктов», о необходимости борьбы «германства» против «славянства», о нарушенном в пользу славянства равновесии в Европе; этим он мотивировал необходимость дальнейших вооружений и заявил — уже более определенно, — что помощь, которую Германия обязана оказывать Австрии, «не ограничивается пределами дипломатического посредничества». В том же марте 1913 г. в рейхстаг была внесена новая Wehrvorlage (Законопроект об армии.), требовавшая миллиард марок на новые вооружения.

Идея борьбы «германства» против «славянства», конечно, далеко не была новой. Она составляла неотъемлемую часть кодекса официального пангерманизма. Но победы славян на Балканах сообщили этому тезису новое реальное содержание. И император Вильгельм, давний сторонник пангерманизма, очень чувствительно и нервно реагировал на это новое применение старого принципа. Для этого ему не нужно было меняться. Он просто ввел борьбу против «славизма», олицетворявшего, в глазах теоретиков, восточную часть Центральной Европы, в общую программу своей «мировой политики». Мы даже узнаем от него, кто был посредником при усвоении этой не новой, но обновленной идеи. «В особенности приобрел мое доверие, — признает он, — балтийский профессор Шиман, автор работ по русской истории и издатель ежегодных сборников по «большой политике». В глазах императора, это — «проницательный политик, блестящий историк и литератор, борец за германизм против славянского нахальства», с которым он «постоянно совещался в политических вопросах» и которому «обязан многими разъяснениями, особенно относительно Востока».

Еще не отдавая себе отчета о наступлении этой новой фазы в настроении Вильгельма и о **{125}** соответственном повышении тона австро-венгерской политики, а также и о степени глубины разногласий между союзниками, я чувствовал, прежде всего, потребность отдать себе отчет на месте в итоге одержанных балканцами побед. В моем распоряжении были только пасхальные каникулы Думы (6-23 апреля 1913 г.), и я ими воспользовался, чтобы посетить, по крайней мере, главные центры борьбы. Прежде всего я направился в Софию. Военные действия между болгарами и турками были прекращены 25 марта, и условия перемирия опубликованы 5 апреля (продолжено до 21 апреля). Граница между Болгарией и остатком турецкой территории, на которую согласилась и Европа, проходила по линии Мидия — Энос. Но стремления военной партии шли дальше. Полушутя, полусерьезно в столице передавали слухи, что Фердинанд уже велел приготовить себе белого коня для торжественного въезда в Константинополь. Правда, к этому прибавляли, что, заняв турецкую столицу, Фердинанд передаст ключи от Константинополя русскому царю. Но, с другой стороны, австрийцы уже намекали премьеру Даневу, что болгары могут сделаться "gute Hüter der Dardanellen" — хорошими охранителями проливов. Как бы то ни было, я стал свидетелем этих воинственных настроений. Царь Фердинанд снова пожелал меня видеть — и на этот раз в совершенно иной обстановке: во дворце, в порядке торжественной аудиенции.

Он начал беседу фразой: «Я знаю, что ваш царь меня ненавидит. Но — почему?» Это было недалеко от истины, но я собирался возражать — и успел сказать, что, очевидно, у царя нет предвзятого мнения, и что, если и были недоразумения, то они смягчаются и имеются уже доказательства примирительного отношения. Я, однако, увидел, что вопрос был, так сказать, риторический и что Фердинанд и не слушал ответа. У него была наготове речь, хорошо построенная и заранее обдуманная, и он к ней приступил, слушая скорее самого себя. Речь лилась каскадами, переполненная блестками, антитезами, неожиданными saillies (Остроты), — в духе **{126}** французского красноречия, на блестящем французском языке. Я вспомнил, как кто-то мне говорил, что если Фердинанд хочет кого-нибудь очаровать, то он это умеет сделать. «Да, я знаю, меня подозревают, считают иностранцем. Но я люблю этот народ — хороший, честный народ. Я хочу слиться с ним. А народ помнит и любит Россию. Я воспитываю сына в православии и в знании русского языка. Я хочу вам показать его».

Тут он распорядился привести Бориса. Мальчик был введен в сопровождении воспитателя, русского священника. Я поздоровался, сказал несколько слов по-русски. Смущенный Борис молчал; за него спешил ответить воспитатель. Тогда Фердинанд обратился к Борису: «Вот твой учитель. Помни: ты должен следовать его советам». Сцена кончилась, мальчика увели, Фердинанд продолжал: «Меня

обвиняют в личном характере режима. Но я — конституционный государь, управляет ответственное министерство, как раз состоящее теперь из демократов и друзей России. Правда, страна — молодая, партии — искусственные, я должен менять их у власти. Но они представляют народ. И теперь, как раз, я делаю народное дело. Я заканчиваю объединение Болгарии. Это — задача национальная, но, в то же время, это и задача наша общая, славянская. И вы должны мне помочь в этом. Убедите царя уступить мне Родосто» (город на Мраморном море, на полдороге между Константинополем и Галлиполи). Я несколько опешил. Очевидно, Фердинанд представлял себе роль «лидера оппозиции» в Государственной Думе чем-то вроде соответственного поста в болгарском народном собрании — кандидатом в будущие премьеры!

Полемизировать на эту тему, однако, не пришлось. Речь была закончена; Фердинанд подал знак; я поблагодарил за доверие — и откланялся. Но оказалось, что его просьба ко мне серьезнее, чем я думал. Поздно вечером того же дня (рано утром я уезжал) ко мне явился в гостиницу близкий к Фердинанду министр Христов с секретным поручением, подтверждавшим просьбу о Родосто, и передал мне, на память, портрет Фердинанда в большой раме, с его подписью... Требование Родосто было уже включено **{127}** формально в общее требование союзников, от Турции (1 марта 1913 г.) и составило предмет специальной просьбы Фердинанда к царю, — что, конечно, не понравилось в Петербурге. Понятно, что я никаких шагов в этом направлении не предпринимал.

Моей следующей целью были Салоники, где еще стоял болгарский гарнизон и где у меня были друзья в болгарской колонии, через которых я рассчитывал узнать о положении в Македонии, оккупированной сербами. Разногласия по поводу толкования договора о разделе уже существовали тогда в правящих кругах; но мне они оставались неизвестны. И я не удивился, что наследник сербского престола, молодой Александр, остановившийся в Салониках в вагоне своего специального поезда, захотел со мной повидаться. Беседа с ним произвела на меня самое лучшее впечатление. Воспитанник русской военной школы, он отлично говорил по-русски и был со мной отменно любезен. Зная, что я хорошо знаю Македонию, он подробно меня расспрашивал о ней, а я охотно отвечал — и особенно хвалил красоты природы этой страны.

Деликатные стороны вопроса не были затронуты, и я не знал, что Александр считается главным сторонником аннексии всей Македонии. Я не знал, конечно, и того, что 24 марта сербский посланник в Бухаресте передал румынское предложение заключить союз против болгар, а 19 апреля греческий посланник сделал такое же предложение. Я не знал, наконец, и того, что принц Николай Греческий, в качестве военного губернатора Салоник, был участником переговоров на эти темы, ведшихся в «специальных» поездах. Не помню уже, в специальном или обычном поезде я получил возможность проехаться по Македонии вплоть до Ускюба. Болгарское имя города «Скопье» уже начало уступать место сербскому «Скоплье», и местная болгарская колония, как я мог убедиться, уже начинала чувствовать себя в этом городе далеко не уютно. Но к этому вопросу я еще вернусь. Сербы продолжали и тут проявлять ко мне особое внимание. Я был приглашен на собрание, чествовавшее воеводу Путника в момент его поездки для «инспектирования» Македонии, **{128}** и Александр, посетивший это собрание, распорядился специально подвести меня к нему для личной встречи. Конечно, тут в толпе, стоя, никакой серьезный разговор был невозможен. Это был простой знак внимания.

На возвратном пути, в Вене, я имел еще возможность поговорить с человеком другого типа, министром иностранных дел Миловановичем, одним из сторонников и идеологов сербо-болгарского сближения еще с 1904 года. Мы остановились в одном и том же отеле, и беседа была очень интимного свойства. Нигде еще я не мог заметить признаков охлаждения между союзниками. Еще 21 марта царь Фердинанд по телеграфу благодарил короля Петра за братскую помощь при взятии Адрианополя.

В конце апреля снова наступает перерыв в моих личных сношениях с балканскими странами — до 13 августа того же 1913 г. (везде старый стиль). И за эти неполные четыре месяца — сколько новых и серьезных перемен в положении! Намечавшиеся разногласия между союзниками, наконец, выходят наружу и ведут за собой трагические последствия. И снова, чтобы сохранить связность рассказа, я исключу из него все то, что связано с ролью России на Балканах. К опущенному здесь я вернусь в дальнейшем.

Совершенно неожиданно, мне пришлось в августе — сентябре того же 1913 года вновь явиться на Балканах не в роли политика и наблюдателя, а в роли... судьи. Весь мир, после того как был поражен славянской «славой», заговорил о балканских «зверствах». Вчерашние союзники вступили в борьбу между собою из-за раздела приобретенных земель, и в этой борьбе, уже не дипломатической, а вооруженной, проявили черты, свойственные, правда, не одним только примитивным народностям.

Юридически ответственною за обращение к оружию оказалась Болгария — и она же явилась первой жертвой. Она первая и обратилась к державам и к общественному мнению с жалобой на испытанные ею «зверства». Формально, главные факты болгарской ответственности за поднятый ею меч сложились следующим образом. По тайным приказам болгарским **{129}** войскам 15 и 17 июня, они начали наступательные действия. Ответственными лицами за это являлись царь Фердинанд, приближенный к нему генерал Савов и их окружение. Министерство Данева настояло на немедленном прекращении военных действий, но роковой шаг был уже сделан. Болгарские войска были утомлены предшествовавшей борьбой с турками и неудачно размещены для импровизированной войны в Македонии. Сербы, напротив, приготовились к борьбе заблаговременно.

В три дня болгарское наступление было отражено. Греки выставили против болгар вчетверо большую силу. Румынские войска перешли Дунай и двинулись по направлению к незащищенной Софии. Турецкие войска также перешли в наступление и отобрали у болгар все, ими завоеванное, включая и Адрианополь (9 июля). Болгария, уже не ставя никаких условий, обращалась к посредничеству России, Австрии или Румынии. Но наступление со всех сторон продолжалось. Наконец, румынский король Карл (Гогенцоллерн) принял на себя посредничество, и 18 июля было заключено в Бухаресте пятидневное перемирие. Болгарии были предложены крайне тяжелые условия мира. Но возражать она уже не могла, и 24 июля она принуждена была принять эти условия.

По Бухарестскому миру, Адрианополь и Восточная Фракия остались за Турцией, и граница, вместо Родосто или Энос — Мидия прошла (по договору с Турцией 9 сентября) по берегу Марицы (до Демотики). Западная Фракия со всеми портами Эгейского моря, на которые претендовала Болгария, включая Салоники, перешла к Греции. Вся Македония до водораздела между р. Вардаром и Струмой (за исключением Струмицы) была присвоена Сербией. Румыния продвинула свою границу в Добрудже — южнее, заняв Туртукай и Балчик. Как известно, Австрия попробовала было воспользоваться этим моментом для нанесения «окончательного» удара Сербии — и обратилась за помощью к своим союзникам. Только отказ Италии и Германии ее остановил.

Здесь перечислены только грубые, голые факты. Но что, собственно, случилось? Почему Болгария так **{130}** быстро перешла из роли зачинщицы в роль жертвы всех других балканских амбиций? Не совсем случайное обстоятельство поставило меня в положение исследователя и дало возможность дать точные ответы на эти вопросы.

В июле 1913 г. отделение Воспитания и Пропаганды Carnegie Endowment for International Peace решило организовать «международную следственную комиссию» для изучения на месте происхождения и способа ведения обеих балканских войн — с целью послужить «замене насилия примирением (conciliation) и справедливостью в урегулировании международных разногласий». Задача эта была поручена сенатору барону Д'Эстурнель де-Констан, председателю французского отделения института Карнеги, участнику обеих Гаагских конференций 1899 и 1907 гг. и известному пацифисту. Д'Эстурнель лично не принял участия в поездке на Балканы, а передоверил председательство, роль казначея и докладчика лионскому депутату Жюстену Годару.

Международный состав комиссии был обеспечен согласием участвовать в ней профессоров Пашковского и Шюкинга от Германии, проф. Редлиха от Австрии, проф. Даттона от Соед. Штатов, журналиста Брейльсфорда от Англии и пишущего эти строки от России; конечно, не в качестве официальных представителей этих государств, а лиц, способных обращаться к общественному мнению. Злоключения, этой комиссии начались раньше ее прибытия на место. Германские профессора уклонились под очевидным давлением свыше; Пашковскому было прямо запрещено участвовать, Шюкинг доехал до Белграда, но вернулся, поверив сообщению, будто комиссия распалась. Австрийский проф. Редлих ограничился «советами», которых никто из нас не слыхал. Доехали до Белграда четверо: старик Даттон, почтенный педагог, профессор Колумбийского университета; Годар, заместитель председателя, живой, энергичный и убежденный; и мы двое, Брейльсфорд и я, единственные действительные работники комиссии, знакомые с стремлениями и языками балканских народностей.

Но на нас обоих и обрушились дальнейшие гонения. В Белграде **{131}** Пашич отказался принять комиссию, в которой участвует такой ennemi déclaré (Явный враг.) Сербии, как Милюков. Посовещавшись, комиссия решила, что она составляет одно целое и может работать только вместе. Тогда нам предложили покинуть Белград, что мы и сделали, выехав с ранним утренним поездом в Салоники. Перед отъездом, вечером, я сделался предметом специально устроенной демонстрации. Несколько сербских друзей пришли ко мне в гостиницу «Россия» проститься. Мы сидели внизу в ресторане; кругом, за отдельными столиками разместились демонстранты — большей частью патриотическая

молодежь. По данному знаку, раздались по адресу «врага» Сербии грубые выкрики и резкие речи. К моему большому удовольствию, мои друзья не выдержали.

Черногорец Венович, с которым мы познакомились еще в Петербурге, вскочил на стул и произнес горячую речь, доказывая мою испытанную дружбу к Сербии той позицией протеста, которую я занял по поводу аннексии Боснии и Герцеговины. За ним встал профессор Люба Иованович и стал объяснять молодежи мою позицию политического радикализма. Последовала пауза, которой друзья воспользовались, чтобы шепнуть мне, что больше оставаться небезопасно, — и отвели меня в мой номер. Я испытывал горечь незаслуженного оскорбления и невозможности объясниться с молодежью по существу. Рано утром мы все уехали в Салоники. Это было мое последнее посещение Белграда.

В Салониках, куда мы приехали 14 августа (1913 г.), нас оставили на несколько дней в покое. Это было, конечно, непоследовательно, и мне вспоминался приговор Крыловской басни: «щуку утопить в реке». Я понял здесь, почему Пашич поспешил объявить меня «врагом». Среди болгарской колонии Салоник я был своим человеком. Отсюда нити моих сношений простирались во все города Македонии. И отовсюду посыпались показания свидетелей о том, какими приемами сербы спешили превратить болгарскую Македонию в сербскую.

{132} Общий смысл получившейся картины был мне, конечно, ясен и раньше. Но тут картина эта расцветилась большим количеством документов и свидетельских показаний, далеко выходивших за пределы нашей прямой задачи: исследования нарушений правил войны. Мои данные свидетельствовали о том, как самая война эта постепенно становилась неизбежной. Я изложил их во вступительной главе к отчету комиссии, и здесь остановлюсь лишь на главных чертах, делающих понятным все остальное.

Первоначальной целью войны было освобождение от турок, — и турецкое население первое пострадало от освободителей. Турецкие селения сжигались, мусульмане стали первыми объектами зверств, уцелевшие бежали; члены комиссии видели целые тысячи их, скопившиеся около самых Салоник, без приюта и крова, под открытым небом, без пищи и без определенных надежд на переселение. Но затем начались столкновения между самими христианами. Так как главной территорией этих столкновений была Македония, то объектом зверств здесь сделалось коренное болгарское население, а виновниками — сербы и греки. Как только сброшен был верхний покров турецкой власти, под ним обнаружилась многолетняя борьба между христианскими национальностями, — та самая, которую я наблюдал еще в конце XIX столетия. Разница теперь была та, что на помощь сербскому и греческому меньшинствам явились оккупировавшие Македонию войска.

И здесь был момент первоначального общего энтузиазма освободителей. Болгарские революционеры — «комитаджи» спустились с гор в свои деревни и призывали население встретить освободителей «с победными венками» и «усеять цветами путь их славы». Увы, этот момент быстро прошел, и «комитаджи», члены тайной болгарской «внутренней организации», первые подверглись преследованиям. Чуть не в каждой болгарской деревне был какой-нибудь «сербоман» или «грекоман», которому внутренние болгарские отношения были гораздо известнее, нежели прежнему турецкому начальству. Они и явились многочисленными патриотами—доносчиками. Дальше борьба становилась **{133}** труднее: она направлялась против сельского учителя и священника, — всегда подозревавшихся в сношениях с тайной организацией. Болгарские школы закрывались и служили помещениями для оккупационных войск; священникам и епископам запрещалось служить по-болгарски и, вообще, сноситься с паствой.

По мере продвижения оккупационных войск внутрь Македонии все это приводилось в систему, выполнявшуюся временными оккупационными властями. Здесь уже прямо ставилась задача — превратить все болгарское население в сербское или греческое. Незнакомые с местной пропагандой офицеры и солдаты начинали с удивления, что им приходится объясняться на чужом языке с болгарами. Их уверяли, что эти «болгарофоны» прежде говорили по-сербски и по-гречески и только недавно разучились, под влиянием болгарской пропаганды в школе и церкви. Отсюда следовал прямой вывод: заставить их вернуться к прежнему языку и национальности. Такие приказы и отдавались, и так как непослушание грозило насилиями, то оккупированные местности постепенно принимали новый официальный облик. Такая метаморфоза в особенности происходила в течение нового 1913 года.

Но где же были болгары? По договору — правда, мало известному публике — болгарские войска, в количестве 100.000, должны были участвовать в освобождении Македонии и в «кондоминиуме» над нею. На самом деле, они были не здесь, а на главном театре войны — с турками. Даже пятнадцатитысячный корпус македонских добровольцев, вместо охраны прав своих соотечественников, был расквартирован на Галлиполийском полуострове. Отсюда и вышли жалобы, что Болгария перешла от освободительной войны к завоевательной. Доля правды тут была; но нельзя было все-таки

забывать, что общей целью войны была победа над Турцией и главная роль в этой борьбе перешла, по географическим и стратегическим условиям, к болгарам.

Правда, и сербы послали сюда вспомогательный корпус. Была ли при этом совершенно забыта Македония? Болгары прежде всего тут рассчитывали на неприкосновенность договора, обусловленного царским арбитражем. Но, по мере **{134}** укрепления сербо-греческой оккупационной власти, положение менялось. Новые оккупанты начинали требовать изменения договора, а потом и просто перестали с ним считаться. Приводились и аргументы: Болгария завладела Адрианополем, тогда как Сербия и Черногория лишились выхода к Адриатике. Так как это связано с ролью России, то мы сейчас к этому вернемся. Во всяком случае, добровольно ни та, ни другая стороны не хотели отказаться от того, что уже успели приобрести. Завязывался узел, разрубить который можно было только силой, и обе стороны готовились именно к этой развязке.

Весь ход описанного процесса выяснился для меня в подробностях именно в эти дни пребывания комиссии в Салониках. Мы с Брейльсфордом распределили работу между собою: я занялся собиранием данных о сербо-греко-болгарских отношениях в Македонии; он — об отношениях греко-турецких. Ему удалось побывать в нескольких местах особенно выдающихся зверств. Мне в этих разъездах не было особенной надобности: у меня на руках был главный штаб собирания свидетельских показаний и документов. Но это положение напряженной работы продолжалось недолго: ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы снестись сербскому министерству с греческим. Уже 18 августа Салоникский губернатор передал комиссии распоряжение — уехать из Салоник. Был при этом упомянут и я; но главным «врагом» Греции оказался Брейльсфорд, участник борьбы за освобождение Крита, неугодный афинскому правительству. Приходилось собираться в путь. В дальнейшей поездке — в Грецию — участвовали уже только двое членов комиссии: Годар и я. Притом, мы решили разделиться. Он, как лицо, формально не заподозренное, по приезде в Афины должен был поселиться в одном из лучших отелей, соответственно достоинству председателя комиссии. Я же решил, сойдя с парохода, остаться в Пирее, в каком-нибудь маленьком отеле, чтобы каждый день приезжать к нему для совместных совещаний.

Так прошло несколько дней, и нас не трогали. Должен признаться, при невозможности продолжать работу, **{135}** я посвятил эти дни чисто-туристским целям. Я до того не бывал в Афинах и особенно свежо воспринимал удивительные краски афинского неба, перспективу Гиметта и зрелище Саламина. Но главным образом меня привлекали, конечно, Акрополь и другие остатки греческих древностей. Неожиданно для себя, я открыл в афинском музее великолепный подбор скульптур — особенно женских головок — малоизвестного мне ионийского стиля. Это было настоящим художественным пиршеством.

Но оно длилось недолго. В одно прекрасное утро, на пути в Афины из Пирея, я наткнулся в греческой газете на свое имя. Газета сообщала, что известный «враг Греции» Милюков находится в Афинах. А вечером, по возвращении в Пирей, хозяин отеля заявил мне, что он такого «врага» держать у себя не может, и предложил выселиться. Я походил по узким улицам Пирея и нашел помещение, еще похуже, в какой-то дыре для матросов, где газет не читали. Мог бы и еще остаться тут, но мы с Годаром решили, что мне тут делать нечего. Я предложил ехать дальше, уже одному, в Турцию, чтобы использовать там мои старые младотурецкие знакомства, а затем встретиться с Годаром (и с Даттоном) в конечном пункте наших странствий — в Софии. Так и решили. Я взял ближайший пароход, проехал знакомый путь через проливы и высадился в Константинополе.

Министром внутренних дел был Талаад, с которым нас связывали воспоминания о героических месяцах торжества младотурецкого переворота. Он помнил наши долгие беседы в «Хрустальном отеле» Салоник и встретил меня очень дружественно. Зная уже о цели моего приезда, он предложил мне свой собственный автомобиль и своего адъютанта для разъездов, куда и где я хочу. Может быть, тут сказалась и старая турецкая привычка — иметь при госте своего наблюдателя. Но как раз туркам было почти нечего скрывать, и жест Талаада — в противоположность сербам и грекам — был умен и понятен. Адъютант-албанец, к тому же, не говорил ни на каком местном языке; мы с ним объяснялись кое-как по-французски.

В Турции я был больше всего заинтересован **{136}** выяснением вопроса о болгарских «зверствах» при занятии Адрианополя. С легкой руки Машкова, бывшего русского консула старой школы, мне лично известного, сведения об этом, проникшие в английскую печать, использованные Пьером Лоти, произвели сильное впечатление во всем мире. Машков получил материал из греческого источника; надо было его проверить на месте. Затем меня интересовал вопрос о национальности населения, окружающего Адрианополь. И, наконец, надо было съездить к границам Восточной Фракии,

откуда сведения комиссии были недостаточны. Я начал с первого вопроса, наиболее пикантного. Конечно, оказалось, что в греческом источнике факты были сильно преувеличены. Город, действительно, стал жертвой всеобщего грабежа и убийств в первые два дня болгарской оккупации; в грабеже приняло большое участие и местное население, включая греков. Только на третий день был восстановлен порядок. Очень спокойное и уравновешенное показание за дни болгарского управления городом дано в письме В. И. Икскуль, заведывавшей в те месяцы общиной сестер милосердия имени Кауфмана. И оно говорит в пользу болгар. Я не могу умолчать об одном исключении: о крайней небрежности обращения командования с пленными. Большое количество их было свезено на пустой остров на р. Туиндже — и там оставлено на произвол судьбы, без крова и пищи, под дождем, в грязи, в холодные ночи. Я сфотографировал деревья, с которых пленные сгрызали кору. Сотни, а может быть тысячи погибли здесь от голода и от холерной эпидемии. Грабежи и убийства возобновились после быстрого ухода болгар из Адрианополя. Но на этот раз роль грабителей и истязателей принадлежала туркам, опоздавшим занять город и преследовавшим по следам отступавших болгар. Немного пострадала от болгарской бомбардировки и знаменитая мечеть султана Селима, вторая после юстиниановской святой Софии по пролету своего купола, — творение турецкого архитектора XVI века Синана. На этот раз я мог внимательно ознакомиться с этим замечательным историческим памятником.

Я просил также моего адъютанта устроить мне **{137}** поездку по окрестностям Адрианополя в день полевых работ. Где я ни останавливался и ни заговаривал с крестьянами, мы говорили с ними по-болгарски. Мой адъютант настораживался и спрашивал, о чем мы говорили. Я мог успокоить его, что — не о политике.

Мне оставалось посетить западную Фракию. Но для этого у меня уже не хватало времени. Годар и Даттон уже ждали меня в Софии. Несколько дней я посвятил еще Константинополю, чтобы посетить моих друзей в летнем помещении русского посольства в Буюкдере и познакомиться с их политическими новостями. К ним я вернусь потом.

Талаад охотно исполнил мою последнюю просьбу — довезти меня на том же автомобиле до болгарской границы. Телеграмма была послана в Софию, и условленно, что в определенном месте меня встретит экстренный поезд. Я не мог не заметить, что, по мере приближения к месту назначения, мой адъютант делает у себя в записной книжке заметки по поводу расположения проезжаемых мест. Наконец, мы остановились у места, где меня ждали болгарские офицеры. Они взяли мой багаж и повели, через поле, к приготовленному тут же, на поле, поезду. Я был в Болгарии.

Было уже довольно поздно, и я было расположился на ночлег. Но не тут-то было: меня ожидала бессонная ночь. О моем приезде уже было известно, и на всех больших станциях меня ждали болгарские депутации. Надо было выходить, слушать приветственные речи и отвечать на них. Это было, после всего испытанного, особенно трогательно, но и чрезвычайно утомительно. В каком-то полусне меня привезли в столицу и водворили в отеле «България». Было 31 августа (ст. ст.), когда собравшаяся в своем сокращенном составе троих комиссия начала в Софии свои работы: за две недели до подписания болгаро-турецкого мирного договора и за полтора месяца до открытия второй сессии Государственной Думы. Десять дней из этого (моего) срока мы употребили на работу в Софии, и 10 сентября комиссия выехала в Париж.

Конечно, в Софии наша работа была обставлена **{138}** совершенно иначе, нежели в трех других посещенных нами государствах. Не только мы были официально и торжественно признаны, но болгары, первые поднявшие вопрос об исследовании «зверств», не ожидали нашего приезда, чтобы подготовить материал для нас. И, я должен признать, вся эта подготовка производилась совершенно беспристрастно и беспартийно. Об этом можно было судить уже потому, что сюда сходились все концы, начала которых были уже нами изучены, — и между началами и концами не было никакого противоречия. Мы приходили к результату, что в борьбе национальностей не было ни одной, которая была бы свободна от обвинения в нарушении всех правил гаагских конвенций и от самых примитивных проявлений дикости масс. Работа в Софии только подтвердила этот вывод: разница была лишь в смягчающих обстоятельствах, различных по времени и месту. Заседания комиссии были открытые. Значительная часть документов и свидетельских показаний была заготовлена для нас заранее; другая часть доставлялась немедленно по нашему требованию. Подготовительная работа в большой своей части была сделана моим старым другом, проф. Милетичем, в бескорыстии и безусловной добросовестности которого у меня не могло быть ни малейшего сомнения.

Значение приговора комиссии Карнеги имело для болгар тем большее значение, что мы нашли Болгарию подавленной и униженной жестокой несправедливостью Бухарестского договора. Как бы ни был суров этот приговор, Болгария заранее с ним мирилась, так как для нее это все же был голос

оправдания. И это, как ни как, при всех попытках дискредитировать дело комиссии заранее, был голос Европы. Так смотрели, конечно, не все в Болгарии; но на этой стороне были все те, кто и раньше осуждал «империалистские» увлечения болгарских сфер, заставившие их забыть об участи Македонии.

По пути в Париж я сидел в одном отделении вагона с Годаром, и мы обменивались впечатлениями. Как ни ужасны эти впечатления, говорил я, но мы, по крайней мере, должны извлечь из них одно утешение. Если произойдет военное столкновение между более **{139}** культурными странами Европы, мы не будем свидетелями крайностей, подобных нами изученным. Годар помолчал; потом ответил односложно: «Я в этом не уверен»... Увы, я не подозревал тогда, что не пройдет и двух лет, как мне придется для Ежегодника «Речи» делать сводку разросшейся, с нашей легкой — или тяжелой — руки, литературы о «нарушении правил войны» культурными государствами Европы и снова перечислять все параграфы гаагских конвенций, нарушенные воюющими.

Все же, переход от кипящего котла диких национальных страстей, поднявших со дна человеческой души худшие животные инстинкты, в застоявшуюся атмосферу абстрактного пацифизма был слишком резок. Не хочу называть этого пацифизма «кабинетным», но должен признаться, что червь сомнения, давно у меня зародившийся, здесь получил обильную пищу.

Вера в высшие идеалы казалась слепой; гладкая терминология пацифизма — добровольным заблуждением неведения; жар проповеди — профессиональным лицемерием. Между поручением, нам данным, и привезенным нами отчетом, казалось, лежала целая пропасть. С одной стороны, «большой шаг к conciliation (Примирение.) и justice» (Справедливость.); с другой — сотни страниц, испещренных никому неизвестными именами лиц и местностей, цифрами, датами, полуграмотными обвинениями и признаниями, которых никто никогда не прочтет...

Как будто, кто-то из нас не был вполне серьезен. Но через год вышел огромный том в 500 страниц нашей Enquête dans les Balkans (расследование на Балканах.) на великолепной бумаге, с картами и фотографиями «зверств». Половина тома была посвящена собранным нами документам. Семь глав текста были распределены между участниками экспедиции. По одной главе написали Брейльсфорд, Годар и Даттон; остальные четыре принадлежали мне. Но все мы были слиты вместе, покрыты цветами похвал за беспристрастие и «глубокой благодарности» за бескорыстный труд. На полках изданий Карнеги этот толстый **{140}** том занял заметное место. Моя историческая часть, кажется, была переведена по-болгарски.

Возвращаясь в Петербург к открытию сессии Думы, я испытал, однако, по дороге небезопасную вспышку своего пацифизма. Во время остановки поезда в Кельне я наткнулся у газетной витрины на книгу проф. Fried'a "Der Friedenskaiser" (Император мира. *(точнее – миролюбия, ldn-knigi).*

Она на меня произвела впечатление. Не уступил ли Вильгельм в Алжезирасе, не уступил ли он также в Танжере? Его «мировая политика» не есть ли, в самом деле, политика мира? И не уступит ли он сейчас перед созданным им же напряжением Европы? Возможность этого продолжала путать мои соображения до самого объявления войны. Она, конечно, противоречила всему тому, что я теперь рассказываю.

Зато у меня окончательно сложилось представление о роли России в славянском вопросе. Я уже следил раньше за процессом эмансипации балканских народностей от традиционной русской опеки. Теперь этот процесс дошел до конца.
Балканские народности освободились сами, без помощи России и даже вопреки ее политике. Они показали себя самостоятельными не только в процессе освобождения, но и в борьбе между собою. С этих пор, находил я, с России снята обуза постоянных забот об интересах славянства в целом. Каждое славянское государство идет теперь своим путем и охраняет свои интересы, как находит нужным. Россия также по отношению к славянам должна руководиться собственными интересами. Воевать из-за славян Россия не должна. Мы увидим, как уже в ближайшие месяцы я пытался применить этот вывод на практике, — и, притом, в связи с теми же самыми балканскими событиями и в связи с их непосредственным продолжением.

Прежде, чем закончился 1913 год, мне пришлось еще раз побывать заграницей — в связи с тем же вопросом об освобождении еще одной христианской народности от турецкого ига. Речь на этот раз шла об армянах. 18 ноября 1913 г. в Париже собралась конференция комитетов друзей армянского народа, чтобы обсудить проект армянских реформ и обратить внимание **{141}** европейского общественного мнения на ужасное положение армянского народа. Я был там представителем русского комитета — и имел для этого и принципиальные, и личные причины. Из всех кавказских народностей армяне, несмотря на жестокие обиды, наносившиеся старой русской администрацией их национальному

сознанию, остались наиболее верны России.

Они участвовали активно во всех русских войнах с Турцией; да это и понятно, так как в восточной половине Малоазиатского полуострова добрая половина населения была армянская и вообще христианская (По статистике 1913 г. христиан было в шести вилайетах Малой Азии 45.2% на 45,1% мусульман; в том числе армян 38.9% (1.018.000 на 666.000 турок, 424.000 курдов, оседлых и кочевых. (Прим. автора).)

Армяне были нам ближе других и в политическом отношении; армянская интеллигенция разделяла тогда в большинстве убеждения к. д., и ее представители, как Аджемов, Пападжанов, даже входили в думскую фракцию, а городской голова Тифлиса, А. И. Хатисов, представлял то же направление на Кавказе. В противоположность европейским христианам Турции, — турецкие армяне жили далеко от глаз Европы, и их положение было сравнительно мало известно. А между тем в течение сорока лет турки и в особенности курды, среди которых они жили, — дикая народность, жившая в примитивном быту, подобно албанцам в Европе, — систематически громили их, как бы проводя принцип, что «решение армянского вопроса состоит в поголовном истреблении армян». Английские филантропы и консула тщательно подводили цифровые итоги армянских погромов — после того как они совершались, а английское правительство, в своей политике покровительства Турции, смотрело на эти погромы сквозь пальцы и тем как бы их поощряло. В последней фазе этого страдальческого пути Россия вмешалась дипломатическим путем (1912), и в 1913 г. я был свидетелем в Константинополе разработки секретарями русского посольства проекта объединения шести вилайетов, населенных армянами (Эрзерум, Ван, Битлис, Диарбекир, Харпут и Сивас. (Прим. автора).), **{142}** в одну автономную провинцию. С своей стороны, армянский католикос, живший в русской Армении (Эчмиадзин), назначил особую национальную комиссию под председательством видного египетского армянина Богос-Нубара паши. Державы, в особенности Германия, вмешались, и началась обычная переделка русского проекта в духе, которого желала Турция, заговорившая опять о введении своего закона о вилайетах 1880 года. С другой стороны, представители семи держав, собравшихся в Париже 17 ноября при комитете Asie Française, обсуждали вопрос о давлении на Турцию путем отказа в займе. Наша конференция, под председательством Богоса, должна была разобраться во всем этом материале. На этой почве созрела идея о создании «Великой Армении» из шести вилайетов — за исключением северных, западных и южных отрезков, населенных по преимуществу турками. Эта идея и пропагандировалась среди прогрессивных кругов Европы.

Теперь с трудом верится в возможность защиты этого плана. Начавшаяся война с Турцией, казалось, облегчала его осуществление; но Турция предупредила его ужасным погромом 1915 года. Значительная часть армянского населения шести вилайетов была истреблена курдами; остальных — стариков, женщин и детей — турки решили выселить в Месопотамию. Дошли туда жалкие остатки; большинство перемерло в дороге от голода и утомления, болезней, южной жары и сырости. Из всего миллиона населения лишь несколько сот тысяч спаслось в пределах русской Армении. Самая идея «Великой Армении» скрестилась с претензиями великих держав на части Малоазиатской территории, а исход Великой войны поставил крест на армянском вопросе.

10. ПОТЕРЯ РУССКОГО ВЛИЯНИЯ НА БАЛКАНАХ

Я охарактеризовал выше то напряженное состояние, в которое привели Европу приготовления балканских народностей к общей войне против Турции, а затем, с октября 1912 г., и начало самой войны с нею. Ноябрь, как упомянуто, был моментом наибольшего напряжения, **{143}** грозившего разразиться европейским кризисом в результате для всех неожиданных побед христианских народностей. Я вернулся из поездки с Крейном к открытию Думы 18 ноября 1912 г., — как раз в разгар борьбы мирных и воинственных настроений в Петербурге.

Мирные настроения поддерживались отголосками свидания царя с Вильгельмом в Балтийском Порту; военные шли из ведомства Сухомлинова, которого царь тоже считал нужным поддерживать в вопросах русского вооружения. Самый яркий эпизод этого внутреннего конфликта рассказан в воспоминаниях Коковцова; тогда он не мог быть нам известен. Но теперь я им воспользуюсь. 9 ноября Сухомлинов решил воспользоваться упомянутой мною выше carte blanche (Полномочие.) и произвести мобилизацию. Напомню, что, по смыслу этой carte blanche, мобилизация равнялась объявлению войны Россией Австрии и Германии. Все было готово и телеграммы посланы, когда Николай II усомнился в самой возможности принимать такую ответственную меру, не уведомляя даже правительства. И он назначил на 10 ноября экстренное заседание под своим председательством. Сухомлинов должен был предупредить участников заседания, но этого не сделал, и его затея, уже пущенная в ход, обнаружилась

только на самом заседании.

Естественно, председатель Совета министров Коковцов, постоянный противник Сухомлинова, забил тревогу. Николай принялся было его успокаивать. «Дело идет не о войне, а о простой мере предосторожности, о пополнении рядов нашей слабой армии на (австрийской) границе... Я и не думаю мобилизовать наши части против Германии, с которой мы поддерживаем самые доброжелательные отношения, и они не вызывают в нас никакой тревоги, тогда как Австрия настроена определенно враждебно».

Коковцов стал доказывать, что сепаратный шаг России разрушает военную конвенцию с Францией и освобождает ее от обязательств, тогда как в войне, которая будет результатом русской мобилизации, Германия, конечно, поддержит Австрию в силу своего союзного **{144}** договора. Он предложил, как исход, задержать на полгода солдат последнего срока службы, не отменяя очередного набора — и тем увеличить состав армии, не объявляя мобилизации. Обнаружилось при этом, что Сухомлинов собирался, объявив ее, уехать в отпуск заграницу к больной жене, а военные заказы были сданы заводам в пределах той же Австрии.

Такая степень легкомыслия повергла в ужас Сазонова, и после заседания он обратился к Сухомлинову с горькими упреками. Но Сухомлинов не смутился. Своим «ребяческим лепетом» и с обычным «безразличием в тоне» он ответил, что в мобилизации «не было бы никакой беды», так как «все равно, войны нам не миновать, и нам выгоднее начать ее раньше... Это ваше (Сазонова) и председателя Совета (Коковцова) убеждение в нашей неготовности, а государь и я — мы верим в армию и знаем, что из войны произойдет только одно хорошее для нас».

Мы не подозревали в Думе, что положение было так обострено; но мы хорошо знали, что спор между министрами финансов и военным из-за кредитов начался еще в конце Третьей Думы. При своем взгляде на царскую прерогативу в военном деле и в дипломатии, царь не осведомлял о своих намерениях ни Коковцова, ни Сухомлинова, и даже в своих воспоминаниях Коковцов не мог представить полную картину положения. Но события на Балканах сами по себе ставили вопрос о войне и мире, и в правых рядах уже обнаруживались крайние националистические настроения. Часть министров — Рухлов, Кривошейй, Щегловитов, потом Н. Маклаков — их разделяли, и в Совете министров раздавались речи о необходимости «больше верить в русский народ», которого не знает Коковцов, и в «исконную любовь народа к родине». Коковцов мог противопоставить им, сколько угодно, факты плохого снабжения армии и неподготовленности ее вождей. Для Думы была ясна личность Сухомлинова, его старческая расслабленность, полная неосведомленность в деловых вопросах, крайняя небрежность в использовании щедро отпускаемых кредитов. Все это покрывалось демонстрациями патриотизма и угодничеством перед государем. Сам Коковцов **{145}** должен был признать, что царь — на стороне названных выше министров. Царь продолжал утверждать, что «вопрос идет только об Австрии» и что «есть все основания полагаться на поддержку имп. Вильгельма»!

Легкомыслие, неосведомленность и самомнение темного национализма, обнаружившиеся в почти невероятном эпизоде, рассказанном Коковцовым, очевидно, характеризовали не одного только Сухомлинова, а распространялись на всю правящую верхушку и на самого царя. Здесь просто не заметили впечатления, произведенного христианскими победами над Турцией, и нового настроения императора Вильгельма. Отрезвление должно было произойти тогда, когда начались мирные переговоры в Лондоне и обнаружилось сопротивление Австрии. По отношению к России оно выразилось в определенном предложении Австрии — демобилизоваться. 26 февраля 1913 г. состоялось соглашение, по которому Россия должна была отпустить 350.000 призванных из запаса 1910 года, а Австрия — часть мобилизованной армии, не нужную для «внутренних» осложнений.

Характерным образом русское сообщение об этом появилось с прибавкой: «из объяснений с венским Кабинетом выяснилось, что Австро-Венгрия не имеет никаких агрессивных намерений по отношению к своим южным соседям (т. е. Сербии)». Это была та формула, которая была предложена Германией после Потсдама, но которою Сазонов не захотел воспользоваться. Теперь не захотела уже повторить ее сама Австрия: видимо, она как раз и «питала агрессивные виды».

Теперь, наконец, и в Петербурге поняли то, что в ноябре 1912 г. тщетно старался втолковать Коковцов: что нельзя вести борьбы с Австрией, не рискуя втянуть и Германию, — и тем превратить балканские споры в европейский пожар. И балканская политика России должна была приспособиться к новому положению. Приходилось отступать. Первый эксперимент такого отступления пришлось произвести над Николаем Черногорским. 29 марта — четыре дня спустя после речи Бетмана и 11 дней после отказа черногорского «героя» подчиниться требованию держав — появилось **{146}** правительственное сообщение, резко осуждавшее его поведение. Черногорский князь, говорилось там,

«явно строит свои расчеты на том, чтобы вовлечь Россию и великие державы в европейскую войну». Это было уже, пожалуй, чересчур. «Расчет» Николая Черногорского был более детский.

Его наивно высказала его дочь, Милица, хлопоча через Коковцова, чтобы царь оставил Скутари за ее отцом: «Ну, зачем же ставить вопрос так прямолинейно? Если Россия... заявит свое желание настойчиво..., то Австрия не посмеет угрожать войною». Теперь этого рода возражение потеряло силу. Россия, говорилось дальше в сообщении 29 марта, «не скупилась на помощь и жертвы своим братьям; но она не обязана всегда и во всех случаях исполнять все их желания и требования... Правительство должно бережно взвешивать свои решения, чтобы ни одна капля русской крови не была пролита иначе, как если интересы родины того требуют». Черногорский «орел», однако, и перед этим внушением не склонился. Он продолжал борьбу и 10 апреля добился сдачи Скутари. Только перед прямой угрозой Австро-Венгрии и перед коллективным требованием держав он уступил, наконец, и очистил крепость 23 апреля.

В том же марте 1913 г. царь отнял, наконец, у Сухомлинова право начать войну с Австрией, когда ему вздумается послать свой приказ 1912г. о мобилизации. В своих воспоминаниях Сухомлинов упоминает об этом с обычным простодушием бесстыдства: «Приказ был отменен вследствие боязни царя предоставить решающее слово военачальнику, тогда как, в последний момент, дипломатия могла бы еще найти исход и предупредить катастрофу. С технической точки зрения мы сделали дипломатии уступку, введя понятие подготовительного периода к войне». Читаешь — и не веришь глазам: так это близко к тому, что было проделано тем же Сухомлиновым перед катастрофой 1914 года!

Весной 1913 г. Николай II был, во всяком случае, сильно напуган новым настроением Вильгельма. В полном секрете от всех (кроме кн. Мещерского) он решил отступить по всей линии своей балканской политики.

{147} Из только недавно опубликованных документов стало известно о предпринятом им — в сущности запоздавшем и уже совершенно бесполезном — шаге. В мае 1913 г. в Берлине должны были съехаться три монарха, — русский, английский и германский, на семейный праздник:
бракосочетание дочери Вильгельма, Луизы с герцогом Брауншвейгским. Вильгельм записал заявление царя в следующих словах: «Он не предъявляет никаких претензий ни на Стамбул, ни на Дарданеллы. Султан становится привратником Дарданелл. Английский король
(Георг V) безусловно присоединяется к этому взгляду царя, который совпадает и с политикой германского императора».

Но... Вильгельм больше не верит Николаю! В те же дни (6 мая 1913 г.) он надписывает на докладе Пурталеса:
"Der Kampf zwischen Slaven und Germanen ist nicht mehr zu umgehen. Er kommt sicher. Wann? Das findet sich" («Борьбы между славянами и германцами более не избежать. Она несомненно придет. Когда? Время покажет».). А на другом докладе Пурталеса (17 мая) находим оценку поведения Николая II: "Halbheiten und Flachmacherei! Es wird nichts zwischen uns mehr werden" («Половинчатость и скольжение по поверхности. Ничего у нас с ним больше не выйдет». Собственно, разочарование Вильгельма в Николае II, как упомянуто выше, началось очень давно — после Алжезираса и первых шагов по пути сближения России с Англией. Летняя переписка 1906 г. нашего посла в Берлине, Остен-Сакена, содержит ряд тревожных сообщений по этому поводу, включая и собственные заявления Вильгельма. «Мы больше не имеем в имп. Вильгельме энтузиастического чемпиона русского союза, представителя вековых традиций интимности двух дворов, товарищества двух армий, — прототипа старого прусского «юнкера», гордого своими связями с Россией». (Примеч. ред.).).

Под этими впечатлениями проходят месяцы борьбы балканцев за свои интересы — уже не на бранном поле, а за зелеными столами лондонских дипломатических совещаний. С «орлом» Черной Горы, питавшимся русскими субсидиями и русским вооружением, было сравнительно легко разделаться. Гораздо труднее было поддерживать претензии Сербии, главного протеже русской дипломатии, гордого своей независимостью и вызывавшего **{148}** особую ненависть Австрии. В обоих спорных пунктах о территории Албании и о выходе к Адриатическому морю Россия не рисковала оказывать Сербии сколько-нибудь сильную поддержку. В упоении победами 1912 г., Сербия уже собиралась делить с Грецией эту горную страну без определенных границ, населенную в центре воинственными племенами, сохранявшими доисторический быт, а на севере и на юге сливавшимися со смешанным населением Старой Сербии и с чисто-греческими поселениями Эпира. По «минимальной» формуле Пашича, приблизительная граница присоединений должна была пройти по полосе между Дьяково и Алессио на севере и Охридой-Дураццо на юге. Но в Лондоне Австрия вместе с Италией вырезали из этого конгломерата «автономную», а потом «независимую» Албанию, — фиктивное государство с искусственными границами. Разграничительные комиссии принялись за работу — и в ней запутались; пришлось резать наудачу.

Сербия и Греция протестовали, мобилизовали войска; Сербия обратилась к России (сентябрь 1913 г.). Тогда Австрия ультимативно потребовала вывода сербских войск с севера (20 октября) и греческих с юга (30 октября). Не поддержанные Россией и слабо поддержанные Англией, оба государства должны были подчиниться насильственным лондонским решениям.
Всего печальнее — и уже с прямым ущербом для русского престижа — разрешился сербо-болгарский спор из-за дележа Македонии. Мы уже знаем, что, оккупировавши в 1912 г. всю Македонию, сербы не хотели делиться с болгарами и потребовали пересмотра договора 29 февраля 1912 года. Болгары 17 апреля 1913 г. обратились к России с просьбой, чтобы царь применил условленное в договоре посредничество — но в пределах спорной зоны.
Россия тотчас же согласилась, но советовала болгарам не становиться на почву «непримиримого и формального» толкования договора и сделать сербам небольшие прирезки, сверх «спорной» зоны, из своей собственной части. Это заранее опорочивало плоды царского арбитража, и Болгария усилила свои военные приготовления.

Тогда, 26 мая, царь обратился прямо к болгарскому царю и к сербскому королю с предупреждением против **{149}** «братоубийственной войны, способной омрачить славу, которую они совместно стяжали», и с угрозой, что «государство, которое начало бы войну, будет ответственно за это перед славянством». Царь «оставлял за собой полную свободу определить последствия столь преступной борьбы». Но... царское слово повисло в воздухе. Болгария согласилась — под условием, что посредничество останется в пределах договора. Ответ Сербии был таков, что его не решились напечатать. Все же, это было принято за согласие на арбитраж, и премьеры были приглашены приехать в Петербург. Болгария потребовала тогда решения дела в семидневный срок и, в виду отклонения такого требования, заявила 12 июня, что прекращает всякие переговоры. Последовало несколько дней внутренней борьбы между сторонниками войны или мира в каждой из двух стран. Сторонники мира — премьеры Пашич и Данев — победили и собирались уже ехать в Петербург. Но в Болгарии, помимо министерства, царь Фердинанд и ген. Савов решили поставить дипломатию перед совершившимся фактом и начали военные действия. Печальные последствия этого мы уже знаем. Отсутствие русской поддержки Болгарии в этот решающий момент привело к тому, что Фердинанд открыл карты своей австрофильской политики. Руссофильский кабинет Данева был заменен кабинетом Радославова-Геннадиева. Последний только что перед тем публично советовал Фердинанду отвернуться от России и искать поддержки у Австрии. Россия, в ответ на просьбу о помощи, выразила лишь сожаление, что Болгария поставила себя в тяжелое положение, и ограничилась обещанием, что «чрезмерное унижение и ослабление Болгарии не будет допущено». Бухарестский договор показал, что и это царское обещание осталось пустыми словами. И никогда еще престиж России не падал так низко на Балканах. Место России в политике Болгарии переходило к Германии и Австрии.

Потеря русского престижа среди балканского славянства не замедлила, конечно, отразиться на нашем положении в Турции. Я здесь опять нарушаю хронологию рассказа, чтобы не нарушать связи событий. Вильгельм решил воспользоваться моментом, чтобы взять в свои **{150}** руки контроль над военной организацией Турции. Германский генерал фон-дер-Гольц уже состоял там в качестве инструктора турецких войск. Теперь решено было заменить его генералом Лиманом фон-Сандерсом — в роли командующего первым турецким корпусом, расквартированным в Константинополе.

Царь решил протестовать против этого назначения, как «равносильного переходу всей власти над турецкой столицей и над проливами в руки Германии». Протест этот было поручено передать германскому правительству и Вильгельму через Коковцова, возвращавшегося тогда из Парижа через Берлин в Россию. Бетман-Гольвег отнесся к заявлению Коковцова скорее сочувственно — и обещал изменить форму назначения. Но император на приеме 19 ноября 1913 г. в Потсдаме был груб и резок, — и даже сослался на то, что царь уже согласился на принятую меру во время свидания в прошлом ноябре в Потсдаме (Николай это отрицал потом). «Это — ультиматум или дружеская передача взгляда вашего императора?» — спросил Вильгельм. Коковцов, конечно, постарался всячески смягчить форму своего заявления. Это не помешало, однако, Вильгельму тут же, за завтраком, — но уже не прямо Коковцову, а директору кредитной канцелярии Давыдову, сидевшему рядом,—заявить следующее: «Я должен сказать вам прямо: я вижу надвигающийся конфликт двух расе — романо-славянской и германской, и не могу не предварить вас об этом...

Вы предполагаете, что германизм первый начнет враждебные действия. Если война неизбежна, то я считаю совершенно безразличным, кто начнет ее... Я очень озабочен событиями и говорю вам совершенно определенно, что война может сделаться просто неизбежной... Поверьте, что я ничего не преувеличиваю». Царь выслушал доклад Коковцова об этом довольно равнодушно. Он уже решил в это

время с ним расстаться. Но пессимизм министра совпадал с известным уже нам настроением самого Николая, — и в самом конце декабря 1913 г. царь поручил Коковцову рассмотреть специальную записку Сазонова о турецком вопросе в совещании с участием министров иностранных дел, военного, морского и начальника Ген. штаба.

Об этом **{151}** совещании я узнал только в 1916 г., в извращенном виде, от наших союзников. Но и записка, и совещание очень интересны, как заключительный аккорд того минорного настроения по балканским вопросам в течение всего 1913 года, которое я отметил. Характерным образом, в минорные ноты тут, однако, уже вплетались и мажорные: так трудно было отойти от традиционного взгляда. Компромиссное решение было формулировано, по-прежнему, так, что сохранение слабой Турции выгодно России, но только до ее окончательного распадения; а к этому распадению — это была новая часть формулы — надо готовиться переговорами с Францией и Англией и намечением теперь же «реальных мер» с нашей стороны. Сазонов упомянул даже вскользь о подготовке дессантной операции в Босфоре, — о чем много говорилось и писалось тогда в морском ведомстве, — с той только оговоркой, что эта операция сложна и требует долгой подготовки. Сазонов, однако, особенно подчеркивал необходимость занять «стратегические пункты» на сухопутном фронте с Турцией — Трапезунд и Баязет. Председательствовавший Коковцов категорически заявил на это, что в данный момент всякое возбуждение турецкого вопроса крайне опасно в виду «близости вооруженного столкновения по какому угодно поводу» со стороны Германии. Он поставил на голосование прямой вопрос, желаем ли мы приблизить войну. На такую постановку единогласно, включая и Сухомлинова, все ответили отрицательно. Решено никаких вопросов и переговоров с союзниками на упомянутые темы не поднимать и выжидать «общего хода событий в Европе».

Документы, опубликованные позднее, рисуют ход совещания и его результаты в несколько менее сглаженных формах. Если Коковцов считает войну «величайшим несчастием для России», то Сухомлинов и Янушкевич «заявляют категорически, что Россия вполне готова к борьбе один на один с Германией, не говоря уже о столкновении с Австрией». И вывод, записанный в протоколе совещания, гласит: « в случае, если сотрудничество Франции и Англии в общих операциях с Россией не было бы обеспечено, не признается возможным прибегать к принудительным мерам, могущим привести к **{152}** войне с Германией». При такой формулировке, почин «операций» как бы предполагается принадлежащим России, а от ее союзников ожидается «сотрудничество». Намеченной операцией является оккупация некоторых пунктов в Малой Азии (для Англии и Франции — Смирна и Бейрут), а ближайшей целью сотрудничества выставляется ликвидация нерешенного еще вопроса о «командовании» в Константинополе ген. Лимана фон-Сандерса. Предвидится, однако, что в результате вмешательства Германии возможно «перенесение решения задачи на нашу западную границу со всеми вытекающими отсюда последствиями»...

Наложенная на все эти планы сурдинка вызвана, очевидно, возражениями Коковцова, а не Сазонова; вероятно, этот исход и преследовал царь, назначая совещание под его председательством. Но всего лишь несколько недель отделяют заседание 31 декабря 1913 года от отставки Коковцова 29 января 1914 года.

Русская боевая колесница переходит в новый, решающий год с притушенными фонарями, — но и с удалением из правительства главного фактора мира.

{153}

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

ЧЕТВЕРТАЯ ДУМА.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ИСТОРИКА-МЕМУАРИСТА

Когда мы были совсем маленькими детьми с моим младшим братом, мы, как все дети, росли очень быстро, не замечая сами нашего роста. Нужно было пройти промежутку времени, чтобы его заметить. А чтобы не только заметить, но и измерить разницу, нас научили в годовой праздник становиться к стене и на высоте роста делать зарубку. Годы шли — и зарубки поднимались всё выше; мы вырастали на долю вершка, на вершок — и больше, не очень меняясь наружно. Потом рост стал

медленнее, а перемены больше. Старые знакомые, встречаясь от времени до времени, сперва говорили: как вы возмужали, затем стали говорить: вы совсем не изменились, и наконец, когда перемены пошли в обратную сторону, утешительно замечали: да вы помолодели.

Это сравнение пришло мне на память, когда, в порядке рассказа, я перехожу от Третьей Думы к Четвертой. В общественной жизни, особенно когда в ней сам принимаешь участие, перемены со дня на день кажутся незаметны, — тем более, когда не знаешь, к чему они приведут. Только потом, с высоты совершившегося, замечаешь, что перемены происходили все время, не прекращаясь, и отмечаешь рост — или упадок. Наблюдатель со стороны — особенно, если он присяжный историк — соединяет зарубки и вычерчивает кривую: кривую восходящую, или нисходящую, — или обе, как мы видели в Третьей Думе. Но заметил ли он ход этих кривых в тот момент, когда они **{154}** развертывались изо дня в день, или только тогда, когда отметил и соединил в одно целое отмеченные зарубки, — быть может, много спустя после совершившихся перемен?

Положение историка-мемуариста, по необходимости, отличается в этом отношении от положения рядового наблюдателя.

У последнего предыдущие зарубки или не отмечены или более или менее забыты, и вновь происходящее представляется неожиданным. Первый мог бы сказать, что он все предвидел. Но добросовестность требует признать, что в свое время он многого не знал и его зарубки, не сливаясь в сплошную линию, представлялись ему самому рядом прерывистых точек. Как эти точки располагаются на окончательно вычерчиваемой кривой, — когда уже все, или все главное, — стало известным? И не видит ли он сам, с достигнутой временем высоты понимания, минувшие события в ином свете, нежели видел тогда, когда они совершались, — хотя и тогда они были предметом его наблюдения — или даже мотивом его поступков?

Тут наступает — для историка-мемуариста — настоящий cas de conscience (Вопрос веры или убеждения, в котором человек колеблется.). Не вносит ли он в оценку субъективного момента, или не вносил ли его тогда, желая теперь быть объективным? По необходимости, он видит многое яснее, но в том ли же свете, как прежде? И если он берется описывать прошлое, в котором сам он был не только свидетелем, но и участником, то должен ли он вносить в теперешнее описание свое более ясное понимание — или прикрывать рассказ завесой прежнего неполного знания?

В поисках полной объективности я не хотел скрывать ни от себя, ни от читателя разницы того и другого. Я старался нарочно подчеркивать пределы ограниченности своего прежнего кругозора, постепенно расширявшегося по мере того, как вычерчивалась общая кривая. Поскольку эти пределы существовали, я сам ставил себя объектом своего повествования. Но мне было легче это сделать потому, что, в общем, моя линия понимания происходившего не менялась. Именно поэтому она далеко не всегда совпадала с линией общего понимания и давала **{155}** мне в свое время известную свободу выбора и решения, не всегда благоприятного для действия в каждой данной точке, как требовалось бы от политика. В этом смысле, даже действуя как политик, я оставался верен своему призванию историка. И потому теперь, на далеком расстоянии от событий, мне не приходится менять позиций, а остается лишь углублять их понимание и уточнять их объяснение. Этот элемент новизны я должен признать в моем описании и не мог бы от него отказаться. Но я считаю себя вправе утверждать, что это — углубление понимания и не есть отказ от прошлого. Это — лишь результат привычки связывать факты в одно целое и искать в этой связи отношений причинности.

К этому признанию меня принуждает то, что именно теперь, при переходе от всяких нисходящих или восходящих кривых, самые линии кривых круто ломаются, и разница между моим тогдашним и теперешним пониманием событий рискует стать более значительной, нежели прежде. Я попытаюсь дать отчет себе и читателю и в этой стадии крутого перелома от возможной «эволюции» к реальной «революции», за пределами которой я остался, как политический деятель, и не хотел бы остаться, как историк. Сумел ли? Судить не мне, — и меня уже часто трактовали, как мемуариста, желавшего внести свой субъективизм в историю. Я много писал — может быть, больше всего писал именно об этом новейшем периоде, занимая и здесь свои собственные позиции в стремлении остаться верным себе, то есть объективным. Судить об этом будут те, кому придется вычерчивать будущие кривые.

2. ОТ ТРЕТЬЕЙ ДУМЫ К ЧЕТВЕРТОЙ

Убийство Столыпина 2 сентября 1911 года было естественным концом того этапа в истории нашей внутренней политики, который представлен Третьей Государственной Думой. Если тут нельзя

поставить достаточно явственной зарубки, то прежде всего потому, что короткое интермеццо председательствования Коковцова несколько затушевало политический смысл нового поворота. Могло **{156}** казаться, что переход от Третьей Думы к Четвертой есть простое продолжение того, что установилось за предыдущие пять лет. Но мы уже знаем, что и там ничего не «установилось», а «продолжалась» лишь внутренняя борьба между сторонниками старого и нового строя. С появлением Четвертой Думы эта борьба вступила в новую стадию. Сразу нельзя было предсказать, что эта стадия будет последней, ибо не было еще на лицо того третьего фактора, который склонил развязку борьбы в сторону обратную той, к которой стремилась власть. Этим фактором, решившим спор между страной и властью, была война.

Оставляя этот фактор пока в стороне, можно было, однако, уже сразу предвидеть, что в Четвертой Думе борьба между самодержавием и народным представительством будет вестись при иных условиях, нежели она велась в Третьей Думе. Там была сделана последняя попытка установить между борющимися силами хотя бы видимость некоторого равновесия. Здесь эта видимость исчезла, и борьба пошла в открытую. В Третьей Думе наступающей стороной была власть; общественность, слабо организованная, только оборонялась, едва удерживая занятые позиции и идя на компромисс с властью. Суть перемены, происшедшей в Четвертой Думе, заключалась в том, что компромисс оказался невозможным и потерял всякое значение. Вместе с ним исчезло и то среднее течение, которое его представляло. Исчез «центр», и с ним исчезло фиктивное правительственное большинство. Два противоположных лагеря стояли теперь открыто друг против друга. Между ними, чем далее, тем более, распределялся наличный состав народного представительства. Трудно сказать, чем кончилась бы эта борьба, если бы противники были предоставлены самим себе.

Не исключена была возможность, что победит и осуществит свои планы партия возвращения к старому. Но тут вмешался этот третий фактор — война, который, прежде всего, окончательно вывел борьбу за стены Думы. В этом заключается коренное различие между переходной ролью, сыгранной в общественном конфликте Третьей Думой, — и ролью Четвертой. В Третьей Думе борьба велась, **{157}** главным образом, в пределах народного представительства. Страна к ней прислушивалась, делала свои выводы, объединялась идейно, но не реально, около ее лозунгов. В Четвертой Думе борьба вышла за эти пределы. Страна получила возможность организоваться самостоятельно, выдвинула собственные лозунги, поддержала боевое настроение думской общественности и вместе с нею перешла в наступление. В своем ослеплении, власть пропустила момент, когда, ценой существенных уступок, она еще могла бы заключить новый компромисс — уже не в интересах победы, а в интересах своего дальнейшего существования. Такова сложная политическая картина, развернувшаяся в Четвертой Думе и уничтожившая всякую возможность сравнивать эту Думу с ее скромной предшественницей.

Войны могло бы и не быть, как решающего фактора.
Но процесс политической дифференциации, начавшийся раньше («восходящая кривая»), продолжался и сам по себе — и составляет основную черту, отличавшую с самого начала Четвертую Думу от Третьей, каковы бы ни были дальнейшие события. Это отразилось, прежде всего, на ходе и исходе выборов в Четвертую Думу.

Было более или менее известно, что вопрос о влиянии правительства на выборы сводился, прежде всего, к вопросу о правительственных субсидиях. Впоследствии В. Н. Коковцов сообщил и точные данные. Уже в 1910 г. Столыпин начал подготовку, потребовав от министра финансов на выборы четыре миллиона. «Все, что мне удалось сделать, — говорит Коковцов, — это — рассрочить эту сумму, сокративши ее просто огульно, в порядке обычного торга, до трех с небольшим миллионов и растянуть эту цифру на три года 1910-1912». Ставши председателем Совета министров, Коковцов поинтересовался, на что пошли эти суммы.

«Все побывали тут, — замечает он, — за исключением к. д. и, отчасти, октябристов. Но «властно и нераздельно» господствует правое крыло. «Тут и Марков 2-й», с его «Курской былью» и «Земщиной», поглощавший 200.000 р. в год; пресловутый доктор Дубровин с «Русским знаменем»; тут и Пуришкевич с самыми разнообразными мероприятиями — **{158}** до «Академического союза студентов» включительно; тут и представители Собрания националистов, Замысловский, Савенко, некоторые епископы с их просветительными союзами, тут и Листок Почаевской лавры, — наконец,.. и видные представители самой партии националистов в Государственной Думе».

Министр внутренних дел Макаров соглашался с Коковцовым относительно «бесцельности» этих расходов, но не хотел прекратить их за 8 месяцев до выборов. Националисты, правда, отказались от субсидий с декабря 1911 г., — после того, как оппозиция подняла вопрос о «темных деньгах». Но другие требовали даже прибавок. В 1912 г. требования усилились. Марков 2 и Пуришкевич обещали

Коковцову «затмить самые смелые ожидания» относительно будущего состава Думы, если он не поскупится дать им... миллион («точная» цифра была 960.000 р. — чтобы польстить бережливости министра).

Получив отказ, Марков 2 пригрозил: «вы получите не такую Думу, которую бы мы вам дали за такую незначительную сумму». В сентябре этого года (1912) вопрос обсуждался в собрании 14-15 губернаторов, съехавшихся в Петербурге. Их сведения были очень неудовлетворительны. Тем более дано было им свободы для местных воздействий. Коковцов настаивал только, чтобы не прибегали к старому приему Крыжановского — произвольной тасовке выборных собраний. Но он разошелся окончательно с Макаровым, который передоверил ведение выборов своему чиновнику Харузину. И что это была за кампания! Все сколько-нибудь подозрительные по политике лица бесцеремонно устранялись от участия в выборах. Целые категории лиц лишались избирательных прав или возможности фактически участвовать в выборах. При выборах присутствовали земские начальники. Нежелательные выборы отменялись. Предвыборные собрания не допускались, и самые названия нежелательных партий запрещалось произносить, писать и печатать. Съезды избирателей делились по любым группам для составления искусственного большинства. Весь первый период выбора уполномоченных первой стадии прошел в темную. Мелкие землевладельцы почти поголовно отсутствовали; зато, по наряду от духовного начальства, **{159}** были мобилизованы священники, которые и явились господами положения. В 49 губерниях на 8764 уполномоченных было 7.142 священников, и лишь для избежания скандала было запрещено послать в Думу более 150 духовных лиц; зато они должны были голосовать повсюду за правительственных кандидатов.

Следующая стадия выбора выборщиков проходила более сознательно, но тут и вступали в силу все приемы политического давления. Только в городах — и особенно в пяти больших городах с отдельным представительством — возможно было открытое общественное влияние на выборы. Здесь и проходили депутаты, известные своей оппозиционностью, и были забаллотированы октябристы (которых в то же время забаллотировывали и справа). Нарисовать сколько-нибудь полную картину организованного насилия на этих выборах было бы совершенно невозможно. Но что же получилось в результате? Взглянем на сравнительную таблицу партийных группировок в Третьей и в Четвертой Думе (См. приложение 2-ое.).

На первый взгляд, разница не так велика, — за исключением перехода голосов от октябристов к правым (—35 +40) и уплотнением за их же счет, обеих оппозиционных партий (+15). В действительности, не только моральное, но и реальное значение этих перемен очень велико. Вместе с октябристами, правые все еще составляли большинство (283 вместо 278 Третьей Думы). Но захотят ли эти обе группы идти вместе? На выборе председателя Думы они сразу сосчитались. Правые требовали политического соглашения по всем вопросам думской работы. Октябристы отказались и сговорились с оппозицией на кандидатуре Родзянки, который и был выбран 251 голосами против 150. Политическое значение этого предпочтения было подчеркнуто вступительными словами Родзянко: «я всегда был и буду убежденным сторонником представительного строя на конституционных началах, который дарован России великим манифестом 17 октября 1905 г., укрепление основ которого должно составить первую и непреложную заботу русского народного представительства». Та же ссылка на **{160}** манифест 17 Октября была вставлена Коковцовым в текст правительственной декларации и повторена еще раз в заключительной формуле прогрессистов, принятой (15 декабря 1912 г.) 132 голосами октябристов и оппозиции против 78 (Общее осуждение оппозицией внутренней политики правительства выразилось в формуле, предложенной октябристами же по смете министерства внутренних дел и принятой 164 голосами против 117. «Ввиду того, что министерство внутренних дел, сохраняя, после водворения спокойствия, действие исключительных положений, возбуждает в населении общее недовольство и вполне справедливые чувства возмущения по поводу ничем не вызываемых стеснений; что необходимая во всяком государстве сильная власть может быть сильна, только опираясь на закон; что, поддерживая своими незакономерными действиями господство произвола и усмотрения и уклоняясь от внесения на рассмотрение законодательных палат давно назревших реформ, предуказанных манифестом 17 октября, министерство препятствует водворению в России правового порядка и убивает в народе уважение к закону и власти — и тем усиливает в стране оппозиционное настроение; что способом применения действующих законов по отношению к отдельным национальностям административная власть разъединяет русских граждан и ослабляет мощь России, — Дума настаивает на скорейшем осуществлении широких реформ». (Прим. автора).). После выбора Родзянки правые и националисты демонстративно покинули зал заседания. Так, дифференциация влево была сразу противопоставлена дифференциации вправо.

Другой подчеркнутый итог выборов — уплотнение оппозиции, вопреки всем усилиям правительственного давления — имел не меньшее значение. Руководящая роль в оппозиции осталась за партией Народной свободы. Вторые курии главных городов сделались неотъемлемым достоянием к. д. Наш список в Петербурге далеко опередил все остальные, и я мог гордиться тем, что получил наиболее

значительное количество голосов во всей России — 22.700 в Третью Думу и, вопреки демонстративному голосованию против меня поляков и насильственному уменьшению числа избирателей, 18.455 в Четвертую. Октябристы получили 8-9 тысяч голосов в Третью и $4^1/_2$ тысячи в Четвертую Думу, социал-демократы поднялись с 3-5 тысяч до 6-7 тысяч, Союз русского народа с 4 тысяч спустился до 1 тысячи. Предвыборная **{161}** борьба с левыми конкурентами была чрезвычайно легка: мы выступали во всеоружии знания, и наша принципиальная программа не исключала практических интересов городской демократии, тогда как наши противники слева растекались в абстракциях и в словесной риторике. В Москве главной сенсацией выборов было забаллотирование Гучкова по первой курии и увеличение процента голосов к. д. с 55 до 62; в общем итоге, на стороне оппозиции оказалось вместо 75 процентов — 88 процентов избирателей. Только в Одессе и в первой курии Киева прошли правые.

Первой жертвой отмеченного раздвоения состава и задач Четвертой Думы явился сам глава правительства Коковцов. 29 января 1914 года он получил давно готовившийся втайне рескрипт о своем увольнении.

Коковцов сам считал, что отставка его стала неизбежной с момента неудачного свидания с Распутиным и что она явилась плодом злокозненной «интриги». Но это объяснение — слишком личное. Коковцов понимал, что корни перемены лежали глубже простой интриги. Но он не хотел останавливаться на этом объяснении. Его премьерство было просто не в стиле той задачи, которая возлагалась теперь на представителя власти свыше. Новый «мавр» свершил свое очередное дело — и тоже должен был уйти, чтобы очистить место следующему.

Царь расстался с Коковцовым с поцелуями и слезами. Но первые слова рескрипта 29 января гласили: «не чувство неприязни, а давно и глубоко сознанная мною государственная необходимость» заставили царя удалить очередного мавра на новом этапе. И дальше следовало точное хронологическое указание. «Опыт последних восьми лет (то есть с 1906 года) вполне убедил меня, что соединение в одном лице должности председателя Совета министров с должностью министра финансов или министра внутренних дел неправильно и неудобно в такой стране, как Россия».

Но ведь это — дата начала борьбы царя с «конституцией 17 октября». Это — то самое, что говорил главный вдохновитель «интриги», кн. Мещерский, издатель «Гражданина». Это — те самые обвинения «Гражданина», которые Коковцов повез к царю с жалобой на Мещерского: **{162}** «председатель Совета заслоняет особу государя и присваивает себе положение великого визиря». С этим «западноевропейским новшеством пора покончить; пора государю знать, кто его слуга и кто слуга младотурок, Родзянок и Гучковых». А что делает Коковцов? Этот «думский угодник», подкупленный «думскими аплодисментами», требует сохранения «единства кабинета», ставит царской воле на каждом шагу препятствия в каких-то законодательных правах Думы и отказывает во всех «незаконных» требованиях! Коковцов определил две основные черты характера императрицы: вера в неприкосновенность самодержавия и склонность к мистике. Но он не подчеркнул, что первое есть цель, а второе — лишь средство. Он прошел мимо первоначального совета Александры Федоровны — не подражать Столыпину. Императрица от него отвернулась, не хотела его больше видеть и демонстративно показывала признаки невнимания.

Уже летом 1912 года Николай поразил Коковцова предложением переменить свой пост на пост посла в Берлине, так как, наверное, ему не подойдет новый кандидат в министры внутренних дел, черниговский губернатор Н. Маклаков, понравившийся наследнику своим знаменитым «прыжком влюбленной пантеры», а царской чете — талантом передразнивать министров. Коковцов сразу понял тут «желание императрицы удалить его из Петербурга». Чуждый «большой» политике, он все же считал себя забронированным и непогрешимым в собственном ведомстве — финансов. Но тут преследовала его тень «Родзянок и Гучковых». Французский посол донес своему правительству слух, что отставка Коковцова «давно предрешена, так как государь находит, что он слишком подчиняет интересы внешней политики соображениям узко-финансового характера».

Тут разумелась, очевидно, борьба с Сухомлиновым и защита мира, то есть вмешательство в военную и дипломатическую прерогативу монарха. Коковцова держали намеренно в стороне от той и другой области: это было больше, чем простая борьба с Сухомлиновским легкомыслием и с запозданием военных заказов. Царь хитрил с Коковцовым, заявляя ему, что «мужичка» Распутина он почти не знает, газеты Мещерского не читал, Сухомлинова не **{163}** одобряет. На самом деле, он, вынужденно или добровольно, вел свою линию «государственной необходимости» и с возраставшим нетерпением переносил Коковцовские репримանды. Его местью было вторжение рескрипта 29 января 1914 г. в заповедную область Коковцова: ведение финансов, «с чем может справиться только свежий

человек», ибо «дальше так продолжаться не может». И мотив при этом был выбран тот же самый, которым Коковцов объяснял успех своей финансовой политики:
«быстрый ход внутренней жизни и поразительный подъем экономических сил страны» — «небывалый расцвет», по формуле Коковцова. А затем слезы и поцелуи — и «расстаемся друзьями».

Я связал тут откровения воспоминаний Коковцова с тем, что нам было известно и понятно тогда же сразу и о чем не вполне догадывался — или не хотел договаривать до конца — верный царский слуга. Выбор ему преемника окончательно раскрывал и это недоговоренное. Очередным «мавром» был указанный Мещерским же и «вынутый из нафталина» И. Л. Горемыкин.

Если нужно было прикрыть личиной тишины и спокойствия бурлящие страсти предреволюционной общественности — с единственной целью обмануть глаз высшей власти и протянуть время в ожидании чего-то, что совершится само собою, то лучшего выбора, нежели Горемыкин, нельзя было сделать. Ветхий, не только деньми, но и психологией старческого безразличия ко всему, Горемыкин не искал власти. Он сам говорил Коковцову после своего назначения: «Совершенно недоумеваю, зачем я понадобился; ведь я напоминаю старую енотовую шубу, давно уложенную в сундук и засыпанную камфорой...

Впрочем, эту шубу так же неожиданно уложат в сундук, как вынули из него».

Горемыкина выдумал Кривошеин, человек очень умный и лучше понимавший положение, чем большинство окружающих. Я впоследствии мог лично убедиться в широте его кругозора. Но Коковцов прав в своей характеристике Кривошеина: желая направлять события, он не хотел нести ответственности и намеренно оставался в задних рядах. Горемыкин был ему удобен тем, что представлял пустое **{164}** место и не мешал в дальнейших планах, если они понадобятся. Удивить чем-нибудь Горемыкина и пробудить его к активности было, как мне пришлось самому убедиться потом, совершенно невозможно. Он на все махал рукой, говорил, что все это «чепуха» — и лежал тяжелым камнем на дороге. Главная ошибка его назначения была в том, что пропущенное время нельзя было вернуть и, за отсутствием какой бы то на было творческой программы, должно было наступить междуцарствие хаоса.

Была другая черта нового положения, характеризовавшая переход от Третьей Думы к Четвертой — со стороны, обратной этой перемене власти. Не только очередной «мавр», но и очередная форма народного представительства «сделала свое дело» и должна была уходить из истории. Русская общественность почувствовала потребность в более сильных возбуждениях, нежели ежедневная будничная работа Государственной Думы, — притом же очевидно осужденная на бесплодие. Весь 1913 год проходит в проявлениях возрождающейся общественной самодеятельности. Публика совсем не интересуется вопросом, как распределить законодательный хлам, оставшийся в наследство от Третьей Думы. Напротив, ее внимание привлекают общественные съезды, собравшиеся в Киеве к моменту, когда националисты тщетно пытаются создать шум около торжества открытия памятника Столыпину: съезд сельскохозяйственный, съезд городской и, наконец, конференция октябристов, давно отлагавшаяся, пока Гучков священнодействовал в Думе. Потопленный в первой курии Москвы, он тут выплывает и расходует свой политический зуд.

Среди своих верных он чеканит новую эффектную формулу отказа от своей прежней деятельности: «Мы вынуждены отстаивать монархию — против тех, кто является естественными защитниками монархического начала, церковь — против церковной иерархии, армию — против ее вождей, авторитет правительственной власти — против носителей этой власти». И он же диктует городскому съезду его заключительную резолюцию об угрозе стране тяжкими потрясениями и **{165}** гибельными последствиями от дальнейшего промедления в осуществлении реформ 17 октября. Мы видели отражение этих настроений среди октябристской фракции Думы; но, увы, там они быстро сходили на-нет. Вторая речь Родзянки при его перевыборе — бесцветна; законодательная деятельность равняется по Государственному Совету.

Но высшая точка общественного негодования была достигнута, когда вся неправда режима, все его насилие над личностью воплотились в попытке сосредоточить на лице невинного еврея Бейлиса обвинение против всего народа в средневековом навете — употреблении христианской крови.

Нервное волнение охватило самые глухие закоулки России, когда, в течение 35 дней, развертывалась в Киеве, при поощрении или при прямом содействии властей, гнусная картина лжесвидетельства, подкупленной экспертизы, услужливых прокурорских усилий, чтобы вырвать у специально подобранных малограмотных крестьян-присяжных обвинительный приговор. Помню тревожное ожидание этого приговора группой друзей и сотрудников, собравшихся поздним вечером в

редакции «Речи». Помню и наше торжество, когда темные русские крестьяне вынесли Бейлису оправдательный приговор.

Конечно, все манифестации общественного настроения сопровождались полицейскими скорпионами. По делу Бейлиса на печать были наложены 102 кары — в том числе шесть редакторов арестованы. 120 профессиональных и культурно-просветительных обществ были закрыты или не легализованы. В Петербурге мне с Шингаревым запрещено было сделать доклад избирателям о Четвертой Думе, а в Москве такое же собрание вновь избранных членов Думы к. д. Щепкина и Новикова было закрыто полицией.

Закрыты были полицией и юбилейное заседание в честь пятидесятилетия «Русских ведомостей» и банкет по тому же поводу. Мне были запрещены лекции по балканскому вопросу в Екатеринодаре и Мариуполе. Это — только отдельные эпизоды из целого моря подобных. Все это вместе **{166}** напоминало предреволюционные настроения и полицейскую реакцию на них 1905 года.

Естественно, что и поведение фракции в Думе, в частности и мое, должно было теперь принять иное направление. При полной безнадежности думского законодательства, черновая работа в комиссиях отходила на последний план. Наши выступления должны были сосредоточиться на том, что интересовало страну, т. е. на вопросах общеполитического значения и на критике поведения правительства во внутренней жизни России, проводимой в форме запросов. Я говорю здесь о первых двух сессиях Четвертой Думы — от ее открытия 15 ноября 1912 года до единственного заседания «экстренной сессии» 26 июля 1914 г., в котором Дума была приглашена сказать свое слово по поводу начавшейся войны. Последующий период деятельности Думы носит совершенно иной характер, и О нем нужно будет говорить особо.

Мы прежде всего нашли теперь своевременным внести, в порядке думского законодательства, кадетские проекты гражданских свобод, носившие «марку» 17 октября. Это было нетрудно, так как наши законоведы приготовили отличные тексты для внесения во Вторую Думу и эти тексты были напечатаны. На этот раз их внесение, однако, уже не носило характера простой демонстрации, а было прямым последствием приведенных выше требований октябристов вместе с оппозицией. Мы не ошиблись: проект о свободе печати, который я защищал в двух заседаниях первой сессии (8.II и 13.II, — см. таблицу) (См. приложение 3-ье.), был признан Думой «желательным» и передан в комиссию для разработки. То же было и с проектами о свободе совести, о союзах и собраниях. Только наш проект о введении всеобщего избирательного права, который я защищал в развернутом виде, включая и распространение права голосования на женщин, оказался для октябристов неперевариммым. После прений в трех заседаниях (27,II, 8,II и 18,III) он был отвергнут (206 голосами против 126). Менее успеха имели наши запросы на важнейшие темы, **{167}** интересовавшие страну: о злоупотреблениях на выборах, о ленских событиях, о влиянии Распутина на Св. Синод и т. д. Тут применялась, большею частью, старая тактика оттяжки министерских объяснений на многие месяцы.

Вторая часть сессии Четвертой Думы прошла при преемнике Коковцова, Горемыкине. Новое правительство перешло в прямое наступление на законодательные права Думы, и наша роль, отчасти уже вместе с октябристами, заключалась здесь в защите этих прав. Нападения были, большей частью, мелкие, технические, мало понятные для страны, и сессия казалась бесцветной. Но в общем ходе событий эта борьба уже была повышением тона. Особенно взволновало нас покушение на свободу депутатской речи, по поводу преследования Чхеидзе по ст. 129. Партия к. д. внесла предложение — не приступать к обсуждению бюджета, пока не будет утвержден законопроект о свободе депутатского слова. Мне пришлось защищать это предложение (21 апреля 1914 г.). Мы впервые нашли большинство, которое готово было идти на неутверждение бюджета; октябристы заговорили необычным для них тоном. Параллельно с Горемыкиным, эту линию борьбы вел и Н. Маклаков, заявивший себя открыто членом «союза русского народа». Он пытался подвести хитроумную теорию, по которой Дума и Совет министров были двумя координированными органами, над которыми стоит царь с полнотой законодательных прав. Я выступил против него (2 мая 1914 г.) с доказательствами, что ряд его заявлений совпадает с актом Булыгинской Думы 6 августа 1905 г., т. е. с законом о законосовещательной Думе, предшествовавшим октябрьскому манифесту.

Не буду останавливаться на других своих выступлениях в этой части сессии по поводу заявлений министров — Горемыкина, иностранных дел, юстиции и народного просвещения. Все это кажется таким незначительным в свете последующих событий.

Остановлюсь лишь на моей речи 19 февраля в защиту украинского национального самоопределения, которую известный **{168}** сепаратист А. Шульгин впоследствии признал «прекрасной», лишь для того чтобы противопоставить ее моим взглядам 1939 года. Речь была сказана по просьбе

самих украинцев — защитить их от нападок киевских русских националистов, вызвавших запрещение чествования юбилея Шевченко.

Чтобы подготовиться к ней, я специально съездил в Киев и имел там обширные совещания с группой почтенных украинских «прогрессистов». Моей тактикой было — отделить сравнительно умеренные их требования «украинизации школьного просвещения, прав украинского языка в судебных и правительственных учреждениях, устранения ограничений для украинского печатного слова, улучшения условий легального существования украинских национальных учреждений». Этим вожди Т.У.П. (Товариство Українських Поступовців.) удовлетворялись, соглашаясь отодвинуть в будущее требования «федерации» и совершенно исключая «сепаратизм». Только проф. Грушевский хитрил со мной, скрывая от меня свои истинные намерения. Я, с своей стороны, утверждал в Думе, что «истинными сепаратистами являются русские националисты», отрицающие самостоятельный украинский язык и украинскую литературу и поощряющие правительственные гонения, которые уже заставили украинское движение перенести свой центр в австрийские пределы, где возможно и создание украинского сепаратизма.

Между первой и второй сессией занятия Думы были прерваны от 25 июня до 15 октября (ст. ст.). Большую часть этого промежутка, как рассказано выше, я посвятил поездке на Балканы с комиссией Карнеги. Но уже в июле мне пришлось пережить горестное событие. В Кисловодске умирал мой младший брат Алексей. Мы не часто с ним виделись, так как он жил в Москве, но нас до конца связывала самая нежная дружба.

Он присоединился к партии к. д., и лишь незадолго перед тем мне пришлось освобождать его из-под ареста, куда он попал в связи с инцидентом, происшедшим на моей московской лекции и свидетельствовавшим о том, что он до конца сохранил всю живость своего характера. В **{169}** Москве он был хорошо известен, как специалист по домостроительству, но еще более, как страстный охотник на красного зверя, составивший себе широкие связи в видных кругах старой столицы. В Кисловодск он приехал на отдых, но заразился стрептококком, и в одну неделю болезнь свела его в могилу. Он быстро сгорал на моих глазах, и этот переход от цветущего состояния до комы был для меня ужасен. В последние дни он как раз интересовался балканскими делами и подробно меня о них расспрашивал. Окруженный родными и друзьями, он умер на руках нашего общего друга, д-ра М. С. Зернова.

3. ВОЙНА

Тринадцатый год, как мы видели, кончился для России рядом неудач в ее балканской политике. Казалось, Россия уходила с Балкан — и уходила сознательно, сознавая свое бессилие поддержать своих старых клиентов своим оружием или своей моральной силой. Но прошла только половина четырнадцатого года, и с тех же Балкан раздался сигнал, побудивший правителей России вспомнить про ее старую, уже отыгранную роль — и вернуться к ней, несмотря на очевидный риск, вместо могущественной защиты интересов балканских единоверцев, оказаться во вторых рядах защитников интересов европейской политики, ей чуждых.

Одной логикой нельзя объяснить этого кричащего противоречия между заданием и исполнением. Тут вмешалась психология. Одни и те же балканские «уроки» заставили одних быстро шагнуть вперед; у других — эти уроки не были достаточно поняты и оценены, — и психология отстала от событий.

В первую категорию нужно, конечно, поставить Австрию и Германию. Не было надобности даже во всех тех секретных сведениях, которыми я воспользовался выше, чтобы оценить значение совершившейся тут перемены. Положение Австрии было усилено в 1913 году ее влиянием на Фердинанда болгарского и Карла **{170}** руминского, так же как и ее мирными победами над Сербией на Адриатике и в Албании. Главным — и опасным — врагом ее оставалась, все же, Сербия, усилившаяся приобретением Македонии и, вопреки обязательству 1909 года, не отказавшаяся от поддержки сербских объединительных стремлений в австрийских провинциях. «Мы» или «они» — сделалось теперь окончательной политикой Берхтольда, — и мы видели, что он уже пробовал в 1913 г. использовать союзы с Италией и Германией для «окончательного» расчета с сербским королевством. Джолитти отказался, а германский посол в Вене, Чиршкий, признал тогда политику Берхтольда unklug и kleinlich: «неумной» и «мелкой» *(точнее «неразумная» и «мелочная», ldn-knigi).*

Все зависело от роли Германии; но тут даже германские послы не сразу заметили, что психология Вильгельма переменилась, как уже указано выше. Из приведенных выше речей Бетмана-Гольвега можно было, однако, усмотреть смысл этой перемены. Победа «славянства» на Балканах

нарушила «равновесие»; оно должно быть восстановлено победой «германства» над «славянством». По надписям Вильгельма на докладах послов в 1914 г. мы продолжаем следить за характером этой перемены: она включала Николая II и Россию. Пурталес 12/25 февраля 1914 г. сообщает Вильгельму ,о примирительном настроении Сазонова. Вильгельм, среди восклицательных и вопросительных знаков, пишет: «довольно! Он, (царь), во всяком случае, не хочет и не может ничего сделать, чтобы изменить (это положение). Русско-прусские отношения раз навсегда мертвы. Мы стали врагами (Wir sind Feinde geworden)».

И мы вспоминаем разговор императора с Давыдовым (см. выше). В докладе 11 марта Пурталес уверяет императора, что миролюбивые настроения Николая «не вызывают ни малейшего сомнения». Вильгельм иронически надписывает: «так же, как его абсолютное непостоянство и слабость по отношению к любому влиянию». Пурталес замечает, что во всякой армии есть воинственные генералы, но нельзя предсказывать, что будет через два года, если не обладаешь даром пророчества. **{171}** Вильгельм, совсем уже сердито, отвечает: «этот дар существует — часто у государей, редко у государственных людей, почти никогда — у дипломатов...

Лучше бы милый Пурталес не писал этого доклада... Мы здесь в области пограничной между военной и политической, области трудной и неясной, где дипломаты обыкновенно теряются. Как военный, по всем моим сведениям я ни малейшим образом не сомневаюсь, что Россия систематически готовится к войне с нами, — и сообразно с этим я веду свою политику». Дважды в той же надписи он повторяет: это — «вопрос расы».

Итак, решение Вильгельма остается неизменным: он готов воевать с Россией, и русские «расисты» и шовинисты доставляют ему достаточно материала для его аргументации. Я упоминал о «славянских» демонстрациях в Думе, на улицах, — были еще «славянские обеды» Башмакова, молебны в соборе... Мы вспоминаем, что после свидания в Балтийском Порту Сазонов говорил, что «нужно только принять все меры к тому, чтобы наши доморощенные политики не втянули нас в какую-нибудь славянскую авантюру». Выдержал ли он эту линию до конца? Во всяком случае, Вильгельм понимает под «славизмом» не только балканских славян, но распространяет этот термин и на Россию — в тот самый момент, когда Россия отказывается от славянских «авантюр» и терпит поражение за поражением в своей традиционной «славянской» политике, и выдвигается этот «вопрос расы» тогда, когда европейский конфликт созревает не на «расовой» почве, а на почве «мировой политики» Вильгельма. Я высказал предположение, как он мирит то и другое; но это примирение, очевидно, искусственно.

У Вильгельма есть теперь и другой мотив для войны с Россией: «Россия систематически готовится к войне с нами». Но, во-первых, готовилась не одна Россия: это были годы общей «скачки вооружений». А, во-вторых, Вильгельм знал цену русской подготовки. Когда 12 марта 1914 г. Сухомлинов в анонимной статье «Биржевых ведомостей» повторил свое хвастовство, что Россия «готова», Пурталес назвал это «фанфаронадой»; **{172}** так смотрела и вся Россия, негодовавшая на министра за эту провокацию. Объяснить все это намеренное смешение «мирового» с «славянским» можно только расчетом — разделаться с Россией наедине — именно, пока она «не готова». Мы увидим, что так оно и было.

С другой стороны, демократический лагерь Европы, рассчитывая на помощь России в случае «мирового» конфликта, тщательно отделял ее балканские интересы от общеевропейских. Мы видели определенное заявление Пуанкарэ, что за эти балканские интересы Франция воевать не будет, — несмотря на свои договорные обязательства. Особенно осторожно вела себя Англия. Тут по-видимому определенно проводилась линия отделения европейских интересов от специфически русских, — что, в известном смысле, шло навстречу расчету Вильгельма — расправиться с Россией один на один. С обеих сторон логики тут не было; зато была психология.

Как бы то ни было, четырнадцатый год начинался неблагополучно. В воздухе пахло порохом. Даже и не очень осведомленные люди ожидали какой-то развязки. (В органе военного министерства «Разведчик» появилась на новый 1914 г. одна из сухомлиновских провокационных статей, в которой можно было прочесть (перевожу с французского перевода) : «мы все знаем, что готовимся к войне на западной границе, преимущественно против Германии... Не только армия, но и весь русский народ должен быть готов к мысли, что мы должны вооружиться для истребительной войны против немцев, и что германские империи должны быть разрушены, хотя бы пришлось пожертвовать сотнями тысяч человеческих жизней». (Прим. автора).) Сессия Думы закончилась, и я переехал на летний отдых в свою финляндскую избу. Утром 16 (29) июня я вышел прогуляться навстречу почтальону, получил корреспонденцию, развернул газету и в ней прочел телеграмму об убийстве в Сараеве наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда с супругой. Я не мог удержаться от восклицания: «это — война», — и повторил его, вернувшись, своим домашним.

Мне представлялось очень живо место действия преступления, — место моих одиноких прогулок во время посещений Сараева. Новопостроенный канал, **{173}** окаймленный узкими набережными, всегда пустынными. Жаркий, безоблачный день. Эрцгерцогский кортеж, приближавшийся по внешней набережной к узкому мостику, через который я часто переходил. Никакой народной толпы; по парапету набережной свободно прогуливаются два заговорщика. Никакой охраны. Коляска эрцгерцогской четы, не спеша, поворачивает на мостик. Заговорщики приближаются с другой стороны. Два выстрела, две смертельных раны... Кто они? Для меня сразу ясно. Это — сербские патриоты-террористы, все равно, из Сербии или Боснии: для заговора нет географических границ. Преступление не могло быть вполне неожиданным. Поездка эрцгерцога, нелюбимого при дворе, на демонстративные маневры в Боснии не была популярна. Надо было ждать не проявлений лояльности населения, а скорее — враждебных демонстраций.

И все же охрана наследника была предоставлена одной местной полиции. Разумеется, не Пашич и не Гартвиг устраивали заговор, и честный австрийский чиновник Визнер, которому специально было поручено расследование, мог добросовестно доложить, что «участие сербского правительства ничем не доказано» (впоследствии открылись кое-какие нити, — полк. Димитриевич, — но все же не доходившие до правительственной верхушки). Однако же, и в Вене устранение наследника престола особенного сожаления не встретило. Вскоре после начала войны Павел Рорбах, известный руссофоб и славянофоб, мог откровенно заявить: «нам этой войной сделали подарок, и смертные жертвы эрцгерцога Франца-Фердинанда мы должны считать за счастье». Еще большим счастьем оно представлялось графу Берхтольду. Наконец, он получил возможность расправиться, как следует, с Сербией — на глазах всей Европы и при сочувствии, если не содействии, Германии. Для меня это последствие Сараевского убийства представлялось совершенно бесспорным и неизбежным.

Я поспешил вернуться в Петербург. Персонал министерства иностранных дел тоже праздновал вакации; но у меня были там добрые отношения с Григорием **{174}** Ник. Трубецким, братом Сергея и Евгения, — человеком знающим и вдумчивым. Мы сошлись с ним на впечатлении, которое выражалось словом «локализация» войны. Слово было опасное, и скоро стало еретическим. Оно, естественно, совпало с намерениями гр. Берхтольда и с одобрением императора Вильгельма. Для министерства оно скоро стало конфузным — и психологически невозможным. Но я продолжал считать его единственно правильным — и единственным способом предупреждения русского вмешательства в европейскую войну, если бы даже, помимо нас, она оказалась в эту минуту неизбежной.

Для меня самого этот исход — локализация австро-сербского конфликта — явился естественным выводом из всех моих предыдущих наблюдений, изложенных выше. После всех балканских событий предыдущих годов было поздно говорить о моральных обязанностях России по отношению к славянству, ставшему на свои собственные ноги. Надо было руководиться только русскими интересами, — а они, как было понято в 1913 году, расходились с интересами балканцев. Ужасы войны, после Карнегиевской анкеты, мне представлялись особенно понятными. Дело было даже не только в «сотнях тысяч» русских людей, которыми готовы были пожертвовать Янушкевич с Сухомлиновым. Я не знаю, действительно ли Извольский так желал своей «маленькой войны», как о том говорили — и как в свое время желал японской войны Плеве. Не хотелось бы этому верить. Но, при явной неготовности России к войне — и при ее сложившемся внутреннем положении, поражение России мне представлялось более чем вероятным, а его последствия — неисчислимыми... Нет, чего бы это ни стоило Сербии, — я был за «локализацию».

Берхтольд, конечно, за нее ухватился. Он, все же, нуждался в поддержке Германии — и, при известном нам настроении Вильгельма, в первые же дни он ее получил. Но, давая обещания, Вильгельм в свою очередь психологически считался с возможностью локализации. На прощальном обеде в Потсдаме (перед **{175}** вакационной поездкой по норвежским фиордам) он говорил представителю австро-венгерского правительства, обещая безусловную поддержку, даже в случае вмешательства России, что «Россия вовсе не готова к войне и должна будет долго подумать, прежде чем возьмется за оружие». «Долго подумать» — в предположении способности думать — это был благоразумный совет, невольно дававшийся Вильгельмом своему противнику. А чтобы нам было некогда думать, Вильгельм давал и другой совет своему союзнику: «действовать немедленно» — чтобы получить результат, как можно скорее, и поставить Россию и Европу перед совершившимся фактом.

Мы знаем теперь, что Берхтольд, как он ни старался, не мог выполнить этого совета буквально. Конрад фон Гетцендорф предупредил его, что и для разгрома Сербии Австрия еще должна подготовиться. И за первой неделей после Сараева, когда по существу все уже было решено, последовали еще две-три тягучих недели — дипломатической подготовки.

Этими неделями я мог воспользоваться, чтобы повести свою кампанию против войны — или против русского участия в войне — в своей газете «Речь». У меня нет теперь под руками ее комплекта, и я не могу привести доказательств этого. Но моя позиция была хорошо известна. Когда приехал в Россию — уже в качестве президента — Пуанкарэ (тоже в вакационную поездку), я, вместе со многими, понял этот приезд как поощрение к войне. В Петербурге этот приезд «вестника войны» был вообще непопулярен, и президента пришлось даже охранять от недружественных манифестаций. Я был неправ — в том смысле, что второй приезд Пуанкарэ, как и первый, был скорее мерой предосторожности против воинственных сюрпризов со стороны России. Николай II имел, однако, повод писать своим датским родственникам по поводу этого визита: «Пуанкарэ нуждается в мире не так, как я — ради мира. Он верит, что существуют хорошие войны». Очевидно, частные беседы **{176}** царя с президентом республики шли дальше публичных деклараций союзной дружбы.

Я продолжал в эти недели «затишья перед бурей» печатно предупреждать, что опасность не прошла, и что Австрия втайне готовится к решительному удару. И, действительно, в глубоком секрете — даже от Германии — Берхтольд готовил свой пресловутый «ультиматум» Сербии. Задание было вполне определенное: «поставить такие далеко идущие условия, чтобы можно было предвидеть отказ, который откроет путь к радикальному решению посредством военного вмешательства». 27 июня (10 июля) Берхтольд говорил германскому послу: «Было бы очень неприятно, если бы Сербия согласилась. Я обдумываю такие условия, которые сделают принятие их Сербией совершенно невероятным»!

Таков был документ, предъявленный Сербии 10 (23) июля — с таким расчетом, чтобы выждать отъезд Пуанкарэ из Петербурга. Как реагировала на это Россия? Я должен сказать, что первые заявления Сазонова не противоречили возможности локализации войны. Сазонов немедленно телеграфировал в Белград: «Положение безнадежно для сербов; лучше всего для них — не пытаться сопротивляться и апеллировать к державам». И французскому послу он говорил: «Я думаю, что даже если австро-венгерское правительство перейдет к действиям, Сербия должна без борьбы допустить нападение и показать всему свету австрийское бесстыдство». Как ни неприемлем был австрийский ультиматум, Сазонов посоветовал сербам принять его требования; оговорен был лишь сербский суверенитет. Но Австрия, даже не войдя в разбор по существу — и не дав державам возможности обсудить австрийские требования, признала ответ неудовлетворительным и разорвала дипломатические отношения с Сербией. В ближайший же день, 25 июля, Германия понукала: «Всякая отсрочка военных операций вызовет риск вмешательства со стороны держав». И 28 июля Австрия объявила войну Сербии. 29-го началась бомбардировка Белграда.

После целого месяца промедления со времени Сараевского **{177}** убийства (28 июня — 28 июля) только четыре дня (29 июля — 1 августа) были оставлены на дипломатические переговоры, совершенно бесполезные, так как Австро-Венгрия систематически отвергала все формы посредничества, предлагавшиеся державами (Сазоновым и Грэем). Бетман-Гольвег, наконец, собрался было напомнить союзнику, что Австрия должна сделать хоть видимость уступок, чтобы «ответственность за европейский пожар пала на Россию». Характерным образом эта телеграмма (№ 200, 17 июля) была немедленно отменена: Вильгельм переменил свой взгляд. Еще после первого ознакомления с содержанием ультиматума он писал, что Австрия одержала победу и может быть удовлетворена, — хотя это и не исключает «сурового урока» Сербии. Это мнение еще совмещалось с «локализацией».

Но после объявления Австрией войны Сербии (28 июля) тон Вильгельма сразу меняется в телеграфной переписке с царем. Николай, «во имя старой дружбы», просит Вильгельма. «помешать союзнику зайти слишком далеко» в «неблагородной войне, объявленной слабой стране». Вильгельм ставит два восклицательных знака у слов «неблагородной войне» и отмечает на полях: «признание в собственной слабости и попытка приписать мне ответственность за войну. Телеграмма содержит скрытую угрозу и требование, подобное приказу, остановить руку союзника».

Следующая телеграмма Вильгельма восстановляет австрийскую точку зрения и право на «заслуженное наказание» виновников «подлого убийства». Он снисходительно признает трудность положения Николая, которому приходится «считаться с направлением общественного мнения» («славизм»). Он обещает повлиять на Австрию в духе «удовлетворительного соглашения» с Россией. Но следующий день расширяет конфликт. 17 июля Пурталес приносит Сазонову телеграмму Бетман-Гольвега, заявляющего, что если Россия не прекратит военных приготовлений — хотя бы она даже и не приступила к мобилизации, то «Германия сама должна будет мобилизоваться и немедленно перейдет в наступление». Сазонов, в волнении, отвечает, что теперь ему понятно упорство Австрии, — и вызывает резкий протест Пурталеса. Сообщив о **{178}** заявлении Пурталеса царю — и узнав от него о примирительной телеграмме Вильгельма, Сазонов указывает на противоречие. Тогда Николай в $8^1/_2$

час. вечера просит Вильгельма «разъяснить противоречие» — и прибавляет, что «было бы правильным передать австрийско-сербскую проблему Гаагской конференции». Вильгельм ставит еще один восклицательный знак при упоминании о Гааге, и Бетман телеграфирует Пурталесу просьбу разъяснить Сазонову «мнимое противоречие», прибавляя при этом, что «идея Гаагской конференции, конечно, в данном случае исключается».

Так как в эти последние два дня начались споры между русскими генералами о «частичной» (против Австрии) или «общей» мобилизации, а царь ни за что не хотел разрешить «общей», то Сазонов просил позволения участвовать в обсуждении этого вопроса. Убедившись уже, после визита Пурталеса, что война с Германией неминуема, он хочет убедиться, насколько неизбежна общая мобилизация. Совещание с генералами убеждает его в этом, и царь склоняется к этому убеждению. Но все же в тот же день 17 июля, в 9.40 ч. вечера, приходит телеграмма Вильгельма с новым предложением устроить прямые переговоры с Веной. Чтобы избежать «катастрофы», которой грозят русские вооружения, Вильгельм готов взять на себя роль посредника. Мы знаем цену этой последней уступки: она имеет целью не предотвратить войну, а свалить ответственность за нее с Австрии на Россию. Царь этого коварства не понимает; он взволнован — и приказывает Янушкевичу отменить только что разрешенную на завтра, 18 июля, «общую» мобилизацию и ограничиться только «частичной». Но в 0.30 ч. ночи приходит еще одна телеграмма Вильгельма в ультимативном тоне: «Если Россия мобилизуется против Австрии (т. е. приступит к «частичной мобилизации»), то моя роль посредника, которою ты любезно облек меня, будет поставлена в опасность, если не совсем разрушена.
Вся тяжесть решения лежит теперь только на твоих плечах, которые несут теперь ответственность за мир или войну».

Тайное намерение Вильгельма этим **{179}** разоблачено; но царь все еще верит в возможность сохранить мир и взволнован прямой угрозой ответственности. Сазонов, который только что приготовил примирительную формулу для переговоров с Веной («если Австрия признает, что конфликт стал европейским, и сохранит права сербского суверенитета, то Россия обязуется прекратить военные приготовления»), понимает бесполезность переговоров, грозящих простой отсрочкой решения. Получается дилемма: царь еще раз отказывает Янушкевичу в «общей» мобилизации; Сазонов, убежденный в ее «технической» необходимости, берется защищать взгляд военного ведомства перед царем и добивается аудиенции в Петергофе в три часа пополудни.

Оба взволнованы: предстоит окончательное решение. Сазонов употребляет тот же аргумент, которым Жоффр убеждает Вивиани: бессмысленно запаздывать с приготовлениями, когда Германия собирается начать военные действия. Царь с этим согласен, — и Сазонов переходит в сентиментально-патриотический тон. «Россия не простит царю» капитуляции, которая «покрыла бы срамом доброе имя русского народа»; «исторически сложившееся влияние на естественных союзников России на Балканах будет уничтожено» (а оно уже потеряно); Россия «будет обречена на жалкое существование, зависимое от произвола Центральных империй...

Совесть царя перед Богом и будущими поколениями может быть спокойна». Наступает молчание; на лице царя Сазонов наблюдает признаки душевной борьбы. Наконец, сдавленным голосом царь говорит: «Вы правы, остается только ждать нападения» и — дает приказ об общей мобилизации. Вильгельм, в новой телеграмме 18/31 июля, продолжает прикрывать свои намерения ссылкой на «его продолжающееся мирное посредничество». Сазонов готов «переговариваться с ним до конца» на основе своей формулы, исправленной Грэем. Царь дает Вильгельму честное слово, что армия не двинется, пока будут вестись переговоры. Но раньше получения этой телеграммы Бетман-Гольвег уже телеграфирует Пурталесу ультиматум с требованием отмены мобилизации, который Пурталес передает Сазонову **{180}** в полночь на 19 июля (1 августа). Срок ультиматума истекает в полдень, но уже утром в Германии объявлен Kriegsgefahrzustand (Состояние опасности войны.), а в 5.45 пополудни Пурталес получил документ об объявлении войны России и, с некоторым опозданием, предъявил его Сазонову. Курьезнее всего, что через несколько часов после объявления войны царь получил телеграмму от Вильгельма с требованием не переходить границы. Русская граница была уже перейдена.

Так неловко кончалась игра в перенесение ответственности на Россию.

Интересно отметить, что Вильгельм так увлекся идеей войны с Россией, что как будто забыл, что она связана с европейской войной. Получив неверное известие, что Франция не вмешается в эту войну, он сказал Мольтке: «Прекрасно, мы тогда просто переведем всю армию на Восток». С Мольтке чуть не случился припадок. «Безусловно невозможно, ваше величество, — напомнил он, — нельзя вести операции иначе, как по плану — большие силы на Западе, слабые на Востоке».

Это была азбука главного штаба. Все же Вильгельм сделал безнадежную попытку добиться

нейтралитета Франции. Что касается участия Англии, он просто его игнорировал. Когда он узнал, что Англия, наконец, высказалась, Вильгельм пришел в состояние бешенства.

«В конце концов, это пресловутое окружение стало совершившимся фактом! Игра сыграна хорошо и вызывает преклонение даже у тех, кому грозит гибелью. Эдуард VII, даже мертвый, оказывается сильнее меня, живого! Мы одурачены в нашей трогательной надежде — успокоить Англию!!! Все наши предостережения и просьбы были бесполезны. Вот она, так называемая английская благодарность. Дилемма нашей лояльности к престарелому и почтенному императору (Францу-Иосифу) ставит нас в положение, которое служит Англии предлогом сокрушить нас...

Надо теперь разоблачить эти махинации, не щадя ничьих чувств! Наши консулы, наши агенты в Турции и в Индии должны побудить всех магометан к яростному восстанию против этого народа {181} торговцев, ненавистного, лицемерного и бессовестного. Пусть мы пожертвуем своей шкурой, но Англия должна, по крайней мере, потерять свою Индию»!

Как известно, союзники тщетно убеждали Грэя объявить Англию на стороне Франции и России, считая это единственным средством предупредить войну. Я в то время был влюблен в Грэя и понимал его мотивы — менажировать разногласия в кабинете и в английском общественном мнении. Помню то тревожное ожидание, с которым я следил за его двумя речами в Палате, в первой из которых он заявлял, что Англия свободна распорядиться своей судьбой, а во второй, после перерыва, убеждал, что долг чести требует пожертвовать этой свободой для борьбы против нарушителей бельгийского нейтралитета. Голос Грэя мне всегда казался голосом государственной мудрости и внутренней честности и благородства.

Я был, к тому же, убежден, что и нейтралитет Англии не изменил бы намерений Вильгельма. За эти четыре тревожные дня я окончательно отделался от иллюзии Friedenskaiser'а (Император мира.). Не все, здесь изложенное, — но многое доходило до меня в эти дни из нашего министерства иностранных дел. Я обвинял Сазонова в неумении провести «локализацию» войны, когда она была еще возможна; но я понимал и незащитимость этой позиции, когда Берхтольду удалось привлечь на свою сторону Вильгельма — и когда выяснилась решимость кайзера воевать. Она стала для меня ясна даже раньше решающего разговора Сазонова с Пурталесом; я понимал «техническое» значение общей мобилизации — особенно при условиях мобилизации в огромной, бездорожной, плохо управляемой и безграмотной России.

И я вовсе не осуждал на этот раз нашего военного ведомства за своевременное принятие мер обороны, — которые, увы, все же оказались запоздалыми. Лично к Вильгельму я почувствовал не только разочарование, но прямую ненависть за минуту обмана моего представления о нем. В день объявления войны Германией мы приготовили номер «Речи» **{182}** 20 июля с резкими статьями против Германии, и ночью гранки статей уже были отправлены в военную цензуру, когда мы узнали, что, с назначением великого князя Николая Николаевича Верховным главнокомандующим, наша газета была запрещена за ее известную оппозицию войне.

Не хуже Вильгельма мы знали, конечно, шаткость характера царя, но тем более должны мы были сочувствовать твердости и упорству его намерения сохранить мир. И не слабостью перед посторонними влияниями надо было объяснять на этот раз его решимость идти на риск войны. Я не мог бы согласиться с сентиментально-националистической аргументацией Сазонова (о которой, впрочем, узнал только из его воспоминаний); но царь уже был заранее убежден военно-техническими соображениями. Однако, и после вступления России в войну Николай II продолжал считать свое решение своего рода изменой своему миролюбию. Барон Таубе рассказал свой разговор с ним, происходивший 28 декабря 1914 г. Таубе раньше прочел в присутствии царя исторический доклад с пессимистическим заключением. Вспоминая об этом, Николай ему признавался:

«Слушая ваши мрачные предсказания, я себе говорил: вот теоретик-профессор, который не считается с мирным настроением своего государя. Я тогда думал: если когда-нибудь дойдет до переделки между нами и Австрией, — то это будет уже при Алексее Николаевиче (наследнике). И вот, четыре месяца спустя, меня заставили ввязаться в эту ужасную войну».

При настроении Вильгельма, война, все равно, была бы, с мобилизацией России или без мобилизации; а для соглашения с Австрией было уже поздно, после совершившихся фактов, признанных Германией, — хотя на этом и продолжал настаивать Грэй. Но это «меня заставили» Николая продолжало звучать, как сознание какой-то собственной вины, какой-то взятой на себя ответственности...

Кстати припомнить — и это не для шутки, — что касается «посторонних влияний», у Николая

были союзники. Это были князь Мещерский и Распутин. Он лежал, тяжело раненый в эти дни у одной из своих поклонниц, **{183}** Гусевой, но он утверждал, что, если бы не его болезнь, войны бы не было. Опять-таки, она бы была, но не приняла бы характера войны из-за русских претензий на Балканах и из-за русского «славянского расизма».

Гранки «Речи» были доведены до сведения кого следует, и убедили начальство в достаточности нашего патриотизма. Запрещение с газеты было снято, и номер появился с теми статьями, которые были написаны или набраны до запрещения, — не помню, на следующий же день или через день по объявлении войны. И. В. Гессен вспоминает, что между резкостями моих передовиц в те дни была фраза о «несоответствии между поводом и грозными перспективами европейской войны», и что когда против этой фразы, как раздражающей, послышались в редакции возражения, я ответил: «Придет время, когда мы должны будем ссылаться на то, что своевременно мы сказали это и сделали попытку предупредить несчастье». Это время пришло скорее, чем я ожидал.

4. КАК ПРИНЯТА БЫЛА ВОЙНА В РОССИИ?

Как принята была вообще в России война 1914 года? Сказать просто, что она была «популярна», было бы недостаточно. На этом вопросе нужно остановиться теперь же, во избежание недоразумений в дальнейшем. Конечно, в проявлениях энтузиазма — и не только казенного — не было недостатка, в особенности вначале.

Даже наши эмигранты — такие, как Бурцев, Кропоткин, Плеханов — отнеслись к оборонительной войне положительно. Рабочие стачки — на время — прекратились. Не говорю об уличных и публичных демонстрациях. Что касается народной массы, ее отношение, соответственно подъему ее грамотности, было более сознательное, нежели отношение крепостного народа к войнам Николая I или даже освобожденного народа к освободительной войне 1877-1878 г., увлекшей часть нашей интеллигенции.

Но, в общем, набросанная нашим поэтом картина — в столицах «гремят витии», а в **{184}** глубине России царит «вековая тишина» — эта картина оставалась верной. В войне 1914 г. «вековая тишина» получила распространенную формулу в выражении: «мы — калуцкие», то есть до Калуги Вильгельм не дойдет.

В этом смысле оправдывалось заявление Коковцова иностранному корреспонденту, что за сто верст от больших городов замолкает всякая политическая борьба. Это — то заявление, которое вызвало против Коковцова протесты его коллег, вроде Рухлова или даже Кривошеина, обращенные к царю: надо «больше верить в русский народ», в его «исконную преданность родине» и в его «безграничную преданность государю».

Жалкий провал юбилейных «Романовских торжеств» наглядно показал вздорность всех этих уверений. Конечно, русский солдат со времен Суворова показал свою стойкость, свое мужество и самоотверженность на фронте. Но он же, дезертировав с фронта в деревню, проявил с неменьшей энергией свою «исконную преданность» земле, расчистив эту свою землю от русских лендлордов. Были, стало быть, какие-то общие черты, проявившиеся в том и другом случае, которые заставляют историка скинуть со счетов этот русский «балласт», на котором просчитались царские льстецы в вопросах высокой политики, — как просчитался Витте при выборах в Думу.

Когда-то русский сатирик Салтыков отчеканил казенную формулу отношения крестьянина к тяготевшим над ним налогам: «ион достанет», «ион» не «достал», так же как «ион» и не мог на фронте пополнить своим телом пустоту сухомлиновских арсеналов. «Вековая тишина» таила в себе нерастраченные силы и ждала, по предсказанию Жозефа де-Местра, своего «Пугачева из русского университета»...

Переходя от русского «сфинкса» к русской «общественности», мы должны признать, что ее отношение к войне 1914-1918 гг. было несравненно сложнее, чем отношение тех же кругов к войнам 1850-х и 1870-х годов. Интеллигентская идеология войны подверглась в гораздо более сильной степени иностранным влияниям, пацифистским и социалистическим. Реалистические **{185}** задачи — прежде всего, обороны, а затем и использования победы, если бы она была исходом войны, — как-то отодвигались на второй план и находились у общественных кругов под подозрением.

Оборона предоставлялась в ведение военных, а использование победы — в ведение дипломатов. Общественные круги не могли, конечно, отказаться от участия в обороне, но участие в обсуждении плодов победы принимали только в смысле ограничительном, осуждая выяснение положительных

целей, как проявления незаконного «империализма». Положительное же отношение к самой войне и к ее реальным задачам предоставлялось на долю наступающего, то есть в данном случае — Германии.

Но в Германии представление о войне принимало мистический оттенок. Война считалась каким-то сверхчеловеческим явлением, возвышающим дух и крепящим силу народа. Так учили пан-германисты и германские генералы в стиле Бернгарди.

Войну нельзя было обсуждать, а надо было принять, как принимают явления природы, жизнь и смерть, или как веление свыше — для осуществления миссии, данной народу покровительствующим божеством для свершения его исторической судьбы.

Наше отношение к войне, конечно, ни к той, ни к другой крайности не подходило. С точки зрения реалистической, нашей ближайшей задачей было объяснить навязанную нам войну, ее происхождение, ее достижимые последствия. На этом общем понимании смысла войны, ее значения для России, ее связи с русскими интересами предстояло объединить русское общество. На меня, в частности, выпадала эта задача, как на своего рода признанного спеца. Ко мне обращались за объяснениями, за статьями, и я шел навстречу потребности, группируя данные, мало известные русскому читателю, и делая из них выводы о возможных для России достижениях.

Мои печатные объяснения в журналах, специальных сборниках, наконец, в Ежегодниках «Речи» могли бы составить несколько томов. Естественно, что я сделался предметом критики со стороны течений, несогласных принять войну в этом реалистическом смысле — **{186}** или вовсе ее не приемлющих. Для примера этой критики я напомню один закрепленный за мною эпитет, широко распространенный в левых кругах в то время.

Меня называли «Милюковым-Дарданелльским», — эпитет, которым я мог бы по справедливости гордиться, если бы в нем не было несомненного преувеличения, созданного враждебной пропагандой, в связи с незнанием вопроса. В Ежегоднике «Речи» за 1916 год можно найти проект решения этого вопроса в смысле, для меня приемлемом до соглашения 1915 г. Сазонова с союзниками (Привожу эту цитату: «Пишущий эти строки неоднократно высказывался в том смысле, что простая «нейтрализация» проливов и международное управление Константинополем не обеспечивают интересов России. Права интернациональной торговли в Черном море, несомненно, должны быть вполне обеспечены, по возможности, не только во время мира, но и во время войны. Исходной точкой для обеспечения этих прав мог бы служить доклад комиссии международного союза арбитража, представленный на конференцию союза в Брюсселе в 1913 г. (я сам готовил доклад для следующей конференции. — П. М.) ...В состав этих прав (минимальных. — П. М.) не входит ни отказ от суверенитета над берегами проливов, ни обязательство срыть укрепления проливов, ни обязательство пропускать военные суда через проливы... Между тем, право суверенитета над берегами и право возводить укрепления вполне признано за Соед. Штатами в Панамском канале договорами Гей-Паунсфота (1901) и Гей-Брюно-Варилья (1904). Режим этого канала и должен служить образцом для будущего режима проливов под суверенитетом России. Дальше этого идет лишь требование о запрещении военным судам проходить через проливы. Но это требование неизбежно вытекает, как из всей предыдущей истории русских претензий в проливах и особенно из прецедентов 1798, 1805, 1833 гг., так и из того обстоятельства, что Черное море есть закрытый бассейн, а не одна из мировых междуокеанских дорог. Прибрежным государствам Черного моря, конечно, должно быть предоставлено право свободного прохода военных судов наравне с Россией». (Прим. автора).).

Здесь еще не предполагается овладение Константинополем, обоими берегами проливов и ближайшими островами; но, конечно, признается, что самая «позиция, занятая Германией», «создала исключительно благоприятное положение для осуществления Россией ее главнейшей национальной задачи».

В то же время я отметил признание французского писателя Гошиллера, **{187}** что мое мнение «опирается не на старую славянофильскую мистическую идеологию, а на громадный факт быстрого экономического развития русского юга, уже не могущего более оставаться без свободного выхода к морю».

Широкие общественные круги с этими конкретными соображениями не считались. Даже приемля войну, они считали необходимым оправдать ее в более возвышенном смысле и искали компромисса между пацифистскими убеждениями и печальной действительностью. В этих попытках примирить оправдание массового убийства с голосом человеческой совести нельзя было не принять основной идеи. Так появились и широко распространились такие формулы, как «война против войны», «последняя война», «война без победителей и побежденных», «без аннексий и контрибуций» — и особенно приемлемая и понятная формула: война за освобождение порабощенных малых народностей. Все эти формулы открывали путь вильсонизму, Версалю, Лиге Наций. В Россию они пришли с некоторым запозданием, в переводе с французского.

Вообще говоря, царская Россия была заранее заподозрена в неприятии демократических лозунгов. Пацифисты Европы тяготились союзом с ней, как с неизбежным злом. Даже такой реалист, как Клемансо, прекрасно понимавший национальные интересы Франции и отчаянно за них боровшийся, уже после войны приветствовал освобождение союзников от идеологии старого русского режима, хотя

бы при посредстве большевиков. «Постыдный Брест-Литовский мир, — писал он, — нас сразу освободил от фальшивой поддержки союзных притеснителей (то есть России. — П. М.), и теперь мы можем восстановить наши высшие моральные силы в союзе с порабощенными народами Адриатики в Белграде, — от Праги до Бухареста, от Варшавы до северных стран... С военным крушением России, Польша оказалась сразу освобожденной и восстановленной; национальности во всей Европе подняли головы, и наша война за национальную оборону превратилась силой вещей в **{188}** освободительную войну». Мы можем теперь критиковать Клемансо и доказывать, что именно недостаточность войны за национальную оборону повредила цели освобождения «малых народностей». Тогда «освобождение» было еще впереди и оправдывало самую национальную оборону, как цель низшего порядка. Союзные правительства могли заключать с Россией «тайные договоры», но общественное мнение требовало отказа от «тайной дипломатии», публичного обсуждения «целей войны», намеченных вильсоновской программой и включавших освобождение «малых народностей», «порабощенных» не только Австро-Венгрией и Турцией, но и союзной Россией, которую русские эмигранты-сепаратисты уже объявили «тюрьмой народов». Изъятием из подозрений пользовались лишь русские социалисты, члены Второго интернационала, а для русской интеллигенции либерального типа создавалось в демократической Европе довольно затруднительное положение.

Но тут начиналась уже третья категория отношения к войне: категория полного непризнания. Социалисты, приявшие войну, хотя и в облагороженном виде, получили от неприявших осудительную кличку «социал-патриотов». Первый пример «предательства» подали тут германские социал-демократы, ставшие с первых дней войны на сторону своего правительства.

Но за ними последовали умеренные социалисты и демократических стран. Социалисты нейтральных стран, как Швейцария и скандинавские страны, заняли положение посредников между двумя лагерями приявших и неприявших, — но с уклоном в сторону этих последних. Их задачей стал пересмотр «целей войны» в самом радикальном духе признания «освободительных» из них — для скорейшего окончания «последней» войны.

За этим следовала уже дальнейшая эволюция непризнания. На крайнем фланге обнаружилась тенденция использования войны не для ее окончания, а для ее превращения в «освободительную» от правительств в пользу народов. Внешняя война между государствами должна была превратиться во внутреннюю войну между **{189}** классами. Собственно, на почве создания такой международной конъюнктуры, которая послужила бы для превращения войны политической в войну социальную, стояла до 1914 г. вся социал-демократия Второго интернационала. Но после того как «социал-патриоты» «изменили» решениям конгрессов, занявши национальные позиции, сохранилось крайнее крыло, державшееся прежней «дефетистской» точки зрения и стремившееся добиться превращения войны в борьбу между пролетариатом и капиталистами. Сперва их было немного; это были отдельные революционные кружки. Но во главе их стали русские эмигранты — социалисты-«большевики», поставившие целью выделить эти элементы из Второго интернационала, объединить их в новый «Третий интернационал» и поставить перед ним новую интернациональную задачу «мировой революции». На двух тайных конгрессах в Швейцарии (Циммервальд и Кинталь) первоначальные меры для достижения этой цели были приняты под влиянием русских; в Берне было создано зерно постоянной организации — в ожидании, пока обстоятельства дадут возможность перенести ее в Москву.

К отдельным стадиям описанного здесь вкратце процесса мне еще придется вернуться. Мне было важно подчеркнуть, что процесс этот составляет одно целое, что он проникает в Россию из Европы и что война составляет там и здесь его необходимую предпосылку. Почему только у нас он встретил наиболее благоприятную почву и развернулся без помехи до своего логического конца, — это вопрос особый, и его я пока затрагивать не буду. Отчасти на него ответят последующие события; но по существу — это вопрос нашей особой, русской философии истории.

5. «СВЯЩЕННОЕ ЕДИНЕНИЕ»

Как бы то ни было, в момент объявления войны все эти различия должны были стушеваться перед общим проявлением чувства здорового патриотизма при **{190}** вторжении врага в пределы России. Этот взрыв национального чувства везде был одинаков и везде проявился единовременно. Французы назвали его Union Sacrée, «священное единение». Даже Вильгельм считал нужным вызвать его, обманув германское общественное мнение и выдав свою наступательную войну за оборонительную. Россия в этом не нуждалась. Но на русской оппозиции лежал особый долг — торжественно засвидетельствовать это чувство по отношению к правительству, с которым мы боролись. В пределах

нашей партии тут не было разногласия. И в том же запрещенном, а потом разрешенном номере «Речи» появилось спешно составленное при моем участии воззвание Центрального комитета партии.

«Каково бы ни было наше отношение к внутренней политике правительства, наш первый долг сохранить нашу страну единой и неделимой и защищать ее положение мировой державы, оспариваемое врагом. Отложим наши внутренние споры, не дадим противнику ни малейшего предлога рассчитывать на разделяющие нас разногласия и будем твердо помнить, что в данный момент первая и единственная наша задача — поддержать наших солдат, внушая им веру в наше правое дело, спокойное мужество и надежду на победу нашего оружия».

В тот же день был опубликован и царский манифест, в котором выражалось пожелание, «чтобы в этот год страшного испытания внутренние споры были забыты, чтобы союз царя с народом укрепился и чтобы вся Россия, объединившись, отразила преступное наступление врага». Понимая значение объединенного выступления народного представительства, правительство назначило однодневную чрезвычайную сессию Думы 26 июля (8 августа н. с.).

В этом заседании, после речи Родзянко, выступили три министра, Горемыкин, Сазонов и Барк, и были сделаны заявления представителей национальностей — поляков, латышей, литовцев, евреев, мусульман, балтийских немцев и немецких колонистов на Волге — все, конечно, в одном смысле защиты родины, преданности государству и народу. **{191}**

Затем следовали заявления «ответственной оппозиции», прогрессистов и кадет. Наше заявление было написано мною и одобрено фракцией и Центральным комитетом, — особенно И. И. Петрункевичем. В нем подчеркивалась цель войны. «Мы боремся за освобождение родины от иноземного нашествия, за освобождение Европы и славянства от германской гегемонии, за освобождение всего мира от невыносимой тяжести все увеличивающихся вооружений... В этой борьбе мы едины; мы не ставим условий, мы ничего не требуем. Мы просто кладем на весы войны нашу твердую волю победы». Такое заявление, подчеркивая нашу солидарность с союзниками, индивидуализировало нашу собственную роль в войне, выдвигало ее оборонительный характер, ставило ей пацифистскую задачу разоружения и обусловливало сотрудничество с правительством одной задачей — победы.

«Священное единение», преподнесенное правительству добровольно — по-видимому, вопреки его опасениям, — продолжалось, однако же, недолго. И не по вине Думы оно было нарушено. Заседание 26 июля было единственным, — и мы ничего против этого не имели, в виду серьезности момента.

Но уже накануне мы узнали, что, по проекту Н. Маклакова, Дума не будет собрана до осени 1915 г., то есть больше года. Тут проявилось не только оскорбительное отношение к Думе, но прямое нарушение основных законов. Раз в год Дума должна была во всяком случае быть созвана для проведения бюджета. Совет старейшин решил немедленно заявить об этом Горемыкину. Но он отклонил свидание с нами. Мы тогда, в качестве представителей всех фракций Думы, обратились к Кривошеину, лучше других понимавшему положение и втайне рассчитывавшему заменить Горемыкина. Помню, что я оказался на одном извозчике с А. Н. Хвостовым, представлявшим думскую правую. Как бы подчеркивая единодушие всей Думы, мы выступили двумя первыми ораторами. Кривошеин согласился, что необходимо для поддержания создавшегося настроения приблизить срок созыва, и **{192}** доложил об этом Совету министров. Горемыкин пошел на уступку, и созыв Думы был определен «не позднее февраля» 1915 г.

Эта неопределенная формула появилась здесь впервые. Но Дума не вовсе отсутствовала за этот промежуток времени: продолжала работать ее бюджетная комиссия, и контакт с министерствами не прерывался. Между прочим, мы узнали за это время, что Н. Маклаков и Щегловитов подали государю записку, в которой указывали на необходимость скорейшего окончания войны и примирения с Германией, родственной России по политическому строю. Напротив, сближение с нашими союзниками они считали опасным для России. Я прямо поставил вопрос Сазонову при рассмотрении сметы министерства иностранных дел, правда ли это. Сазонов отговорился незнанием, а присутствовавшие тут же Н. Маклаков и Щегловитов молчали и смущенно улыбались. По другим слухам, может быть, совпадавшим с первыми, аналогичный по содержанию мемуар был подан кружком «объединенного дворянства». Здесь также указывалось на опасность революционного исхода в случае продолжения войны и на необходимость скорейшего заключения сепаратного мира с Германией.

Обещанная сессия Государственной Думы была назначена на 27 января 1915 г. Горемыкин поставил условием, чтобы она продолжалась всего три дня и была посвящена исключительно обсуждению и принятию бюджета. Возражать не приходилось, тем более, что бюджет уже был

обсужден в комиссии, и наше общее настроение было — поддерживать дух «священного единения». Однако, со времени заседания 26 июля произошли события, которые сильно изменили это настроение по существу. Они касались, как ведения войны при Сухомлинове, так и хода внутренней политики при Маклакове — и, частью, внешней политики при Сазонове.

Русское общество, конечно, не верило заявлениям Сухомлинова, что Россия готова к войне. Перед самым началом войны барон Таубе, добиваясь от видного представителя военного ведомства, что значит это **{193}** уверение, получил в ответ: «Мы готовы на шесть месяцев; война будет короткая». И царь в декабре 1914 г. говорил Рухлову: «Вот все нападали на ген. Сухомлинова, а посмотрите, как у него все блестяще». На самом деле, военные действия конца 1914 г. не давали еще повода проверить неподготовленность России на деле. Мобилизация прошла, хотя и с запозданием, но спокойно. Размещение войск на германской и австро-венгерской границах соответствовало плану. И первоначальное наступление на неприятельскую территорию отвечало соглашению с союзниками.

Катастрофа армии ген. Самсонова среди Мазурских озер могла объясняться непонятной медлительностью ген. Ренненкампфа. Зато на австрийском фронте шло удачное русское наступление. Взят был Львов. Попытка германцев придти на помощь австрийцам была удачно задержана передвижением русского фронта к северу, с угрозой окружения германцев у Лодзи. Снаряды тратились армией без счета, что отчасти и объясняло русские успехи. Словом, не было, казалось, основания ссориться с правительством. Правда, люди ближе знакомые с техникой военного дела уже тогда предвидели опасность. Гучков забил тревогу еще до начала войны. Соответственно своему темпераменту, да еще раздраженный своим невыбором в Думу, он уже в 1913 г. выступил на съезде октябристов с крайним предложением «перейти в резкую оппозицию и борьбу» — и притом не с бессильным правительством, а со стоящими за ним безответственными «темными» силами.

Он грозил иначе «неизбежной тяжкой катастрофой», погружением России в «длительный хаос» и т. д. Когда началась война, он сразу заявил, что она «кончится неудачей», и в декабре 1914 г., собрав «представителей законодательных учреждений» (я не присутствовал), «рисовал им дело, как совершенно безнадежное». Но это мрачное настроение не разделялось тогда ни его фракцией, ни нами.

Другое впечатление производила внутренняя политика Н. Маклакова. При нем сразу расцвела пышным цветом практика внедумского законодательства по **{194}** статье 87-й. Все изменения в государственном хозяйстве, вызываемые войной, спешно проводились решениями Совета министров и осуществлялись царскими указами. Началось соперничество министерства с военным командованием из-за пределов власти между фронтом и тылом. Внутри усилились преследования против всех проявлений общественности. Бесконтрольные распоряжения начальника штаба ген. Янушкевича, у которого великий князь главнокомандующий был «в кармане», нарушали самые элементарные права населения и давали для борьбы достаточный повод. Шли также преследования против национальностей; в частности, не соблюдалось обещание, данное полякам, и когда Родзянко передал царю жалобы поляков по этому поводу, царь ему ответил только: «Мы, кажется, поторопились».

В данном вопросе недовольство уже переходило в область международных отношений. При перенесении борьбы в пределы Царства Польского, польский вопрос действительно грозил превратиться в международный, если не были бы сделаны хотя бы минимальные уступки.

Занятие русскими войсками Восточной Галиции и переход русских войск через Карпаты также не дали того удовлетворения, на которое рассчитывали старо-славянофильские круги. Наши правые националисты в стиле гр. Бобринского, заняв административные посты в «Пьемонте украинства», начали преследовать украинское национальное движение и насильственно обращать униатов в православие. Тяжелое впечатление произвел арест униатского митрополита Шептицкого, пользовавшегося большим уважением и влиянием в крае. Все это создавало враждебное отношение населения к победителям.

При таком положении, не желая нарушать «священного единения», мы все же хотели объясниться с министрами на чистоту — и для этой цели за день до открытия заседаний сессии Думы 27-29 января 1915 г. устроили частное совещание думской Комиссии обороны с участием министров. Говорить на этом совещании пришлось, главным образом, Шингареву и мне. Шингарев очень ярко, в ряде конкретных примеров, обрисовал внутреннюю политику Маклакова. Я с своей стороны **{195}** остановился на отношении Маклакова к печати, к национальностям — полякам, евреям и к политике в Галиции, поставив требование, чтобы правительство внесло законопроект о польской автономии в Думу. В заключение мы потребовали отставки Маклакова, как нарушителя священного единения.

Объяснения министров прошли довольно мирно, за исключением Маклакова и Сухомлинова.

Сухомлинов нас успокаивал: все благополучно, все предусмотрено, и мы неправильно представляем себе положение. Пуришкевич, только что приехавший с фронта и видевший это положение на месте, отвечал ему резкой репликой, и мы заявляли Сухомлинову прямо, что он обманывает Государственную Думу. Маклаков, в своем ответе Шингареву, был груб и резок. На меня он тоже обрушился с раздражением, не рискуя, однако, давать конкретные ответы. Не только на нас, но и на присутствующих министров его выходки произвели отвратительное впечатление. Горемыкину перебросили записку Родзянки с просьбой смягчить неприятную картину. Он произнес несколько примирительных слов и обещал, между прочим, что проект автономии Польши будет внесен в Думу. Этим единственным обещанием (неисполненным) и закончилось закрытое заседание.

В открытых заседаниях бюджет прошел беспрепятственно. Мы заявили, что поддерживаем наше прежнее отношение к войне и не вступаем в борьбу с правительством. Но мы прибавили, в осторожных выражениях, что правительство с своей стороны этого перемирия не соблюдает и пользуется им, чтобы укрепить свои позиции во внутренней политике.

После январьской сессии отношения правительства, Думы и общественности в широком смысле стали быстро портиться. Между этой и следующей сессией Думы прошло еще полгода; правительство не только не воспользовалось этой отсрочкой, чтобы уладить свои отношения с обществом, но окончательно их расстроило. Две основных черты характеризуют этот период от января до июля. Во-первых, русская бюрократия оказалась совершенно неспособной организовать страну в тех **{196}** размерах, которые необходимы, чтобы бороться с могущественным противником, — и принуждена прибегать к помощи общества. Во-вторых, она продолжала подозревать общество в революционных намерениях и вступила в открытую борьбу с ним. Последствия этого разделения России на два лагеря развертываются ускоряющимся темпом — по мере того как следуют одна за другой русские неудачи на театре войны. К ним прежде всего и обратимся.

Как известно, победа при Марне, одержанная французами с русской помощью, положила конец германским расчетам на «молниеносную» войну и превратила маневренную борьбу в окопную. Вместе с тем германцы получили возможность обратить внимание на серьезную опасность на русском фронте. Русские войска стояли на германской территории и глубоко проникли на территорию слабейшего противника, Австро-Венгрии. Надо было прежде всего изгнать их оттуда. По данным нашего военного ведомства, на русском фронте в начале войны стояли всего 50 пехотных и 13 кавалерийских неприятельских дивизий. Постепенно переводя сюда войска с западного фронта, австро-германцы довели в сентябре 1915 г. их количество до 137 дивизий пехоты и 24 дивизий конницы. Русский фронт проникал прежде внутрь Восточной Галиции, Царства Польского и Восточной Пруссии дугой, вершина которой сходилась несколько западнее Варшавы. В три приема германо-австрийские войска выровняли эту дугу. Прежде всего Макензен, прорвав карпатский фронт у Горлице, освободил к концу июня Восточную Галицию. Затем, он же с юга и Галльвиц с севера вытеснили русских из «польского мешка», заняв к началу августа линию Нарева и Буга. В то же время германцы захватили Курляндию и среднее течение Немана (Ковно-Гродно). Наконец, в сентябре-октябре отдельными ударами Гинденбург совершил налет на Минск, на Пинск, Конрад на Ровно — все это уже в тылу выпрямленной линии наших окопов конца 1915 г. Июль и август были решающими месяцами, когда неприятельская угроза почувствовалась совсем близко.

На этом страдальческом пути и я потерял дорогую **{197}** мне могилу, которую никогда не пришлось увидеть. Около Холма был убит мой младший сын Сергей.

Это был талантливый мальчик, подававший большие надежды. После его смерти мне передали его переписку с московской кузиной, дочерью моего покойного брата; из нее я увидал, что он меня боготворил — и в то же время очень страдал от недостатка близости между нами. Нервный, тонко организованный духовно, он производил впечатление обреченного и беспокойно метался при переходе от детства к юности. Он хотел было идти по моим следам, — но скоро бросил филологический факультет университета, перебрался к московской семье, поступил в Петровскую академию, — где тщательно скрывал свое родство с «Милюковым», охраняя болезненно собственную индивидуальность. Началась война; вопреки моим настояниям, он пошел добровольцем (мой старший сын Николай служил уже в армии артиллеристом, потом летчиком), прошел сокращенные офицерские курсы и в новеньком мундирчике приехал прощаться.

Мы его проводили на Николаевском вокзале — отпуск был короткий — смущенного и гордого своим чином и провожавшим его денщиком. Потом — так же коротко и неожиданно — он пришел пешком в наш крымский домик, чтобы спросить моего совета. Кончивший из первых, он имел право выбора между двумя вакансиями: на южный фронт — или на Дальний Восток. Он, как будто,

колебался. Я сказал ему, где была настоящая борьба, с стесненным сердцем проводил его до Байдарской дороги...

Получил его первое письмо с фронта: он живо описывал свою первую атаку, восторгался солдатами, которые учили новоиспеченного начальника элементарным приемам борьбы. Тон письма был возбужденный и радостный. Немного спустя — получилось первое известие о его смерти. Генерал Ирманов был известен своей непреклонной суровостью. Этих новоиспеченных он посылал в опасные места в первую голову, охраняя свои кадры. Отряд сына отправлялся на отдых после отсиженного в окопах срока. Но австрийцы быстро наступали, и отряд был повернут в, пути, чтобы остановить **{198}** атаку. В этот день тринадцать таких же молоденьких офицеров погибли в импровизированной схватке. Но атаки не остановили наступления...

Денщик принес мне потом маленький чемоданчик с вещами для обихода, который я дал Сереже на дорогу; там лежали его свеженькие погоны, которые я хранил, как святыню... Никогда я не мог простить себе, что не посоветовал ему отправиться на Дальний Восток. Это была одна из тех ран, которые не заживают... Она и сейчас сочится...

Извиняюсь перед будущим читателем за это отступление и возвращаюсь к теме.

Первые известия о том, что на фронте неблагополучно, стали приходить к нам уже в конце января 1915 г. Но только в апреле мы почувствовали всю серьезность положения на фронте в Восточной Галиции. Снаряды и вооружение, заготовленные «на шесть месяцев», были истрачены. Солдаты мучились, взбираясь на обледенелые кручи Карпат, а когда наступала очередь использовать успех, оказывались без снарядов и патронов. Наши союзники, предвидя, что война продолжится, заранее озаботились созданием в большом размере военной промышленности. Что же было у нас?

Главное Артиллерийское управление, возглавленное великим князем Сергеем Михайловичем, не имело никаких средств восстановить русское вооружение. Оно принуждено было обратиться с заказами к тем же союзникам. Но, занятые своими нуждами, они не особенно заботились о своевременном выполнении русских заказов. Доставка их через дальний север также представляла затруднения. Обращение к частным комиссионерам вызывало слухи о злоупотреблениях, взятках, высоких комиссионных и т.д.

Русским промышленникам были предложены неприемлемые условия. В виду очевидной необходимости обратиться к силам страны, после майских и июньских неудах на фронте, царь, наконец, согласился организовать при правительстве, в спешном порядке ст. 87, Особое совещание по обороне и открыл его лично, заявив, что в минуту тяжелых испытаний он сам будет руководить работами совещания. В состав совещания **{199}** были привлечены члены законодательных палат, представители промышленности, финансового мира — и представители соответствующих ведомств.

Конечно, обещание царского руководства осталось неисполненным, и первоначальное доверие сменилось обратным настроением. Наступил момент, когда Николай уже на просьбу Совещания выслушать лично доклад о положении отказался посетить Совещание.

Санитарное дело на фронте было возглавлено «верховным» начальником принцем Ольденбургским, человеком капризным, упрямым и крайне ограниченным. Оно находилось в плачевном состоянии. Докторский персонал был недостаточен; самых необходимых медикаментов не было; раненых сваливали на полу товарных вагонов, без медицинского присмотра, и они сотнями умирали в поездах. Это был пункт, наименее защищенный от воздействия общественности, и на нем она раньше всего пробилась через поставленные ей препоны.

Между фронтом и тылом стояла глухая стена. В тылу царствовал Маклаков, Тыл был еще менее фронта приспособлен к ведению серьезной и долгой войны. Не было никакой системы в заготовке продовольствия для армии, и транспорт как рекрут, так и припасов страдал не только от недостаточности железнодорожной сети, но и от неумения организовать движение по ней. Перевозки производились от случая к случаю, пробки поездов скоплялись на узловых станциях и останавливали всякое движение. Вагоны приходилось иной раз сжигать или спускать под насыпь, чтобы освободить путь. В результате страдали и армия, и местное население, и пассажирское движение, и перевозка торговых грузов.

Разобраться во всем этом и организовать Россию для войны правительство было решительно не в состоянии. У него были деньги, но не было людей. Оно могло послать в провинцию чиновников, но это были чужие стране люди, бюрократы, знающие канцелярию с ее волокитой, но не привыкшие к живому делу, которое они неизменно портили и тормозили. А между тем, тут же, на месте, были люди, знающие страну изнутри, **{200}** знакомые с ее потребностями и привыкшие их удовлетворять. Это были люди

земли, земские люди. Не дожидаясь распоряжений сверху, они уже принялись делать нужное дело. И они делали его не порознь, а сообща. Для организации России нужна была их собственная организация, и они ее создали.

Но — из этой самой земской организации в либеральные годы 1904-1906 вышел «кадетизм», и правительство ей органически не доверяло: в ней оно видело врага самодержавия и рассадник будущей революции. Маклаков был в особенности заряжен этой идеей.

Но он ничего не мог поделать. У земской организации уже была своя традиция. Не узаконенная, не получившая официальной легализации, она уже — самозванно, «явочным порядком» — работала на «помощь больным и раненым» во время Японской войны.

Четырнадцать губернских земских управ, с центром в Москве, выдвинули человека, который стал душой этой организации. Это был князь Георгий Евгениевич Львов. На этом посту он оказался незаменим и его нельзя было обвинить в «политике». «Политика» и «дело» были для него двумя различными областями жизненной деятельности, и он избрал вторую. К «политике» и ко всяким отвлеченным идеям он относился с недоверием; зато — «дело» он знал с корней, с земли, с русской деревни — и делал его превосходно, не жалея сил и умея объединить около себя таких же деятельных сотрудников. На полях Маньчжурии, при тамошней неразберихе, они не могли сделать многого; но то, что они успели сделать, стояло выше всякой канцелярщины и заслужило общую любовь. Куропаткин сделался другом Львова и рекомендовал его Николаю II; в либеральных кругах России имя Львова прогремело, и печать разнесла его повсюду, может быть, выше заслуги, как признает его биограф Полнер. С «кадетизмом» продолжали его связывать больше личные отношения; а «левые», из-за его готовности сноситься с кем угодно, со Столыпиным, с Красным Крестом, если было нужно для пользы «дела», стали смотреть на него косо. Ликвидировав маньчжурские отряды, Львов не распустил свою когорту, а перенес свою **{201}** деятельность на обслуживание других народных бедствий.

В 1905 г. в Петербурге ожидали неурожая в 138 уездах двадцати одной губернии, и опасались, что число пострадавших может дойти до 18 миллионов. Г. Е. Львов вступил в союз с правительственным Красным Крестом и получил от него значительные средства. В 1906-1907 гг. помощь голодающим продолжалась. В 1908 г. Львов направил Земский союз на организацию переселенческого движения на Дальний Восток и лично исследовал глухие речные пути неведомого края; в 1909 г. он съездил В Канаду для изучения приемов американской колонизации и добрался до духоборов. За эти годы «успокоения» Столыпин формально объявил земскую организацию нелегальной, и ей пришлось свернуться. Но после смерти Столыпина опять поднялся вопрос о голодной кампании (1911-1912). Коковцов заявил делегатам от земцев, что «общеземская организация не может быть допущена к борьбе с голодом». Тем не менее, разрешен был последний (закрытый) съезд 20 представителей от 12 губерний для разассигнования средств, и помощь отдельных земств голодающим продолжалась.

Так Земский союз дотянул до 1913 г. — времени Четвертой Думы. При Львове, с 1905 г., он давно отказался от «политики» и продолжал заниматься исключительно благотворительной деятельностью. К началу войны Союз обладал твердой базой сочувствия в общественных кругах. Но в правительственных он считался тем более неблагонадежным по «кадетизму» и опасным, как очаг общественного движения. Союз разделял эту роль с Государственной Думой и на нее опирался. Таково было положение, когда, в самом начале войны, московская земская управа подняла вопрос о создании «Всероссийского Земского союза помощи больным и раненым воинам». Под настроением «священного единения» от этого почина нельзя было отказаться. Львов был принят царем, который высказал «сочувствие» начинанию, и 25 августа 1914 г. высочайшим повелением было объявлено о существовании и деятельности Союза, аналогичного Красному Кресту.

Правда, от тыла **{202}** чертой от Москвы до Киева была отделена часть России, где «верховным» начальником по санитарной части остался принц Ольденбургский. Но кипучая деятельность земцев скоро прорвала эту границу и вошла в непосредственное соприкосновение с неотложными нуждами фронта. Фронт, даже нагляднее тыла — оказался в ведении земцев. Земская работа по качеству стояла выше правительственной, а, главное, она приходила на помощь скорее. Между военными властями и отделами Земского союза создались личные связи. От хирургических инструментов и перевязочных материалов до эвакуационных поездов, распределительных пунктов, медицинского персонала, госпиталей — все было предусмотрено вовремя и обслужено земской организацией.

Кроме 12 миллионов земских отчислений, на это понадобились громадные средства, которые принуждено было дать правительство. До конца июня 1915 г. правительство отпустило земцам 72 миллиона; к 1 января 1916 г. общая сумма ассигновок выросла до 187 миллионов. К концу 1916 г. число

земских учреждений разного типа, разбросанных по России и на фронте, составляло до 8.000, и работали в них сотни тысяч людей. Понятно, что с таким размахом правительству нельзя было не считаться.
И, однако же, политический антагонизм между общественностью, представленной земством, и правительством, несмотря на аполитичность Г. Е. Львова, не только не смягчался, но продолжал обостряться по мере земских успехов. Главную роль в этом обострении сыграл Маклаков в качестве министра внутренних дел. Когда, в ноябре 1914 г., Родзянко явился к Маклакову из ставки с письменным удостоверением великого князя Николая Николаевича и с просьбой разрешить съезд общественных организаций, Маклаков отвечал буквально: «Я не могу дать вам разрешение на созыв такого съезда: это будет нежелательной и всенародной демонстрацией в том направлении, что в снабжении армии существуют непорядки. Кроме того, я не хочу дать это разрешение, так как под видом поставки сапог (специальная просьба главнокомандующего) вы начнете делать **{203}** революцию».

«Мы расстались в озлоблении друг против друга», вспоминает председатель Государственной Думы. В своих показаниях перед чрезвычайной комиссией Маклаков излагает этот разговор иначе: он-де предлагал Родзянке не возглавлять съезда земских управ председателем Думы, а отдать под председательство военного министра или главного интенданта. Но это звучало иронией, а истинная мысль Маклакова вскрылась перед той же комиссией, в ряде его писем к царю за время от 14 октября 1914 г. вплоть до его отставки (7 июля 1915 г.). «Дума прокладывает путь к свободе революции». «Я борюсь против неудержимо растущего у всех стремления, забыв царя, в одном общественном мнении видеть начало и конец всего». «Родзянко — только исполнитель, напыщенный и неумный, а за ним стоят его руководители, гг. Гучковы, кн. Львов и другие, систематически идущие к своей цели».

И наконец, уже после отставки, накануне переворота: «Дума и союзы несомненно толкнут часть населения на временные осложнения... Власть должна... быть уверенной в победе над внутренним врагом, который давно становится и опаснее, и ожесточеннее, и наглее врага внешнего» (9 февраля 1917). «Вы, в сущности, объявляете всю Россию внутренним врагом», заметил ему на это председатель комиссии.

Это было последовательно, но в начале войны Маклаков еще оставался одинок во всем Совете министров. Дальше идет целый процесс постепенной изоляции царской семьи от «внутреннего врага», и ряд попыток общественных кругов предотвратить этот путь к перевороту.

В мае 1915 г., по приезде Родзянко с Галицийского фронта, выяснилась общая картина русского отступления. С этого момента мы решили в Думе настоять на скорейшем возобновлении сессии Думы — и притом, на этот раз, длительной сессии. В Думе тогда работало небольшое количество членов; но мы просили председателя созвать всех членов, и они съехались в первую неделю июня. Мы внесли тогда наше предложение о сессии в совет старейшин. На переговоры с Горемыкиным
{204}была затрачена вся вторая половина июня. Но старик не сдавался, уклоняясь и от определения срока созыва Думы, и ее длительности. Однако же, положение настолько изменилось с января 1915 г. — и на театре войны, и в области деятельности общественных организаций, что выдерживать линию Маклакова (на которую царь вначале согласился) было долее невозможно. Нельзя было и игнорировать существование Государственной Думы, напоминавшей о себе работами бюджетной комиссии. Председатель Думы с своей стороны не переставал докучать царю своими докладами о тяжелом положении внутри страны и на фронте. Царь его не любил; Маклаков ненавидел.

Но, по своему положению, Родзянко выдвигался на первый план в роли рупора Думы и общественного мнения. «Напыщенный и неумный», говорил про него Маклаков. «Напыщенным» Родзянко не был; он просто и честно играл свою роль. Но мы его знаем: он «вскипал», надувался сознанием своей великой миссии и «тек во храм». «Неумен» он был; в своих докладах, как в своих воспоминаниях, он упрощал и утрировал положение, — вероятно, и под влиянием Гучкова. Паникерство было ему свойственно. Курьезно было то, что, пугая царя, он с противоположной стороны подтверждал прогноз Маклакова.

При всем том, не считаться с ним было нельзя. Закулисная кухня нам не была известна, но там, очевидно, решили уступить, и Горемыкин получил санкцию царя — собрать Думу «не позднее августа». Нас это не удовлетворяло, и мы решили в сеньорен-конвенте добиться приближения срока. На этот раз Горемыкин не отказал в приеме нашей делегации; говорить с ним было поручено мне, очевидно, в виду необходимости поднять тон разговора. Я действительно поднял тон и говорил без стеснений, ссылаясь на оба фактора изменившегося положения: неудачи на фронте и общественное недовольство, созданное политикой правительства. Я указывал на невозможность встретиться в Думе с главными виновниками этого недовольства и на необходимость отставки Маклакова и Сухомлинова. Я

говорил очень долго; Горемыкин **{205}** слушал молча; но видно было, что перед свиданием он уже на что-то решился. Он не говорил, как всегда: «пустяки, все образуется». Но он держался буквы указа: «не позднее августа» и сослался на то, что нужно еще приготовить законопроекты для внесения в новую сессию. Ему было отвечено, что у Думы имеются свои законопроекты, — а правительственные могут быть внесены позднее.

После долгих настояний Горемыкин несколько уступил и определил день созыва Думы — 19 июля. Указ был опубликован за десять дней — 9 июля. В частных беседах с Родзянкой и с нами он таинственно намекал, что при настоящем положении общественного мнения созыву должно предшествовать «изменение обстоятельств».

Скоро смысл этого намека объяснился. 7 июля, неожиданно для себя, — как царь обыкновенно поступал с своими министрами, — был уволен Маклаков. Его преемником стал кн. Щербатов, человек безличный, но добропорядочный. 11 июля был уволен и Сухомлинов — так же неожиданно для себя, как и Маклаков. Третий участник этого сплоченного трио, заслужившего особое негодование русской общественности, Щегловитов получил отставку несколько позже и был заменен А. А. Хвостовым. Ушел и Саблер, замененный на посту обер-прокурора синода А. Д. Самариным. Самарин понравился царю своим содействием во время юбилейной поездки 1913 года. В то же время он был популярен в дворянской среде и особенно в московских кругах. Это личное назначение царя оказалось неудачным для власти, потому что Самарин, человек правых убеждений, был слишком честен и непреклонен в своих религиозных убеждениях и мешал извилистой и нечистой церковной политике, корни которой через Распутина восходили к императрице.

Путь к открытию июльской сессии Думы был теперь свободен. Наиболее ненавистные имена исчезли со сцены и уже не могли служить мишенью для думских нападений. Тем не менее, Дума не могла быть удовлетворена состоявшимися назначениями, за исключением ген. Поливанова, сблизившегося во время Третьей Думы с **{206}** Гучковым и вообще с думскими кругами. Особенную тень на состав правительства продолжало бросать сохранение во главе его Горемыкина. Этот человек лежал неподвижным камнем на правительственной политике и символизировал своей личностью отсутствие какой-либо перемены по существу в ее направлении. И хотя в обновленном составе министерства появилась теперь «либеральная» группа, руководство в которой фактически принадлежало Кривошеину, для Думы, успевшей объединиться и найти свое большинство, этого было далеко недостаточно. Борьба с правительством, очевидно, была безнадежна и теряла интерес. На очередь выдвигалась апелляция Думы непосредственно к верховной власти. И сессия открылась рядом заявлений о том, что с данным правительством сговориться невозможно — и не стоит сговариваться. Дума почувствовала за собой силу для таких заявлений, прежде всего, в своем собственном объединении — в так называемом прогрессивном блоке.

6. ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК

Создание и судьба прогрессивного блока составляет, несомненно, отдельный эпизод в истории развития предреволюционных настроений. Его политический смысл заключается в последней попытке найти мирный исход из положения, которое с каждым днем становилось все более грозным. Средство, для этого употребленное, состояло в образовании, в пределах законодательных учреждений, большинства народного представительства, которое взяло бы в свои руки руководство дальнейшими событиями. Момент для такой попытки, как видно из сказанного, был довольно благоприятен. Настроение в обеих палатах сложилось однородное, несмотря на различия политических партий. Это был, своего рода, суррогат «священного единения» — после того как оно было разрушено между правительством и страной. Но предстояло превратить это настроение в политический факт. Это оказалось моей специальной миссией.

Меня **{207}** называли «автором блока», «лидером блока», и от меня ждали направления политики блока. Возвращаясь мыслью к тому моменту, я теперь мог бы сказать, что это был кульминационный пункт моей политической карьеры. Я подошел к нему не случайно. Такие прозвища, как «лидер партии», «лидер думской оппозиции», «лидер Думы», каким я символически был избран для последнего разговора с Горемыкиным, сами собой показывали путь, каким я попал в «лидеры блока». Эта роль не была, таким образом, продуктом личного выбора: она была на меня возложена, так сказать, автоматически, — и так же мало, как я искал предыдущих этапов, я искал этого. Может быть, я мог бы сделать больше, если бы вообще был политическим «искателем». Но я не создавал положений; я брал их готовыми, как они складывались, и в их пределах старался сделать максимум возможного. Может

быть, поэтому в своей политической линии я не падал слишком низко, — но зато и не поднимался слишком высоко.

Я не мог особенно гордиться своей ролью и потому, что понимал ее неизбежные ограничения. Государственная Дума давалась мне в руки; но это была Дума третьего июня. Теперь тот центр, который был нормальным для ее предшественницы, передвинулся влево, и я оказался в центре. Но развертывавшиеся события могли передвинуть его дальше — за пределы Думы; и это было то, чего прогрессивный блок хотел избежать. Но мог ли он? Помимо опасности сверху, от династической мономании царской четы, не грозила ли опасность снизу, — та, которою постоянно пугали и справа, и слева, хотя в порядке дня она еще не стояла? Я все-таки был историком — и изучал историю общественных движений. Я не мог не знать, что в этих движениях проявляется динамизм, независимый от личной воли. Если бы я даже этого не знал, то мой собственный опыт 1905 года должен был меня научить этому. Я испытал тогда тщету своих личных усилий направить волевой поток революции в русло сознательного использования. А теперь то, что готовилось, грозило принять гораздо более **{208}** широкие размеры, чем прежде. Я как раз в эти месяцы перечитывал Тэна — с иным настроением, нежели то, когда, в студенческие годы, противополагал ему Мишле. Наш русский опыт был достаточен, чтобы снять с «революции», как таковой, ее ореол и разрушить в моих глазах ее мистику. Я знал, что там — не мое место.

Правда, рядом стояли люди, — и число их быстро увеличивалось, — которые надеялись предупредить стихийную революцию дворцовым переворотом, с низложением царской четы. Из них я уже называл Гучкова. В своих показаниях перед чрезвычайной комиссией Гучков, задним числом, очень уверенно развивал свой тезис — и даже делал из него обвинительный акт по адресу людей, пропустивших момент. Он считал «исторической виной русского общества» то, что оно «не взяло этот переворот в свои руки», а «предоставило его стихийным силам». Я не знаю, насколько это обвинение падает на самого Гучкова, который любил создавать эффектные положения, кончавшиеся провалами. Но он остался верен своей мысли до самой кончины, и, насколько я знаю, его обвинение падало и на меня лично. Не вступая в полемику, я пока лишь скажу, что в период создания прогрессивного блока, в 1915 году, просто не существовало еще того настроения, которое соответствовало бы намерениям Гучкова. Оно появилось и распространилось повсюду — именно как результат неудачи блока — лишь год спустя, во второй половине 1916 года.

Мы увидим, какое употребление сделал из него тогда «блок». Нужно пояснить, что, собственно, период «возвеличения и падения» активной политики «блока» относится к короткому промежутку между маем и сентябрем 1915 г.: он связан с подготовкой, деятельностью и отсрочкой «длительной» сессии Думы. Но политические последствия дальнейшего существования «блока» сказываются и дальше — вплоть до февральского переворота 1917 года.

Возвращаясь к моей роли в «блоке» за этот период, прибавлю еще, что я не мог бы относить своего успеха и к своим личным качествам. Они вытекали из моего политического положения. Я был для «блока», так **{209}** сказать, пределом возможных для этой Думы достижений — и границей против дальнейших угроз. Так, В. В. Шульгин, помешавшийся на еврейском вопросе, не скрывал, что считает меня своего рода гарантом против еврейского мирового «засилья». Октябристы-помещики в стиле Шидловского должны были признать, что кадетская аграрная программа, несмотря на «принудительное отчуждение», все же является ближайшим разумным пределом их уступок — и способом сохранить передачу крестьянам земель в рамках законности. Все вместе ждали от меня отпора социальным и политическим требованиям крайних партий. И, наконец, даже националисты Четвертой Думы могли убедиться, за время войны, в искренне патриотическом настроении партии Народной свободы. Прошло то время, когда в Третьей Думе Гучков не пустил нас в комиссию обороны под предлогом сохранения государственной тайны: теперь в вопросах обороны мы с Шингаревым имели первый голос, и нам же приходилось оберегать государственные тайны от правых.

После этого необходимого личного отступления перехожу к подробному рассказу. Так как мы хлопотали об открытии длительной сессии Думы, то первым шагом к подготовке ее работ становилась выработка программы ее занятий. Этим я и занялся прежде всего, и уже в мае, готовя свой доклад для предстоявшей конференции партии (6-8 июня), подготовил список неотложных проектов для думского законодательства по важнейшим вопросам внутреннего строительства. Мы, конечно, не могли ждать внесения правительственных законопроектов и ограничиваться «вопросами войны», как хотел бы Горемыкин; но, с другой стороны, надо было выбирать из думских проектов то, что могло объединить Думу. В первую голову тут стояли на очереди серьезные законопроекты по городскому самоуправлению и созданию волостной земской единицы; далее следовали меры по обновлению

администрации и примирению с народностями империи. Конференция партии обсудила и приняла мой проект, и я его внес на обсуждение совета **{210}** старейшин. Обсуждение шло по фракциям, и тут обнаружились разногласия справа и слева. Я считал свой проект минимумом для данного момента. Прогрессисты и левые хотели включить туда законопроекты о политических свободах, нами же внесенные и обсуждавшиеся в Четвертой Думе. Я от этого отказался. Правые не соглашались на включение вопросов внутренней политики. Прения продолжались в течение всего июня, и при этом уже обрисовалось основное ядро будущего «блока». Благодаря отсортировке двух крайних флангов, удалось сохранить содержание программы в том виде, как мне хотелось.

Труднее было разрешить второй вопрос: каким образом можно осуществить эту программу, которая вышла довольно радикальной. Было совершенно ясно, что с кабинетом Горемыкина, хотя и обновленным, ее провести в жизнь нельзя. И здесь начались главные затруднения в обе стороны. В первом же заседании, где заговорили о желательном кабинете, было названо имя Кривошеина, как премьера. Это, конечно, меняло весь политический смысл блокирования, и мы с этими посредниками, вроде П. Крупенского, порвали. Назывались и другие имена — Хвостова, даже Гучкова; но это нас не устраивало. Тогда, параллельно с нашим, заговорили справа о «черном блоке», рассчитывая на поддержку правой части Государственного Совета. Депутаты-националисты, как Балашов и Чихачев, попробовали противопоставить нашей идее блока свою: создание информационного бюро между правыми группами обеих законодательных палат. В августе эта разница намерений привела к открытому конфликту.

Нашей опорой в этой борьбе были общественные организации, успевшие, так сказать, обрасти Думу к этому времени. Со времени доблоковского периода их собственное настроение успело значительно измениться. Даже строго деловая земская организация кн. Львова начинала проникаться политическими настроениями. Это можно проверить на поднимавшемся настроении ее съездов. На своем первом съезде, 12 марта 1915 г., близко **{211}** следовавшем за демонстрацией «священного единения» в короткой сессии Думы 27-29 января, проявлялся патриотический восторг, посылались верноподданические телеграммы представителям царской фамилии, кричали «ура» в честь государя. На втором съезде, созванном по телеграфу на 5 июня в дни отступления армии и наших хлопот об открытии длительной сессии, настроение было другое. Съезд констатировал, что «великое народное дело ведется не на тех началах, которые обеспечивают его успех». «Конечная победа обеспечивается только полным напряжением всех народных сил, при полном взаимном доверии правительства и страны». Слово было произнесено. Съезд говорил о «полном согласии народа в лице Государственной Думы, как органа народного представительства, с высшими органами государственного управления». Мы получали поддержку — и, вместе, требование. Львов звал земцев «молить монарха о немедленном созыве Государственной Думы». Это было в июне.

Москва пошла дальше земцев, оправдывая свою старую репутацию оппозиционности. Став во главе объединения городов уже в либеральные 1904-1905 г.г., она внесла в это объединение не только чисто деловую работу, но и политический дух «кадетизма». Первопрестольная, как рассказано в этих воспоминаниях, была родиной кадетизма — и таковой осталась после перехода центра политической деятельности в Петербург, вслед за Думами. Но при этом она сохранила свободу от тех рамок, в какие ставила петербургский центр думская деятельность. Поприщем для практического применения кадетских стремлений в Москве была Городская дума, и около нее сосредоточилась борьба, в которой «политика» неизбежно связывалась с «делом». По старому закону 1892 г., Москва управлялась горстью гласных, выбираемых купечеством. Из полуторамиллионного населения только $9^1/_2$ тысяч обладали избирательным правом, и из них не более 3 тысяч являлись на выборы.

В результате, группа «стародумцев», назвавшая себя «умеренно-деловой» или «умеренно-беспартийной», **{212}** составляла большинство и верховодила в Думе, тогда как небольшая группа представителей московской интеллигенции, под именем «прогрессивной», вела с ней борьбу за демократизацию городского управления. Борьба оказалась далеко не безнадежной, и в 1913 г. «прогрессисты» провели выбор в городские головы князя Львова против Н. И. Гучкова, брата Александра Ивановича, тогда же провалившегося на выборах в депутаты Думы по первой курии. Но это была «кадетская» противоправительственная демонстрация!

По закону 1892 г., городской голова назначался верховной властью из двух кандидатов, выбираемых думой. Маклаков, ставший тогда министром, воспользовался этим, чтобы не утвердить Львова, — и систематически не утверждал всех других кандидатов, предлагаемых московской Думой, грозя, по закону, назначить в Москву правительственного заместителя. Одно время выплыла даже кандидатура на этот пост Штюрмера, стремившегося пролезть повсюду, где только открывалось

злачное место. Но это назначение было бы уже слишком неприлично для белокаменной, и отпало. С началом войны пришлось утвердить выбранного думой кандидата М. В. Челнокова. Чтобы подчеркнуть деловой характер выбора, Челноков отказался одновременно от участия в партии к. д. Это был коренной русак, самородок, органически сросшийся с почвой, на которой вырос. Со своим тягучим, как бы ленивым ма-а-с-ковским говорком, он не был создан для ораторских выступлений (как и Львов с своим деревенским слэнгом) — и был не совсем на месте в роли депутата Второй Думы; зато он был очень на месте, как «свой», в московской купеческой среде; и всюду он вносил свои качества проницательного ума, житейской ловкости и слегка скептического отношения к вещам и людям. Своего «кадетского» налета он, все же, с себя стереть не мог и в общем, «хоровом» порядке шел вместе с нами.

С начала войны Городской союз соединился, если не формально, то фактически, с Земским в общей работе по обслуживанию раненых, а затем беженцев, запрудивших внутренние губернии массовым исходом из
{213} губерний прифронтовых и оккупированных неприятелем. И он подвергся одинаковым препонам и преследованиям сверху. Но, под влиянием московской интеллигенции, он не пережил примирительных иллюзий кн. Львова и шел дальше и раньше в своих политических выводах. Отсюда пошла и неожиданная для меня левизна думской фракции «прогрессистов», которые, как отчасти уже отмечено, вдруг перескочили через нас в идейное соседство с думской крайней левой и отделились от «блока». Сейчас увидим болезненные для меня последствия этого.

Но предварительно остановлюсь еще на третьем общественном союзе, также влиявшем на настроения в Думе: на Военно-промышленном комитете, возглавленном А. И. Гучковым. По своей связи с крупной русской промышленностью, работавшей на оборону, этот комитет должен был оказаться самым умеренным — и правительство должно было с ним особенно считаться. Но у него был другой фронт — заводские рабочие — и тут он оказался самым левым. В состав Военно-промышленного комитета была введена «рабочая группа» — представительство от заводов — и ей особенно покровительствовал Гучков. Состав этого представительства — социал-демократический — представлял умеренное течение и возглавлялся очень разумным и толковым рабочим Гвоздевым. Но в том же составе появился некий Абросимов, очевидный провокатор, произносивший зажигательные речи и науськивавший группу на революционные выступления. Было очевидно, что тут работала охранка (что и подтвердилось потом), и более чем вероятно, что цель ее была та же, что и перед большевистским восстанием декабря 1905 г.: вызвать искусственно революционную вспышку — и расстрелять ее. Все это было бы достаточно невинно, если бы в то же время рабочая группа не занялась организацией своих отделений в провинции, а с другой стороны не началась бы серия рабочих волнений в стране, — правда, вызванных, в первую голову, не политическими, а чисто экономическими причинами: ростом цен на съестные припасы, обесценением рабочей платы и т. д. При **{214}** условии этих осложнений, положение на заводах становилось довольно тревожным, и подозрительность властей по отношению к Военно-промышленному комитету должна была обостриться.

При таком положении «блоку» пришлось формулировать свой взгляд на вопрос об обеспечении проведения его программы соответственным составом правительственной власти. Я лично настаивал и настоял на принятии формулы, по которой желательное для блока правительство должно было обеспечить «единение со всей страной и пользоваться ее доверием». Эта формула была умышленно неопределенна и не предрешала состава такого правительства; зато она могла объединить все части блока. Прогрессисты этим не удовлетворились и внесли свою формулу «министерства, ответственного перед народным представительством». Это означало — осуществление парламентарного строя, т. е. своего рода переворот, на который заведомо не могли пойти ни верховная власть, ни правые части блока. Я решительно отказался поддерживать эту формулу. Но Городской союз ее принял, тогда как Земский союз принял мою — и остался ей верен до самого конца. При малом распространении политических знаний, разница между двумя формулами могла остаться мало замеченной в широкой публике. Но наши противники и справа, и слева не замедлили ее расшифровать, что заранее грозило отрицательными последствиями для блока. Я был, таким, образом, обойден, и мне предстояло защищать выбранную мною позицию от двойного напора — в особенности, от напора слева. Вместе с тем определялась и окончательная позиция Думы по отношению к перераставшим ее общественным течениям.

В выборе у меня не было сомнений. Если Думе суждено было сыграть самостоятельную роль, то она могла сыграть ее, лишь оставаясь сама собою. Общественные организации для данного периода уже признали ее, как таковую, опираясь на нее, как на настоящее народное представительство. С другой стороны, я слишком хорошо знал, что Дума третьего июня была Ноевым ковчегом, содержавшим в себе

всякого рода по паре, **{215}** в ожидании грозившего потопа. Неизбежно ставился вопрос: по окончании потопа кто же в этом ковчеге спасется для обновленной жизни? Неужели выйдут из него невредимыми черносотенцы всех типов с их казенными субсидиями? Неужели будут процветать стоеросовые помещики-дворяне типа Маркова II, царствовавшего в Курской губернии, или фамилии Крупенских, владевших Бессарабией, как своей вотчиной? Этого я, разумеется, думать не мог. Тогда, стало быть, роль Думы должна была представляться временной и переходной. И, все же, надо было укреплять именно эту позицию. Здесь проходили окопы, около которых велась очередная борьба. И эта государственная машина находилась в моем управлении. Я на это шел, и из этого вытекали определенные последствия, к которым вернемся.

Третьим шагом к созданию «блока», после выработки его программы и определения характера будущего правительства, — было укрепление блока путем сближения Думы с другими реальными силами, помимо уже состоявшегося — с общественными организациями. Здесь, прежде всего, стояла задача укрепления связи с армией. Эта задача, конечно, была разрешена всеми предыдущими действиями Думы и общественных организаций.

Сближение с армией той и других шло, собственно, через голову правительства: это был совершившийся факт. Оказалось, однако, что и тут предстоял еще дальнейший выбор. Армия возглавлялась главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем, которого первый земский съезд чествовал названием «русского богатыря». Но именно это положение вызвало оппозицию к нему со стороны царской четы. Императрица уже боялась за своего супруга; стали ходить слухи, что Николай Николаевич подготовляет свою кандидатуру на царский престол.

Она к этому времени рассорилась с «черными женщинами» (черногорками), с которыми раньше занималась столоверчением и магнетизерством; одна из них (Анастасия) была женой Николая Николаевича. С другой стороны, и правительство, даже в своем обновленном составе, **{216}** имело счеты с военной властью из-за постоянного вмешательства ее в область гражданской компетенции. Горемыкин предупреждал Совет министров, что этот конфликт поведет к отставке главнокомандующего и к замене его самим царем. Когда это случилось (см. ниже), правая часть Думы с председателем во главе приняла сторону Николая Николаевича против царского решения. Это было, с моей точки зрения, неумным и ненужным вмешательством и, косвенно, нанесло удар политике блока. Но противодействовать этому я не мог. По счастью, отношения армии к Думе этот эпизод сам по себе не испортил: Дума сохранила авторитет по отношению к армейскому командованию. К этому мы также вернемся.

Далее следовало выполнение одной из главнейших задач: сближение думского блока с Государственным Советом. От правой части Государственного Совета шла, как упомянуто, оппозиция думскому блокированию. Но тут мне посчастливилось. Политические настроения, содействовавшие объединению Думы, как оказалось, распространялись и на верхнюю палату. Прежде всего, с нами была единомысленна левая группа членов Государственного Совета, — такие, как наш к. д. проф. Гримм, Меллер-Закомельский, примкнувший к блоку гр. Олсуфьев. Но даже и самые правые, как Гурко, оказались в наших рядах, — и даже высказывались наиболее радикально.

В записке Трепова, поданной государю в ноябре 1916 г., полевение Государственного Совета объяснялось также политическими причинами. «За последние два года ряд назначений в Государственный Совет лиц, не примыкавших по своим воззрениям к правой группе, а также резкое уменьшение числа консервативно настроенных выборных членов Государственного Совета весьма существенно отразились на численном отношении отдельных групп Государственного Совета. Правая группа, даже в соединении с ближайшей к ней группой правого центра не только не склонна всецело стать на точку зрения правой группы в смысле единения с правительством, но в речи своего представителя подчеркнула определенно отрицательное свое **{217}** отношение к управляющему министерством внутренних дел (А. Д. Протопопову) и недоверие к объединенности действий правительства... Засим, речи прочих представителей групп Государственного Совета, входящих вместе с представителями большинства думских партий в состав так называемого парламентского блока, не отличались по существу, а в некоторых случаях и по резкости, от речей членов Государственной Думы. Таким образом, взаимоотношения правительства с Государственным Советом также не могут почитаться в данное время обеспечивающими взаимное доверие и должное единение».

При таком положении, я внес нашу программу на совместное обсуждение с членами Государственного Совета. У нас было несколько общих совещаний на квартире Меллера-Закомельского, под председательством хозяина. Я частным образом записывал речи участников; эта запись сохранилась в моих бумагах и была позднее опубликована большевиками (Мои бумаги вместе с моей библиотекой тотчас после моего отъезда из Петербурга были перевезены моим старым другом Браудо, *(о Браудо см. на ldn-*

knigi) служившим в Публичной библиотеке; в частности, бумаги были спрятаны от глаз победителей, частью в рукописном отделении Академии Наук, частью в петербургской Публичной библиотеке; они пролежали там 15 лет, были наконец найдены и образовали т. наз. «Архив Милюкова», хранящийся в Особом отделе Московского центр, истор. архива. Из этих бумаг напечатаны: упомянутая запись совещаний с членами Государственного Совета и начало моего дневника заграничной поездки делегации законодательных учреждений. Выбор сделан умело и тексты сопровождаются комментарием, свидетельствующим о тщательном изучении. Небольшие ошибки и неисправности текста не мешают мне быть удовлетворенным этим выбором; я лишь жалею, что печатание (в «Красном Архиве» т.т. 50-51, 52, 54-55, 56) не продолжалось, хотя документы были признаны чрезвычайно важными. О «дневнике» см. ниже. (Прим. автора).).

Я очень жалею, что у меня нет под руками напечатанного текста, чтобы резюмировать здесь этот чрезвычайно характерный обмен мнений. В результате обсуждения, программа блока была принята без значительных изменений. Это обстоятельство, конечно, придавало блоку особенное значение, так как снимало препону в прохождении **{218}** законодательства в порядке думской инициативы через обе законодательные палаты. Такая капитальная перемена в системе, созданной основными законами 1906 г., конечно, должна была вызвать особенное беспокойство в рядах правительства.

7. НАСТУПЛЕНИЕ И БОРЬБА С «БЛОКОМ»

Блок был еще в процессе обсуждения, когда началась сессия Государственной Думы 19 июля, которую мы считали длительной. Но дух блока был уже налицо, и это сразу отразилось на вступительных речах думских ораторов. Даже такой националист, как гр. В. А. Бобринский, требовал с трибуны «проявления патриотического скептицизма ко всему, что предъявит правительство». Внесенная им формула перехода уже выставила основной тезис блока: «единения со всей страной правительства, пользующегося полным ее доверием». В речах В. Н. Львова и Н. В. Савича (октябрист) варьировалось то же требование. Только И. Н. Ефремов от имени прогрессистов требовал министерства, ответственного перед народным представительством. Я прибавил к нашей формуле «министерства доверия» также и перечень реформ, которые необходимо было ввести немедленно. В августе блок был, наконец, готов, — и программа его опубликована в печати и с трибуны Государственной Думы 21 августа. Горемыкин попробовал было сорвать блок, пригласив к себе представителей правой части блока на совещание 15 августа для организации контрблока. Но было уже поздно; приглашенные им коллеги заявили ему, что образовавшееся в Думе большинство не желает вступать с ним в переговоры. Тогда в Совете министров мнения разделились. Меньшинство правых соглашалось с Горемыкиным, что Думу надо распустить. Но мы знаем, что в составе Совета министров была «либеральная» группа (Напоминаю состав «либеральной» группы: из прежнего состава Сазонов, гр. Игнатьев, Кривошеий, Барк, Харитонов, вновь назначенные кн. Щербатов, А. Самарин, Поливанов. (Прим. автора).), **{219}** которая отнеслась к вопросу иначе. К блоку в целом и она относилась отрицательно, но все же решила попытаться — пойти на сговор. Даже совсем не «либеральный» кн. В. Шаховской говорил теперь в Совете: «нельзя не считаться с тем фактом, что поражения на фронте создали революционно-повышенное настроение в стране». «Мы должны сказать его величеству, что, пока общественные настроения вообще — и московские, в частности — еще остаются умеренными и облекаются в почтительные формы..., отметать все огулом было бы опасно». Кривошеий, лидер группы, сам не потерявший надежды пройти в премьеры, поставил дилемму ребром (19 августа): «надо или реагировать с верой в свое могущество, или вступить открыто на путь завоевания для власти морального доверия». Он, однако, справедливо заметил при этом: «ни к тому, ни к другому мы не способны». И немудрено, что он это уже чувствовал: при уступках у него уже есть опасный соперник — князь Львов. «Сей князь чуть ли не председателем какого-то правительства делается. На фронте только о нем и говорят, он спаситель положения, он снабжает армию, кормит голодных, лечит больных, устраивает парикмахерские для солдат, — словом, является каким-то вездесущим Мюр и Мерилизом (универсальный магазин в Москве)... Надо с этим или покончить или отдать ему в руки всю власть... Если нельзя отнимать у (земского) Союза захваченное им до сих пор, то, во всяком случае, не надо расширять его функции дальше».

Проницательность Кривошеина тут сказалась: князь Львов уже стоял за думским блоком. Тем не менее, либеральная группа министров решила попробовать, если не сговориться, то поговорить с блоком. 27 августа на квартире Харитонова состоялось «частное совещание» этой группы министров с представителями блока. Была прочтена программа блока — и обсуждена по пунктам. Здесь будет кстати привести ее содержание.

Программа исходила из двух основных положений:

1) Создание однородного правительства, составленного из лиц, пользующихся доверием страны и решивших в **{220}** кратчайший срок провести программу, соглашенную между палатами.

2) Радикальное изменение приемов управления, основанных на недоверии ко всякой независимой политической деятельности; в частности, строгое соблюдение законности администрацией, невмешательство военных и гражданских властей в вопросы, не касающиеся непосредственно военных операций; обновление местного состава администрации и усвоение разумной и последовательной политики, способной сохранить внутренний мир и избежать столкновений между социальными классами и различными национальностями. Программа блока указывала затем ряд мер для осуществления перечисленных задач. Сюда относились, прежде всего, меры административные: общая амнистия за политические и религиозные преступления и проступки, возвращение политических ссыльных, прекращение религиозных преследований, дарование автономии Польше, отмена ограничений, налагаемых законодательством на евреев, запрещение преследований украинцев в России и в Галиции, восстановление профессиональных рабочих союзов. Далее — ряд законодательных мер, в том числе: уравнение крестьян в правах с другими классами, создание волостного земства, реформа городских и земских учреждений.

Конечно, для наличного правительства эта программа не годилась: она была не в шутку, а серьезно рассчитана на «министерство доверия». Это и было так понято в переговорах — главным образом, между мной и Харитоновым. Он признал, что, хотя некоторые пункты непрактичны и несущественны, но пять-шестых программы приемлемы, — только... данный состав министерства проводить ее не может. А о «министерстве доверия» говорить они не уполномочены; для этого нужен доклад государю. Этот вывод и был на следующий день доложен в заседании Совета министров. Кривошеин не скрыл своего скептицизма. «Что мы ни обещай, как ни заигрывай с прогрессивным блоком и общественностью, нам, все равно, ни на грош не поверят. Ведь требования Государственной Думы и всей страны сводятся к вопросу не программы, а людей». И он **{221}** заключил: «пускай монарх решит, как ему угодно направить дальнейшую внутреннюю политику — по пути ли игнорирования таких пожеланий или по пути примирения»; во втором случае, он «изберет лицо, пользующееся общественными симпатиями, и возложит на него образование правительства,... отвечающего чаяниям страны». В устах старого царедворца это звучало иронией, а для Горемыкина самая возможность поставить монарха перед таким выбором была уже преступлением. «Пока я жив, буду бороться за неприкосновенность царской власти», был его неподвижный тезис.

А в данном случае у него был другой конфликт с министрами, нарушавший этот тезис и, с династической точки зрения, бесконечно более важный, чем вопрос о министерстве доверия. «Когда враг углубился в пределы империи», объявлялось в рескрипте 4 августа, то царь почувствовал потребность — самому вступить в командование армией. Императрица тут получила способ рассчитаться с «Николашей»; вместе с Распутиным они поддерживали царя в убеждении, что это — его религиозный, «священный» долг. Спора тут быть не могло; а министры начали спорить. В заседании Совета министров в Царском Селе 20 августа, под председательством царя, они разошлись с Горемыкиным, который поддержал Николая в его уже сложившемся решении занять пост главнокомандующего. После заседания восемь «либеральных» министров подали царю письменное заявление, настаивая на сохранении поста за вел. кн. Николаем Николаевичем, заявляя о своем «коренном разномыслии» с Горемыкиным и о том, что «в таких условиях они теряют веру в возможность с сознанием пользы служить царю и родине».

При посредстве Родзянки, который шумел и волновался, поехал убеждать Николая отменить свое решение и, конечно, не убедил, а только рассердил его, — была втянута в этот безнадежный конфликт и Дума. Конечно, тонкости блока и «министерства доверия» потонули в вопросе, задевавшем Двор, и Горемыкин мог сразу убить двух зайцев. Немедленно после заседания о блоке он 29 августа выехал, не сговорившись с коллегами, **{222}** в ставку, куда уже переселился царь, и вернулся оттуда с готовыми решениями. Тут, по словам Горемыкина, «все получили нахлобучку за августовское письмо и за поведение во время августовского кризиса». И царь решил: «Думу закрыть не позже 3 сентября, а всем министрам оставаться на местах». «Конституционной» отставки Николай, конечно, принять не мог.

Царь «приедет лично и все разберет». 16 сентября состоялось в ставке заседание, к которому императрица и Распутин тщательно готовили Николая. «Не опоздайте в испытании, прославит Господь своим явлением», телеграфировал «старец» 7 сентября. А 15-го, накануне заседания, императрица напоминала: «Не забудь подержать образок в твоей руке и несколько раз причесать волосы его гребенкой перед заседанием министров». Гребенка была пущена в ход, царь был «намеренно нелюбезен» с министрами и через день, приехав в Петербург, подписал отставки двум из восьми министров-протестантов, особенно ненавистным кружку царицы: Щербатову и Самарину. Остальным

шести предстояла та же участь. Так начинался новый курс.

Крутой скачок вправо, после видимых успехов прогрессивного блока, открывавших, казалось, перспективу примирения царя с народным представительством, произвел огромное впечатление в стране. Это впечатление крепло и углублялось по мере того, как обнаруживались последствия перемены. С отъездом в ставку, в уединении Могилева, личность царя как бы стушевалась. Он мог быть даже доволен переменой, зажив по своему вкусу.

Никакой не стратег, он не мог, конечно, руководить военными действиями. Его рабочий день сложился однообразно и спокойно. До
10 ч. утра он был предоставлен самому себе; ни интриги и сплетни петербургского Двора, ни пушечная стрельба на фронте до него не доходили. В 10 часов он шел к начальнику штаба ген. Алексееву и оставался там до 11-ти. Алексеев осведомлял его по большой стенной карте при помощи флажков о перемещениях войск за сутки и излагал свои соображения насчет дальнейших действий. Это была скорее информация, нежели совещание, и **{223}** царю оставалось соглашаться. К завтраку доклад кончался. За завтраком следовал чай.

После семи часов получалась петербургская почта с письмами императрицы, которая день за днем сообщала о политических событиях, давала советы и диктовала решения, *(!!!??? ldn-knigi)* которые, по своей определенности и настойчивости, не уступали планам Алексеева.

За счет царя с этого времени на первый план выдвинулась царица. Единственная «мущина в штанах», она принимала министерские доклады и все более уверенно входила во вкус государственного управления. Распутин льстил ей сравнением с Екатериной II.

Разумеется, в государственных делах она понимала еще меньше, нежели император в военных. Ее «управление» свелось к личным предпочтениям одних лиц другим, смотря по тому, были ли это друзья или враги «нашего друга». Двор замыкался в пределы аппартаментов царицы и «маленького домика» верной, но глупой подруги царицы, Анны Вырубовой.

Над ними двумя царил Распутин, а около этого центрального светила группировались кружки проходимцев и аферистов, боровшихся за влияние на Распутина — и грызшиеся между собою. Был кружок Бардукова, уцелевший от кн. Мещерского, кружок кн. Андроникова, пускавшего пыль в глаза своим развязным обращением и своими мнимыми связями, кружок Манасевича-Мануйлова, афериста высшей марки, связанного с банками и с тайной полицией, кружок доктора Бадмаева, специалиста по тибетской медицине и по оккультным знаниям.

Все они составляли средостение, через которое нужно было пробраться, чтобы заслужить милость царицына окружения и попасть на высшие посты — без всякого отношения к личным знаниям и заслугам. Впрочем, высшими постами дело не ограничивалось. Мелкие дельцы делали мелкие дела, назначали на должности, освобождали от воинской повинности, от судебного преследования и т. д. за соответствующую таксу. Квартира Распутина покрывала сделки, его рекомендательные письма с бланковой формулой: «милай, помоги» фабриковались пачками; все это таксировалось, причем на долю Распутина приходились обыкновенно пустяки, **{224}** обеспечивавшие ему его дешевый разгул и трактирные подвиги. Эта скандальная картина слагалась постепенно; но только с этого момента, когда кризис коснулся одновременно и блока и правительства, для широкой публики обнажился внутренний фронт камарильи, прикрывавшейся до сих пор ответственностью исполнительной власти.

И по мере того, как страна узнавала, кто в действительности ею правит, падал престиж самой верховной власти; вместо традиционного уважения к престолу, распространялось в стране негодование и презрение к кучке людей, действительно ответственных за сложившееся положение. От них, а не от правительственных фантошей, менявшихся в «министерской чехарде», по меткому выражению Пуришкевича, страна теперь должна была требовать непосредственного ответа за происходящее.

Существование Думы с ее блоком было, конечно, главным препятствием, которое мешало всей этой стряпне. 3 сентября от нее освободились, но не совсем. Ее нельзя было распустить: тогда пришлось бы назначить новые выборы. Ее можно было только отсрочить. Ее отсрочили до 15 ноября. Но пока наступил этот срок, пробудилась деятельность крайних правых организаций.

«Объединенное дворянство» участило свои съезды и подняло тон. Реставрировались отделения «союза русского народа». На съезде этого союза 21 ноября председательствовал Щегловитов и произнес речь, в которой объявил акт 17 октября «потерянной грамотой» и предлагал вернуться к грамоте об избрании на царство Михаила Федоровича, т. е. к совещательной Думе. Но он несколько поторопился. Правда, в ноябре созыв Думы был вновь отложен без обозначения срока, что было явным нарушением закона; но мотив был придуман тот, что комиссии Думы еще не закончили рассмотрения бюджета. Блок решил поторопиться, и бюджет был рассмотрен к концу декабря.

Родзянко доложил об этом царю и требовал немедленного созыва Думы. Горемыкин, как прежде, упирался. В конце концов, он соглашался созвать Думу только на пять дней и только для утверждения бюджета 1916 г. И на этом разыгралась **{225}** интрига, имевшая целью спихнуть Горемыкина. В связи с этой интригой вдруг возобновился в высших сферах интерес к созыву Думы. За несколько дней до приезда царя в Царское (18 января 1916 г.) к Родзянке приехал митрополит Питирим и сообщил ему по секрету, что уже решено стать в дружественные отношения к Думе, ликвидировать при этом непримиримого Горемыкина и назначить на его место... Штюрмера!

Штюрмер, по-видимому, и был проводником этого неожиданного поворота. Но за ним стоял все тот же Распутин, называвший своего кандидата «старичком на веревочке». Сметливый мужичок изрек в ноябре свое сибиллино внушение: «Если будет победа, Думу не надо созывать, если же нет, то надо». Победы не было. Понадобилась смена.

Штюрмер не был таким рамоликом, как Горемыкин. Но он все же проявлял все признаки старчества и мог ходить «на веревочке».

Совершенно невежественный во всех областях, за которые брался, он не мог связать двух слов для выражения сколько-нибудь серьезной мысли — и принужден был записывать — или поручать записывать — для своих выступлений несколько слов или фраз на бумажке. В серьезных вопросах он предпочитал таинственно молчать, как бы скрывая свое решение. Зато он очень хорошо умел соблюдать при всех назначениях собственные интересы. Убедить царя, что Думу нельзя созывать на короткий срок и только для бюджета, было нетрудно. На этом Штюрмер и свалил Горемыкина. Но как же тогда быть с блоком и с его политикой, которая неминуемо должна была выдвинуться в Думе, не стесненной узкими рамками?

Посредником между Штюрмером и блоком явился другой министр, так же прошедший через Распутина и так же назначенный неожиданно: министр внутренних дел, заменивший «скучного» Щербатова «веселый» А. Н. Хвостов: другая фигура из оперетки — или Гиньоля. Это был молодой и шустрый человек, энергичный и предприимчивый, — но только не на государственную деятельность. Когда Николай II спросил дядю А. Н. Хвостова, министра юстиции А. А. Хвостова, какого он мнения о кандидате, то он получил такой ответ: «Безусловно **{226}** несведущ в деле, по характеру совершенно неподходящий, весьма неглупый, но не умеющий критиковать собственные побуждения и мысли, не чужд интриг... Вся его служебная деятельность будет посвящена не делу, а чуждым делу соображениям».

И, однако, кандидат был назначен. Николай делал вид, что очень интересуется думскими речами А. Н. Хвостова о немецком засилье. На самом деле, это был обязательный кандидат, поставленный Распутиным. Мы видели, что он, раньше по поручению из Царского, «прощупывал душу» Хвостова (тогда нижегородского губернатора) и нашел его «несозревшим»; теперь он признавал, что на Хвостове «почиет Бог, хотя чего-то ему недостает», — и вернул благоволение императрицы к своему ставленнику.

По просьбе кн. В. М. Волконского, прежнего товарища председателя Думы, а теперь товарища министра внутренних дел, я поехал на свидание с А. Н. Хвостовым у товарища председателя Думы Варун-Секрета. Там я застал целое совещание, специально собранное для выяснения, как относится «лидер блока» к новой встрече Думы с правительством. А. Н. Хвостов сказал мне, что самый созыв Думы не решен, пока не выяснится, воздержится ли блок от нападок на Распутина. Угроза была фальшивая и поставленное условие созыва казалось слишком странным. Я ответил, что у Думы имеются гораздо более важные счеты с правительством, нежели эти толки. Дума оборвалась на вопросе о программе блока и о создании правительства общественного доверия. С этого она и должна будет начать разговор. В Думе есть хозяин, и у этого хозяина есть определенное мнение. Меня тогда спросили, нельзя ли вообще наладить более дружественные отношения между блоком и Штюрмером. Предполагалось устроить это сближение в форме устроенного Штюрмером раута. Мне напоминали, что пошла же Дума на раут, устроенный Горемыкиным. Я отвечал, что есть разница между январем 1915 и январем 1916 годов; мы поставили вопрос о «доверии»; к Штюрмеру мы его не питаем, и, по крайней мере, моя фракция на раут не пойдет; мы ждем выяснения капитальных вопросов, поставленных **{227}** большинством. Меня пробовали уговорить тем, что Штюрмер — человек новый, политики не знает и от дружественного приема может зависеть его отношение к блоку. Я решительно заявил на это, что положение слишком обострилось для такого эксперимента, что мы должны будем высказаться определенно и сделаем это не на рауте, а при первой же встрече в Государственной Думе: там Штюрмер узнает наши желания и наше отношение к правительству. На этом и закончилась наша беседа. После того Штюрмер виделся с Родзянко, были попытки говорить с представителями отдельных фракций; по

документам, оглашенным чрезвычайной комиссией, выяснились позднее и колебания относительно срока созыва и длительности сессии, и обсуждение гарантий мирной встречи. Но все это осталось в стороне: я настоял на сроке созыва 5 февраля 1916 г. и уступил лишь до 9-го в виду технической трудности созыва. Накануне это дня стало известно, что царь предполагает лично посетить Думу. Это, очевидно, было еще одно средство повлиять на Думу, — и оно исходило из той же клики. По крайней мере известно, что Распутин хвалился перед своими охранниками: «Сказано мне: подумать, как быть с Государственной Думой. Я совершенно не знаю... А знаешь что? Я его пошлю самого в Думу; пусть поедет, откроет, и никто ничего не посмеет сказать»... Это было еще в декабре 1915 г.

Царский визит действительно состоялся 9 февраля в день открытия сессии Думы. Он остался единственным за все существование Думы. Процедура «энтузиазма» была, разумеется, соблюдена. Перед входом в залу заседаний, в колонной зале Таврического дворца было импровизировано молебствие; царя окружили депутаты, я стоял далеко от густого ядра и не слыхал небольшой речи, произнесенной царем; говорили, что она была бесцветная, но благожелательная. Затем Родзянко, уведомленный о посещении всего за час, провел Николая в зал заседаний, и публика с хор присоединилась к овации; он показал царю другие помещения Думы, причем царь делал незначительные по содержанию замечания. В круглой зале (ближайшей ко входу в дворец) были **{228}** собраны члены сеньорен-конвента, и Родзянко, при выходе царя, представил их Николаю. Он называл по имени каждого, и царь молча пожимал каждому руку. Мне это представление осталось памятно по маленькому эпизоду. Отойдя несколько шагов от нашей группы, Николай вдруг остановился, обернулся, и я почувствовал на себе его пристальный взгляд.

Несколько мгновений я его выдерживал, потом неожиданно для себя... улыбнулся и опустил глаза. Помню, в эту минуту я почувствовал к нему жалость, как к обреченному. Все произошло так быстро, что никто этого эпизода не заметил. Царь обернулся и вышел.

Посещение царя ровно ничего не изменило. Политика оставалась та же. Одновременно с объявлением указа о созыве Думы был уволен еще один из «восьми» — Харитонов. Кривошеин, почувствовавший, что ему нечего ждать, скромненько ушел по прошению еще в ноябре 1915 г. В сентябре депутация, выбранная третьим съездом земской организации (7-9 сентября) и присоединившая к себе членов Городского союза, под председательством кн. Львова, не была принята государем. Немудрено: на съезде Львов окончательно заявил, что «столь желанное всей страной мощное сочетание правительственной деятельности с общественной не состоялось», а резолюция съезда повторила формулу блока только что закрытой Думы: «опасность от гибельного разрушения внутреннего единства... устранима лишь обновлением власти, которая может быть сильна только при условии доверия страны в единении с законным ее представительством». Съезды союзов, назначенные на 5 декабря, были запрещены.

Блок впервые встретился с Штюрмером, как хотел, только уже в зале заседания Думы. Появление нового премьера произвело впечатление полного провала. Слабым голосом, который не мог овладеть даже спокойной и молчаливой аудиторией, Штюрмер прочел по тетрадке свою вступительную речь. В ней было категорическое заявление о незыблемости исторических устоев, на которых росло и укреплялось русское государство, и этого было достаточно. Перед нами был новый вариант **{229}** Горемыкина. И блок окончил заседание заявлением, заготовленным нами еще для несостоявшегося ноябрьского открытия Думы, а теперь пересмотренным и еще усиленным. Мы указали на то, что новый полугодовой несозыв Думы обострил все вопросы и сделал невозможным какой-нибудь выход из тяжелого положения. Требования наши — существенные и основные — остаются неудовлетворенными, и мы сохраняем все свои позиции. Мы готовили страну к победе, но теперь, при сохранении старого порядка управления, считаем победу невозможной. Выхода из этого положения собственными силами Думы мы не видим. Я окончил это заявление от имени блока пессимистической нотой: от этого правительства я не жду ответа, и схожу с кафедры без ответа.

Штюрмер, однако, не сразу отказался от сговора с Думой на тему о воздержании от выступлений против Распутина. Царь боялся прений по смете Синода. Было обещано Родзянке удалить Распутина, если не будет «нежелательных выступлений». 24 февраля Родзянко пригласил к себе представителей блока и пробовал уговорить их не выступать самим и поддержать председателя в случае эксцессов со стороны крайних правых и левых. Он услышал в ответ, что обещания ликвидировать «старческие» влияния давались не раз, но эта «ужасная язва русской жизни» продолжает существовать. Закрывать рот депутатам невозможно, особенно «в приподнятой атмосфере, отражающей коллективную совесть». Однако же, через день Распутину действительно было ведено выехать в Тобольск.

В ближайшие дни сессии была пресечена карьера министра внутренних дел А. Н. Хвостова. Но

этого никак нельзя было поставить в заслугу Думе. Хвостов пал жертвой собственного легкомыслия, и добычу подхватил тот же Штюрмер. Подробные показания директора департамента полиции, потом товарища министра Белецкого осветили ту грязную кухню, в которой готовился этот скандал. Началось с того, что А. Н. Хвостов, почувствовав свое положение достаточно упрочившимся, благодаря своим связям с правыми, решил, что **{230}** наступило время обойтись без помощи кружка Вырубовой-Распутина, который привел его к власти, и задался целью «ликвидировать» Распутина.

В свои пособники он решил взять Белецкого, который, однако, всячески оттягивал совершение преступления. В то же время, заметив, что положение Горемыкина поколеблено, Хвостов нашел своевременным выдвинуть свою кандидатуру в председатели Совета министров, — пост, на который его намечал Распутин с самого начала. Но он опоздал. Тогда уже проведена была у царя — тем же кружком — кандидатура Штюрмера. Белецкий, спасая себя, отошел от Хвостова на сторону Штюрмера, сохранив отношения с Вырубовой. Хвостов тогда уже на собственный страх вернулся к плану убийства Распутина. Он задумал воспользоваться услугами неистового монаха-фанатика Илиодора, старого друга Распутина, потом поссорившегося со «старцем» и бежавшего из России, чтобы издать заграницей памфлет против Распутина («Святой Чорт») с приложением писем к нему императрицы.

Из министерства внутренних дел были снаряжены две миссии заграницу: одна с целью выкупить рукопись у Илиодора; другая — специально посланная втайне от Белецкого Хвостовым, — чтобы сговориться с Илиодором о плане убийства Распутина. Посредник Хвостова, журналист Ржевский, оказался человеком ненадежным. Началась огласка. Хвостов сваливал вину на Белецкого; Белецкий доказывал, что это было дело Хвостова, и рассказал все прошлое. Обе стороны прибегли к печати, скандал стал публичным. В Думе мой товарищ по фракции Аджемов окрестил его кличкой «бульварного романа». Кончилось тем, что оба, Хвостов и Белецкий, должны были покинуть свои посты (5 марта 1916 г.). Штюрмер давно считал естественным соединить с титулом премьера власть министра внутренних дел — и теперь добился своей цели. Вся эта история произвела на общество впечатление глубокого падения политических и моральных нравов в правительственной среде.

Дума все же продолжала свои занятия и, вопреки желаниям правых, ее сессия не могла быть прервана, **{231}** пока продолжалось обсуждение бюджета. Обе стороны, как я выразился в другом месте, засели в своих окопах и перешли к позиционной войне. Однако же, проявления этой войны со стороны правых продолжались. Мы узнали тогда же, что начался поход против гр. Игнатьева, которого обвиняли в антигосударственной деятельности и в подчинении директивам блока. Но еще энергичнее велась борьба против Поливанова.

Она обострилась в связи с начавшимися тогда рабочими волнениями на заводах. Прения по этому поводу велись в заседаниях совещания по обороне. По поводу забастовки на Путиловском заводе мне пришлось там доказывать, что причина забастовки — чисто экономическая и заключается в том, что ставки заработной платы отстали от роста цен на предметы первой необходимости. Поливанов с нами соглашался. Мы тогда решили перенести эти прения в закрытое заседание Думы (7 марта), и я мог подробнее развить свою аргументацию. Выступление считалось настолько опасным, что стенограмма была задержана и появилась, вместе с речью Поливанова, только 13 марта. А 15 марта Поливанов был уволен и заменен ген. Шуваевым. Пришлось констатировать новое понижение уровня власти. Председательствование старика-рамолика Шуваева в совещании по обороне производило жалкое впечатление: он совершенно не мог следить за докладами и руководить прениями, не обладая ни знаниями, ни сколько-нибудь культивированной психологией. В роли военного министра он был совершенно невозможен.

Бюджет был, наконец, обсужден Думой и принят к концу марта. Сессия была закрыта 5 апреля, и перерыв объявлен до 16 мая. На этой дате я пока остановлюсь, так как 16 апреля я должен был выехать из Петербурга в составе делегации законодательных учреждений к союзникам.

{232}

8. ДУМСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ У СОЮЗНИКОВ

(Во время двух поездок заграницу в 1916 г. я вел «Дневник», который, в трех книжках, остался в моих бумагах, спрятанных Браудо в Публичной библиотеке и разысканных 15 лет спустя большевиками (см. выше). Начало первого из этих дневников

было ими напечатано в т. 54-55 «Красного Архива» с предисловием и примечаниями, показывающими специальное изучение моего текста. Но печатание остановилось на Англии, и только для этой части я мог воспользоваться им. Остальное пришлось писать по воспоминаниям. (Прим. автора).

Кроме того, в т. 58 «Красного Архива» напечатан, под заглавием «Русская парламентская делегация заграницей» доклад П. Н. Милюкова в военно-морской комиссии Гос. Думы 19 июня 1916 г. (Прим. ред.).).

Идея о посылке думской делегации к союзникам возникла в очевидной связи с попытками помириться с Думой в начале 1916 г. и с посещением Думы царем. Она была подхвачена, прежде всего, английскими кругами Петербурга и одобрена английским правительством, которое в марте поспешило послать официальное приглашение на имя Родзянки. Услыхав об этих предположениях, Извольский выхлопотал такое же приглашение со стороны французского правительства, а затем это было распространено и на третьего союзника, Италию. В Англии хотели показать русскому общественному мнению новые военные заводы, во Франции — фронт. Но, помимо военной стороны, здесь была, несомненно, и политическая мысль — реабилитировать в союзном мнении Россию, к которой общественные круги союзных стран относились без большой симпатии. Наличность прогрессивного блока впервые давала возможность показать заграницей представительство русских законодательных учреждений в целом, в духе «священного единения». Мне лично представлялась здесь возможность подкрепить удельный вес русских прогрессивных течений публичным европейским признанием и открыть таким образом нашему влиянию новую дверь в тот момент, когда перед нами захлопывалась другая.

Делегация составилась из 17 членов, представлявших Государственный Совет (6) и Государственную Думу (11). Из них один от Совета и трое от Думы **{233}** принадлежали к кадетской партии; двое от Совета «примыкали» к прогрессивному блоку. Двое принадлежали к «центру», один — октябрист, трое называли себя «националистами», двое — определенно «правые». Отдельно один представлял объединенные польские группы и один — белорусско-литовскую группу. Пораженцы — крайние левые и крайние правые — отсутствовали.

Конечно, в таком составе делегация не могла импонировать европейским демократиям. В союзных странах, куда мы ехали, l'union sacrée («Священное единение».) было представлено — ив общественных кругах, и в правительственных — социалистами, получившими от левых коллег упомянутое прозвище «социал-патриотов». Только левое крыло нашей делегации соприкасалось с их взглядами и могло говорить на общем языке демократии. Оно и было выдвинуто вперед во всех общественных и официальных демонстрациях общего характера: я и Шингарев представляли политическое лицо делегации.

Правда, над нами был поставлен в роли гувернера товарищ председателя Думы А. Д. Протопопов. Это имя впервые попадает здесь под мое перо, и на нем я должен остановиться, хотя бы потому, что через год ему суждено было сыграть роль могильщика царского режима.

В делегации он играл совершенно незначительную роль, и нам же приходилось контролировать его публичные выступления. Это был тип русского дворянина эпохи «оскудения».

Люди этого слоя, разоренные отменой крепостного права, пытались перейти к грюндерству, *(с нем. «организовать, создавать», в смысле – начинать с сначала, сызнова, ldn-knigi)* играть на коммерческих операциях или существовать за счет перезакладов в дворянском банке. У них, обыкновенно, не хватало деловой опытности, и приходилось пополнять этот недостаток привилегированным положением их класса. Отсюда вытекала их материальная и политическая зависимость от правительства, и получалась своеобразная смесь старомодного джентльменства и внешних оказательств дворянского благородства с психологией беспокойного искательства у сильных. У Протопопова эта упадочная психология прикрывалась традиционной дворянской **{234}** культурностью — плодом скорее домашнего, чем высшего образования. По-дворянски он владел французским языком; английский знал больше понаслышке, а итальянский — в пределах оперных арий. По-дворянски же он был не дурак выпить и охотник хорошо поесть, а, расчувствовавшись, лез целоваться со всяким — и вел себя запанибрата.

Знавшие его ближе находили у него признаки прогрессивного паралича, и его несуразные речи как бы подтверждали этот диагноз. Я скорее был склонен объяснять эти особенности — вариантом упадочной классовой психологии.

Остальные члены делегации заграницей как-то разбрелись и стушевались. На меня производило впечатление, что они просто воспользовались заграничной поездкой, чтобы заняться каждый своим делом. Так вели себя, прежде всего, представители разных национальностей. Самый выдающийся из них, граф Велепольский, говорил нам, что он не поехал бы, если бы не рассчитывал сговориться с нами (к. д.), и в делегации будет демонстратировать солидарность с Россией. Разумеется, повсюду он искал

общения с поляками разных течений, обещая держать нас в курсе. Другой ходатай, наиболее нам близкий, член нашей фракции, молодой депутат Ичас поглощен был общением с своими литовцами, выясняя их политические стремления — где-то на границе автономии и независимости. Больше всего он соприкасался с кругами оппозиционного католического духовенства. Нам он сообщал не все о своей политической работе; зато он поворачивался к нам другой своей стороной. Общительный и жизнерадостный, он в шутку называл себя «самым молодым и самым холостым» членом делегации и в наших собраниях с одушевлением выполнял соответствующую роль.

Не буду останавливаться на других членах делегации, деятельность которых от меня ускользала, и перейду к нашему путешествию. Наше время было точно размерено. Мы двинулись из Петербурга 16 апреля 1916 г., 17-20 пробыли в Швеции, 20-21 в Норвегии, 22 апреля-7 мая в Англии. После Англии мы посетили еще Францию и Италию и вернулись домой за день **{235}** до закрытия летней сессии Думы, 19 июня 1916 г. Кружной путь через скандинавские государства был единственным, который оставила свободным война. Унылый ландшафт прибрежной финляндской равнины, покрытой скудной хвойной растительностью, привел нас к вечеру к пограничной станции Торнео, и я имел удовольствие сфотографировать здесь в 11 часов вечера полуночное солнце. Перейдя отсюда, по деревянной настилке на болотистой равнине, с багажом в руках, в чистенькую Гапаранду, мы очутились в Швеции — и сразу почувствовали далеко недружественный прием.

В нейтральной стране не хотели принимать делегации к союзникам, и наш посланник в Стокгольме А. В. Неклюдов старался даже окружить наш проезд своего рода секретом. Я знал, конечно, более глубокие основания такого отношения к России. Двор, аристократия и армия подозревали русскую дипломатию в захватных намерениях; поблизости от русской границы мы проехали станцию Боден, у которой была построена таинственная подземная крепость, а от соседнего Люлео стратегическая железная дорога вела к близкой норвежской границе, к Нарвику с его магнитной рудой, — на который Россия будто бы имела поползновения. Кроме того, стоял вопрос о вооружении Россией Аландских островов — на время войны. Все это раздувалось шовинистической печатью и германской пропагандой. Транзит нужных нам товаров, единственный свободный от блокады, подвергался всевозможным стеснениям и ограничениям.

Однако же, общественный фронт — иной, нежели настроение официальной Швеции, и я сразу попал в общение с шведскими социалистами и пацифистами. Я познакомился с Брантингом, «социал-патриотом», — и нашел с ним общие точки зрения. Еще раньше мною завладел кружок пацифистов во главе с бургомистром Стокгольма, социалистом Линдхагеном, преследовавший специальную задачу — выспросить приезжего русского политика о «целях войны». После ликвидации центрального бюро второго интернационала в Брюсселе, Брантинг устроил ему убежище в Стокгольме, и здесь **{236}** возникла мысль о созыве конференции интернационала по вопросу о скорейшем окончании войны путем выяснения целей войны и условий мира. Был образован комитет для подготовки конференции, и кружок Линдхагена собирал предварительные сведения. Я принужден был высказаться отрицательно по поставленным мне вопросам. Я не мог согласиться на их абстрактные постановки задач, которые решались силой оружия. Мнения «нейтральных» не могут влиять на стремления воюющих. Сюда я отнес и вопросы, близкие России: «освобождение» национальностей в областях, оккупированных немцами, «свободный доступ» Германии к Ближнему Востоку и т. д. Германские тенденции вообще просвечивали здесь очень прозрачно. Я заметил, что мои ответы протоколировались — для будущего. Я видел недовольные лица собеседников и понимал смысл их коварных вопросов. И впервые я здесь столкнулся воочию с разницей взглядов между нами, русскими радикалами-демократами, и левым крылом общественного мнения у наших союзников.

Переехав в Норвегию, мы как-то сразу вздохнули свободнее. Самый пейзаж, залитый солнцем, чистенькие домики и, после безлюдной, дикой границы вдруг — прелестная долина Гломмена и, наконец, Христиания, тогда еще не перекрещенная в Осло. Ласковый прием у нашего посланника, К. Н. Гулькевича: другой тип, нежели Неклюдов в Стокгольме. Конечно, и Неклюдов был по-светски любезен, по-русски гостеприимен — даже, по-современному, либерален. Но это, все же, было не то. Дипломат карьеры, сегодня здесь, завтра там, он отбывал в Стокгольме очередной стаж своего продвижения, мало интересовался страной и зависел от случайных информаторов, приносивших «самые достоверные» секретные новости. Гулькевич сразу произвел на меня впечатление живого человека, непосредственно заинтересованного окружающей средой и связанного с нею простой и искренней человеческой симпатией. Самая страна к этому располагала: мы не видали здесь из окон тяжелого исторического здания королевского замка, не было и старых воспоминаний, с ним **{237}** связанных, не было военно-аристократического класса, окружавшего двор, не было и предвзятой подозрительности по

отношению к России. Самый пацифизм выглядел здесь иначе, более приемлемо: со времени Первой Думы мы были с этого рода пацифизмом органически связаны общением в «междупарламентском союзе». Я встретил здесь и главного работника союза, Ланге, и мог спокойно говорить с ним об идее, которую сам разделял: о юридической организации послевоенной Европы и о необходимых санкциях для придания ей силы. Ланге осторожно заговаривал о разоружении, о мнениях Шюкинга и Квидде — германских профессоров-пацифистов, предпочитавших окончание войны вничью. Я возражал, что без решительной победы вооружения пойдут еще дальше, чем теперь, и советовал продолжать построение международного здания мира с той точки, на которой оно остановилось, — оставляя в стороне требования международных организаций при выработке реальных условий мира.

Перед отъездом из Христианин мы узнали, что секрет нашей поездки ехал вместе с нами. Какой-то «пруссак» сообщил знакомой даме, что немцы прекрасно осведомлены о нашем маршруте, намереваются «поймать Милюкова» и не советуют ехать на английском судне «Юпитер», ожидающем нас около Бергена. Наши «лорды», как мы называли членов Государственного Совета, серьезно обеспокоились: кн. Лобанов-Ростовский и Гурко даже послали телеграмму, заказав особый поезд и прося задержать до $2^1/_2$ часов отплытие «Юпитера». Делегация решила ехать дальше, не задерживаясь.

В Берген ведет через горный перевал железная дорога, замечательный памятник инженерного искусства. Я вернусь к ней позднее. Берген мы застали в печальную минуту его существования: половина города была уничтожена пожаром. Кое-как переночевав, рано утром мы двинулись дальше. Нас везла норвежская королевская яхта на английский крейсер — но не «Юпитер», а на "Donegal", дожидавшийся нас, по уговору, в укромном месте, в шхерах, в двадцати километрах расстояния. Там мы были любезно встречены, и каждому **{238}** отведена особая каюта. Нас хорошо накормили, а после обеда капитан отвел к себе дипломата Розена, Протопопова, гр. Велепольского, меня и Шингарева для дальнейшей выпивки. Он оказался большим весельчаком, был уже в градусе, затянул неистовым голосом песни а от нас требовал поддержки. Мы послали для подкрепления за Ичасом и разошлись поздно ночью. Рано утром нас ожидал сюрприз. Нас предполагали высадить в Кромарти (сев. Шотландия); но ночью капитан получил распоряжение переменить курс, так как подход к Кромарти был забросан неприятельскими минами. Очевидно, наш путь был разгадан до конца.

Нас высадили на самой оконечности Шотландии, в Тэрсо, в непосредственной близости к Оркнейским островам, — стоянке английской эскадры. Этого не было в программе, но моряки решили показать нам эскадру — глубокий секрет английского адмиралтейства. Мы, действительно, увидали — в местности, прославленной потом именем Скапа-Флоу — пять дредноутов, во главе с «Квин Елизабет». За ними должны были вернуться остальные суда под командой адмирала Джеллико. Но приходилось ждать, и вице-адмирал совсем не был готов к нашему официальному приему. Мы предпочли вернуться в Тэрсо и сесть в поджидавший нас королевский поезд.

Пришлось проехать по довольно пустынным местам через весь остров до Лондона; но нас вознаградили обильный завтрак и обед, для нас приготовленные. В 9 ч. утра 23 апреля мы были в Лондоне, нас поместили в отеле "Claridge", специально арендованном правительством для приема иностранных делегаций, преимущественно восточных. Мой первый визит был к старым русским друзьям, Дионео-Шкловскому и Кропоткину (в Брайтоне). Я нашел старика в добром здоровьи, но в тревоге по поводу успеха среди социал-демократов манифеста, опубликованного циммервальдской конференцией (против «империалистической» войны). Дальше шла серия всевозможных приглашений, настолько обильных, что делегация не могла всех их удовлетворить, — да в этом и не было надобности. Большая часть их касалась зрелищ, спектаклей, спорта, не предназначенных **{239}** специально для делегации. На них записывались желающие. Следовали приглашения на завтраки и обеды с министрами и политическими деятелями, специальное приглашение на обед, устроенный для делегации кабинетом в аристократическом Lancaster House, прием в Палате общин и, наконец, во главе всего, аудиенция у короля в Букингэмском дворце.

Началось с этой последней. Нам был изложен краткий курс придворного этикета, и мне пришлось, в первый раз в жизни, купить цилиндр, который я потом оставил на память у Шкловских, основательно полагая, что он мне никогда больше не понадобится. Специальные экипажи отвезли нас во дворец; нас расставили в приемной полукругом, против входной двери, с нашими «лордами» впереди, и рекомендовали по списку.

Король Георг V с королевой вышли из этой двери, и я был поражен: передо мной стоял Николай II.

Король был поразительно похож на своего кузена, только несколько прихрамывал после недавнего падения с лошади, и движения были более расхлябаны. Король, заранее подготовленный,

старался каждому сказать несколько любезных слов, смотря по квалификации каждого. Я был, очевидно, особенно рекомендован, как спец. по внешней политике, и на мне произошла задержка. Я сказал королю, что имел честь быть представленным его отцу (Эдуарду VII) и что тогда уже завязывался узел наших теперешних отношений. Георг заготовил для меня секрет, свидетельствовавший об особом доверии к союзникам. Он рассказал, как, четыре года тому назад, к нему приезжал брат Вильгельма II, принц Гейнрих, с специальной целью осведомиться конфиденциально, как поступит Англия в случае войны Германии с Францией и Россией.

Георг V, по его словам, отвечал: «она станет, вероятно, на сторону последних» (я потом спросил через посла, можно ли передать это важное сообщение гласности, но получил в ответ, что это был частный разговор). Затем король выразил уверенность, что необходимо довести борьбу до конца: иначе (в один голос со мной) через десять лет придется воевать снова. Он говорил о необходимости нашего сближения, **{240}** чтобы устранить взаимные недоразумения (тогда в печати появились взаимные обвинения в недостаточной поддержке). Я ответил, что эти недоразумения значительно преувеличены, переложил ответственность на статьи «Таймса» и заметил, что, хотя массы вообще мало знают о других народах, но культурный класс России лучше осведомлен об Англии, нежели Англия о России.

Поляку Рачковскому Георг V сказал, что посылка хлеба в оккупированную Польшу будет налажена.

Ичасу он выразил надежду, что литовский народ возродится, — и выразил удовольствие, что царь посетил Государственную Думу.

Королева также приняла участие в разговоре. Я рассказывал ей план нашей поездки, выражал желание ближе познакомиться с Лондоном и с английскими государственными деятелями: темы — для нее, видимо, не интересные. С другими она говорила о погоде, о пейзаже, о цветах и птицах.

На прощанье королевская пара еще раз обошла всех и пожала всем руки.

В тот же вечер состоялся обед с правительством в Lancaster House. Дворец был переполнен фешенебельной публикой. Делегация выбрала меня своим оратором, и я был в большом смущении. Застольные речи в Англии не должны быть чересчур серьезны, и обыкновенно пересыпаются английским юмором, мне недоступным. Обязательная тема о союзных отношениях была слишком суха и банальна. Отвечать мне приходилось Асквиту, мастеру парламентского красноречия. Счастливый случай меня выручил.

Свою речь, заранее сообщенную, Асквит сухо прочел по бумажке, дополнив тут же часть о Ближнем Востоке. Гурко говорил повышенным, натянутым тоном; произношение было невнятное. На общие места Асквита я мог отвечать такими же общими фразами. Но для финала неожиданно представилась эффектная тема. Сквозь ненастные облака через большое окно противоположной стены зала вдруг пробился луч заходящего солнца и осветил аллегорическую фреску у самого **{241}** нашего столика, изображавшую Марса, побежденного Венерой. Кругом была надпись: Veritas vincit, justicia vincit. Mars opprimatur (Истина побеждает, справедливость побеждает. Марс подавляется.). Кончая, я поднял руку навстречу солнечному лучу и приветствовал небесное пророчество. Да! правда победит, справедливость победит и Марс будет подавлен! Заинтересованная зрелищем, публика поднялась с мест, следила за движением руки, смотрела на луч и на фреску — и разразилась громкими аплодисментами. Асквит подошел ко мне с соседнего столика, поздравил и сказал: «Как досадно, что я этого не заметил. Очень вам завидую». Эффект получился сильнее, чем я ожидал. Какой-то англичанин вспомнил даже, что Питт в одной своей речи воспользовался таким же эффектом.

Официальная серия кончилась приемом и завтраком в помещении Палаты общин. Говорил спикер, отвечали Протопопов и я. В тот же день (27 апреля) мы с Гурко были у Ллойд-Джорджа, который, между прочим, согласился с моим мнением, что с наступлением надо подождать — и даже не до осени, как говорил я, а до следующего года, когда можно будет нанести удар сразу, со всех сторон, во всеоружии. Для иллюстрации английских вооружений Ллойд-Джордж распорядился показать нам огромные оружейные заводы в Энфильде и еще более громадные постройки для производства взрывателей, где употреблен был исключительно женский труд. Впечатление, действительно, было очень сильное. Но тут же пришлось убедиться, что энергия почина не соответствует специальной осведомленности министра вооружений.

За завтраком, устроенным от министерств военного и иностранных дел, я сидел рядом с начальником одного из департаментов Ллойд-Джорджа, который горько жаловался на своего шефа. Ллойд-Джордж, говорил он, не понимает дела, мешает работе и своими импровизированными выступлениями в Палате создает неверные впечатления. «Мы готовим ему самые подробные отчеты, с точными цифрами, датами и выводами. А он, начиная говорить, откладывает справку **{242}** в сторону,

увлекается красноречием и фантазирует. Нас же потом упрекают, что мы дали ему неверные справки». Вообще, как видно, Ллойд-Джорджа боятся, как the coming man (Восходящий к власти человек.). Он, действительно, вскоре после нашего приезда заменил Асквита на посту премьера и оправдал опасения политических противников, перейдя от разлагавшегося классического либерализма к лейборизму. Мой старый приятель Гардинер дал мне оттиск своей статьи, в которой прямо обвинял Ллойд-Джорджа, что он идет в Наполеоны.

Из многочисленных частных встреч, знакомств, завтраков и обедов упомяну только о некоторых. Брайс и Ноэль Бакстон устроили для меня обед, на котором главной темой был армянский вопрос, в котором оба были защитниками Армении. Принадлежа сам к таким же, я, однако, противопоставлял автономию Великой Армении под суверенитетом России их стремлениям к независимости Армении под протекторатом держав. В вопросе о территории будущей Армении я отрицал, что мы стремимся к Моссулу, и ограничивал наши стремления Диарбекиром — т. е. границей гор и равнины, отстраняя Малую Армению (Киликию) и Александретту. Они знали и показали мне перевод моей думской речи об Армении (II, 1916). По вопросу об ответственности Вильгельма за войну они, так же как Брантинг в Стокгольме и Ланге в Христианин, выгораживали германского императора справкой, будто он был вынужден воевать давлением военных в Потсдаме.

Очень деловая беседа велась мною с Рэнсиманом, министром снабжения. Он скупил во всем свете холодное мясо и сахар. Он считал себя фритредером, но с оговорками; мне приходилось защищать наш интерес — наложения пошлин на иностранное сырье, с целью самим производить и вывозить полуфабрикаты, вместо того, чтобы давать эту возможность Германии. Затем Рэнсиман расспрашивал меня о положении дел в России, и я не скрывал от него опасности, грозящей династии и старому порядку.
В заключение Рэнсиман пригласил меня **{243}** на week-end (Конец недели.) в свое подгородное имение. Для меня это был первый аристократический week-end старых времен, о которых мы читаем в английских романах, и я с любопытством познакомился тут с ритуалом английского гостеприимства и с общественным значением свободного обмена мнений между единомышленниками в дружеском кругу в часы отдыха. Собрались здесь больше местные сквайры, люди довольно консервативных воззрений.

Развал старого вигизма после крушения гомруля уже сказался в переходе к новым политическим группировкам. Радикализм военного кабинета обострял ход социально-политической дифференциации. Ллойд-Джорджа здесь просто ненавидели и не могли простить ему его радикального бюджета 1909 г. О нем больше и говорили, обвиняя его в стремлении сделаться «вторым Кромвелем». Россией интересовались мало и знали о ней еще меньше; таким образом я был избавлен от ответов на элементарные темы.

Совсем особо стояла моя беседа о сэром Эдвардом (тогда уже лордом) Грэем. Я предупредил его, что наша беседа будет иметь частный характер и что я расскажу о ней только Сазонову. Основной темой я взял интересы России при заключении мира. Я, конечно, сам понимал, что об условиях мира можно судить только после военного успеха, и Грэй понимал это также, но это не исключало предварительного сговора между союзниками. Грэй предупредил меня, начав прямо с перечня взаимных уступок, которые он считал бесспорными. «Мы обязаны честью перед Бельгией. Затем, мы желаем дорогу из Египта в Индию. На европейском континенте у нас нет желаний. Вопрос о германских колониях — дело наших доминионов. Для Франции — первое необходимое условие — Эльзас и Лотарингия. Для вас — Константинополь и проливы (разговор происходил уже после официального соглашения 1915 г.) Что сверх этого, будет зависеть от степени нашего успеха в войне». Но «сверх этого» многое уже было намечено, и я тотчас поставил вопрос: «дальше, на ближайшей очереди, стоит вопрос о разделе Австро-Венгрии, без которого нельзя **{244}** решить польского, сербского и румынского вопросов». Я прибавил, что лично Сазонов считает, что разрушать Австро-Венгрию опасно, потому что австро-германцы усилят Германию (разумелся Anschluss (Присоединение Австрии к Германии.), и что лучше связать Австро-Венгрию славянами. Я, конечно, этой точки зрения не разделял. И Грэй тотчас возразил: «Присоединения австрийских германцев Германия никогда не хотела, так как это ослабило бы Пруссию». И на первое место (при разделе) он поставил сербский вопрос: «Сербия получит Боснию и Герцеговину». Я, естественно, напомнил тогда о «югославских» стремлениях: «а вопрос о присоединении Хорватии и словенцев?» Грэй ответил:

«Дело преимущественно России поднять при случае этот вопрос, — и дело внутреннего соглашения между этими народами». Как известно, это соглашение уже варилось тогда. Но к сербскому вопросу пришлось вернуться дальше; меня прежде всего интересовал вопрос польский, как более близкий России. На мой вопрос об этом Грэй сразу ответил: «это — дело России; мы, конечно, желали

бы, чтобы она сама дала полякам автономию, но вмешиваться не можем». Я подчеркнул тогда: «и по нашему мнению, это есть внутренний русский вопрос. Мы настаивали (чтобы сохранить это положение), чтобы правительство, не дожидаясь развития военных событий, само поставило вопрос об автономии на очередь». Я мог сказать, что «Сазонов теперь согласен на наш (кадетский) проект автономии, построенный, в общем, по образцу вашего гомруля. Но мы — против упоминания о внутренней конституции Польши в международном акте. Там, самое большее, должны быть указаны лишь границы польской (освобожденной) территории. Поляки теперь настаивают на независимости и на международном признании, но так далеко мы идти не можем». Грэй повторяет, что тут они идут за Россией. «Внести в международный акт что-либо неприятное для союзника — значит ослабить этот самый акт. В международном акте должно быть упомянуто только то, что интересует всех нас». Переходя к другим вопросам, связанным с разделом Австро-Венгрии, я касаюсь, прежде всего, Чехии и **{245}** спрашиваю, осведомлен ли Грэй о чешских желаниях от Масарика. Положение русских в этом вопросе легко, потому что здесь нет речи о какой-нибудь стратегической границе». Грэй не помнит мемуара Масарика, поданного в феврале 1916 г., но отвечает, что и тут компетенция должна принадлежать России. Я спросил, дальше, о Румынии, которая продолжает торговаться на обе стороны о своем вступлении в войну. Грэй ответил: «она получит Трансильванию, когда пойдет с нами — и наверное пойдет, когда выяснится военное положение» (Румыния пошла только 27 августа 1916 г. — и пошла неудачно).

На мой вопрос, пытались ли турки заключить отдельный мир, Грэй ответил откровенно: «да, но через посредников; мы им предложили обратиться к России, так как война началась с нападения на вас. Не можем же мы сговариваться, рискуя разойтись с нашими союзниками». Намек был ясен: как же соглашаться с Турцией, — когда вам обещаны проливы? В этой связи я поднял и другой деликатный вопрос — армянский. Грэй парировал мой вопрос напоминанием о моей речи в Государственной Думе (II, 1916), которая «вызвала. здесь шум» (речь шла о Великой Армении). Он признал, что и Сазонов «писал ему о своем желании аннексии», и снова повторил: «это — дело России; мы должны сообразоваться с вашими желаниями». Но, очевидно, эта тема ему не улыбалась. На мой вопрос о границе наших сфер влияния на севере Месопотамии (я намекал на границу между горами и равниной, то есть Диарбекир) он ответил, что «без карты не может высказаться». А относительно «притязаний других союзников» заметил: «в восточной Малой Азии вы встречаетесь только с французскими, итальянские — западнее (Адалия)». Относительно Персии, другой страны, где соприкасались сферы нашего влияния, он указал лишь на силу германского влияния и приветствовал русское наступление там.

Помимо всех этих вопросов, близких России, я затронул, конечно, один общий и важный для всех нас — о судьбе Германии после войны, — и выслушал интересные замечания Грэя, чреватые будущими последствиями. Он был оптимистичен в этом капитальном вопросе.

{246} На мой тревожный вопрос: «как вы рассчитываете to crush Prussian militarism» (Разгромить прусский милитаризм.), он ответил: « я надеюсь, что после первой неудачной войны после трех выигранных Бисмарком, Германия сама поймет, что руководство Пруссии для нее невыгодно; я жду глубоких перемен в ее внутреннем настроении». Я на это ответил сомнениями, «в виду крайней разницы между нами и германцами во взглядах на роль государства и личности». Грэй повторил, что «признаки перелома уже налицо», и что, «ошибаясь в расчете на скорый успех, германцы хотят лучше кончить, чем продолжать бесплодную двухлетнюю войну». Это было верно, но это не был ответ на мое принципиальное возражение. Тогда я поставил следующий вопрос: «надеется ли Грэй ввести Германию после войны снова в семью народов на началах нового международного права?»

Грэй ответил очень убежденно: «я к этому стремился до войны — и вернусь к этому, как только выяснится наша победа. Я надеюсь, что можно будет обязать народы отдавать свои споры на обсуждение держав, которые на это согласятся». — «А какие же будут санкции при несогласии», спросил я. «Санкцией будет, — не менее уверенно отвечал Грэй, — объявление войны государству, которое не послушается». Здесь, конечно, был зародыш Лиги Наций, но только без тех многочисленных ограничений, которые обессилили в Версале выставленный Грэем основной принцип. Относительно сокращения вооружений Грэй был также оптимистичен. «Я надеюсь тут не столько на прямые предложения, которые успеха не имели, сколько на косвенные обстоятельства, которые к этому приведут», а именно «общее истощение после такой войны, как настоящая». Мы знаем, что они привели к этому победителей, но не побежденных. Но — будущее было покрыто завесой, а в душе я разделял благородные стремления Грэя, обоснованные его видимым реализмом, чуждым утопий.

Срок нашей беседы кончался, и я собирался откланяться, когда Грэй меня остановил: «Вы все

меня спрашивали, а теперь я спрошу вас. Что вы думаете о Болгарии?» Это был для меня больной вопрос. Осенью 1915 г. **{247}** Болгария, после долгих колебаний, перешла на сторону наших врагов, и Сербия была разгромлена. На мне, как будто, лежала какая-то ответственность за этот volte-face (резкий поворот.), и мне трудно было отвечать без внутреннего волнения. Но я принял вызов. «Я считаюсь болгарофилом, — начал я. — Но я знаю положение. Мы наделали ошибок. Бухарестский мир показал болгарам, что мы не можем осуществить их национальных стремлений.

А Германия и Австрия обещали им это — и теперь осуществили. Они в сущности выполнили русскую же программу 1878 г., программу гр. Игнатьева (Великую Болгарию)». Грэй возразил: «но Сербию нельзя было убедить согласиться на это». Моя неспокойная реплика: «ее нужно было заставить. Мы это сделали осенью; но было уже поздно». Грэй настаивает: «она и тогда не соглашалась. Трудно было заставлять, когда война началась из-за нее же». Я уж не вытерпел: «послушайте, ведь война произошла из-за сербской грандомании! Ведь Австрия в самом деле могла думать, что подвергается серьезной опасности. Сербия ведь поставила, не более и не менее, как вопрос о разделе Австрии»...

Избегая ответа, Грэй делает уступку моему болгарофильству. «В Англии убеждены, что виноват больше Фердинанд, нежели болгарский народ». Я подхватываю эту тему. «Народ с ним, пока его политика имеет успех (для народного дела). Но не сомневаюсь, что при первых же неудачах руссофильские чувства болгарского народа возьмут верх». И я- предложил этим воспользоваться, чтобы вернуть Болгарию в наш лагерь. «Мы можем вернуть Болгарию себе, если обещаем сохранить за нею Македонию — хотя бы в пределах 1912 года, плюс Ускюб, но минус Ниш, Вранье и Пирот». Грэй прерывает: «конечно, Ниш нельзя оставить за ними». Я продолжаю: «у вас есть два авторитета по болгарскому вопросу: Бекстон и Ситон-Ватсон. Спросите их. Бекстон ездил в Софию договариваться, но не получил от вас полномочий на уступки. Если бы уступки были сделаны тогда, мое влияние в Болгарии получило бы силу, и Болгария против нас не **{248}** пошла бы». Я мог бы прибавить, что о том же я хлопотал в Петрограде...

Срок свидания давно прошел: я указал на часы. Грэй поблагодарил за интересную беседу, и мы вместе вышли. Он слез в своем оффисе, а меня велел довезти в Claridge's.

Нас перевезли из Англии во Францию с такими же предосторожностями, с какими доставили в Англию. Мы проехали короткое расстояние между Дувром и Кале, между военными судами, и, кроме того, по обе стороны нашего парохода нас провожали два миноносца.

В Париже нас поместили — чином выше — в отеле Grillon на place de la Concorde. Делегация как-то сразу почувствовала себя здесь, как у себя дома, и разбрелась, — каждый по своим делам и знакомствам. Франко-русская традиционная интимность сказалась на более небрежном характере приема делегации. Здесь не было той заботливости и организованности официального приема, как в Лондоне. Я не помню ни одного официального завтрака или обеда, устроенного здесь в честь делегации. Разрозненности нашего времяпрепровождения здесь соответствовала неподготовленность встреч с официальными кругами. Остановлюсь на одном примере.

Назначен был прием в министерстве иностранных дел на Quai d'Orsay. Делегаты собрались, введены были группами в «залу часов»; никого из встречающих не было. После некоторого ожидания стоящие справа увидели группу министров, в беспорядке спешившую из внутреннего помещения, как будто после хорошего завтрака, ко входу. Из толпы я услышал крики: «Аристид, Аристид, говори: пришла русская делегация». Бриана, в растрепанном виде, протолкнули вперед, нам навстречу. Он, по-видимому, сам не знал, кто тут и что он скажет. Но зато я сделался свидетелем его выдающегося ораторского дара. Первые фразы были нескладны и даже непонятны. Бриан как будто нащупывал свою тему. Несколько моментов, — и он ее нашел. Полилась плавная и красивая речь. Не говорю о содержании, которое запомнить было трудно, но по форме она увлекала, создавала настроение. Раздались в конце горячие аплодисменты, — и прием был **{249}** кончен. Делегаты потолкались на месте — и постепенно разошлись.

Более сосредоточенными были частные беседы на специальные темы. На мою долю выпала беседа с депутатами-социалистами на темы о внешней политике, — нечто вроде экзамена, устроенного мне в Стокгольме, — и в том же духе недоверия и скрытого неодобрения. Участвовали в беседе такие видные левые депутаты, как Ренодель, Лафон, Муте, Лонге, Бризон, Самба и др. Особенный интерес и здесь вызывал вопрос о проливах. Вероятно, в Палате кое-что прослышали о наших соглашениях, и мои умолчания звучали намеренной уклончивостью. С пацифистской стороны меня допекал на эту тему потом Д'Эстурнель-де-Констан, ссылавшийся на «достоверные» сведения о декабрьском заседании 1913 г., мне тогда совершено неизвестные (и оказавшиеся неверными). Не обошлось, конечно, без допроса о намерениях русских либералов относительно освобождения «малых народностей». Словом, идейного

контакта между нами не создалось. Больше единомыслия здесь, как и в Лондоне (Ситон-Ватсон), обнаружилось у меня с местными молодыми историками. Они знали эти вопросы лучше (Эрнест Денис, Фурноль, Эйзенманн и др.), и мы могли обсуждать детали, а не общие принципы.

Гвоздем официальных приветствий оказался в Париже торжественный прием, не столько политического, сколько культурного характера, в Сорбонне. Но чествовали здесь только левую часть делегации — то есть меня с Шингаревым. Торжество состоялось в большой зале Сорбонны, переполненной публикой сверху до низу, а оратором выступил Эррио. Он дал себе труд собрать сведения о наших биографиях и о нашей политической деятельности. Речь вышла очень содержательная и, конечно, произнесена была со свойственным Эррио одушевлением. Согрев аудиторию, он кончил прямым обращением к нам двоим и вызвал настоящую овацию по своему и по нашему адресу. Отклик был искренний, и мы могли записать его на наш счет. Шингарев, кстати, нашел в Париже работу по своему вкусу: при посредстве нашего военного агента гр. Игнатьева (который потом **{250}** служил большевикам) он собрал данные о выполнении наших военных заказов.

Главной отличительной чертой нашего пребывания во Франции были не официальные встречи или политические свидания, а ознакомление нас, как союзников, с ходом войны на фронте. Военное ведомство показало нам кусок настоящей современной войны. Конечно, не безумную бойню у Вердена, — отчаянное усилие немцев форсировать успех. Нас повезли на более спокойный фронт в Шампани.

Зато мы могли видеть войну, так сказать, au ralenti (в замедленном темпе.) внимательнее ознакомиться с ее составными элементами. Мы просили показать нам войну в разрезе, от ближайшего тыла операций до окопов, и командование очень умело выполнило эту программу. Мы увидели, прежде всего, организацию доставки снарядов и продовольствия к месту боя. Система действовала с точностью часового механизма, и мы с огорчением сравнивали то, что проходило перед глазами, с беспорядками снабжения в нашей прифронтовой полосе.

Мы видели роты солдат, шедшие на смену из окопов, и удивлялись их сытому виду, порядку в одежде и бодрому настроению. Нас познакомили затем с устройством наблюдательных постов, с необыкновенно изобретательными формами камуфляжа на фронте, с наблюдательной работой авиации над фронтом и с фотографическими снимками всего фронта в короткие промежутки времени. Выйдя затем на шоссе, непосредственно за сетью окопов, план которых нам показали, мы увидели непривычное зрелище. В воздухе висели привязные шары, «колбасы», наблюдавшие неприятеля и сообщавшие оттуда точное место прицела орудий; на расстоянии, то же самое приспособление было и у неприятеля. В воздухе реяли неприятельские аэропланы, и кругом них разрывались белые облачка французских снарядов. Сверху неприятель заметил нашу группу, двигавшуюся по шоссе, и офицеры, нас сопровождавшие, потребовали от своего генерала — не идти дальше. Мы, однако, пошли, прикрываясь тенью деревьев леса, окружавшего шоссе, но неприятель не терял нас из виду, дал сигнал вниз **{251}** артиллеристам, и свист снарядов и разрывы их стали быстро к нам приближаться. Последний, которого мы дождались, упал невдалеке и окатил нас осколками: один, совсем горячий, ударил по лицу Гурко — и упал к его ногам. Мы тогда решили, что наша программа исполнена до конца, и благоразумно удалились, переменив направление и поблагодарив наших руководителей.

Я, однако, заметил, признаки утомления в окружающем населении. Шел ведь третий год войны. Окрестность еще мало пострадала; но когда я в патриотически-возвышенном тоне завел разговор с прислугой маленького отеля, где мы остановились, я не встретил сочувствия. Одна из служащих пренебрежительно бросила: ah, ces polissons-la!... (Эти повесы!..). Так мы прикоснулись к войне другой стороной, и меня не удивляли потом книги Барбюсса.

Наступало время отъезда к третьему союзнику — Италии. Часть делегации решила ехать прямо туда из Парижа; немногие последовали приглашению заехать по пути в Лион, куда нас сопровождал шумливый и любезный депутат Франклен Буйон, совмещавший левизну с патриотизмом чистой марки и, благодаря своему знанию языков, прикосновенный к внешней политике. Я никак не ожидал, что впечатление этой последней поездки окажется для меня самым сильным. Мне казалось, что все население Лиона вышло к нам навстречу и прониклось энтузиазмом к союзникам. Я никогда и нигде в жизни не видел такого чисто народного приема. Не было . ни речей, ни парадов, а побеждала сила этого коллективного чувства, стихийно выливавшегося наружу... Не буду останавливаться на отдельных эпизодах этого короткого проезда: отдельные впечатления утонули в этом общем.

До официальных приемов в Италии оставалось два-три дня. Делегация, оставшаяся в Париже, должна была выехать оттуда прямо в Рим.

Я решил опередить делегацию, чтобы провести эти два дня в Швейцарии. Классическая страна всяких эмиграции и национальных пропаганд, центр, где скрещивались политические влияния

воюющих стран, колыбель русского большевизма и **{252}** третьего интернационала, источник закулисных сведений, которые нельзя было получить в столицах союзных государств, — нейтральная Швейцария обещала дать гораздо больше нужного мне материала, чем нейтральная Швеция. Ее было необходимо включить в свой маршрут, хотя бы в порядке предварительной разведки. В этом порядке стоял передо мной на очереди для России первым польский вопрос. Я остановился в Лозанне, где друзья подготовили мне свидания с польскими эмигрантами. Особенно полезно оказалось для меня свидание с Пильцем, сравнительно умеренно настроенным представителем «русской ориентации».

Известное воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам, приуроченное к началу войны (1-14 августа 1914 г.), содержало программу, которая объединила большинство поляков разных «дельниц», но в то же время отбросила польскую «левицу» с. - д. в неприятельский лагерь. «Пусть сотрутся границы, разрезавшие на части польский народ», обещало воззвание. Этого можно было достигнуть только при победе демократического блока вместе с Россией. Но дальше следовало: «да воссоединится он воедино под скипетром русского царя». Тут поляки раскалывались на разные «ориентации». Австрийским полякам было хорошо и под австрийским режимом; они стремились лишь, путем неполного объединения, создать базис для превращения двуединой Австро-Венгерской империи в «триединую» («триализм»). В Царстве Польском, вместо осуществления обещаний, русские войска раздражили население продолжением старой стеснительной политики. Когда пришлось отступать и покинуть Варшаву, пришли германцы и положили начало, хотя и слабой, «германской» ориентации. Третий член программы великого князя гласил: «под скипетром этим (русского царя) возродится Польша, свободная в своей вере, в языке, в самоуправлении». Вот в это уже никто не верил. Слово «автономия» не было произнесено — и осталось запретным словом. Правительственная комиссия, составлявшая проект будущего устройства Польши летом 1915 г., состояла из правых членов Государственной Думы и Государственного Совета с присоединением **{253}** польских представителей и, конечно, раскололась на две части, после чего вопрос заглох на целый год. Партия к. д. в то же время (май 1915 г.) выработала свой проект, гораздо более радикальный: это был новый проект «автономии» Польши, и поляки заимствовали из него некоторые черты. Так стояло дело ко времени моего приезда в Лозанну. Для переговоров с Пильцем здесь имелась прочная база. Левые, конечно, шли гораздо дальше, и с некоторыми из их представителей я также виделся в Лозанне. Для них наша программа не была даже и минимумом. Но, к своему удивлению, я нашел, что требования национальностей, при неопределенности исхода войны, были сравнительно умеренными или сдержанными по форме. В эти самые дни в Лозанне заседал съезд национальностей. Открывая ряд осторожных заявлений многочисленных русских народностей, председатель, швейцарец Отлет, предупреждал против «расчленения Европы и возвращения к средневековому дроблению во имя ложно понятого принципа национальности». Обращение к Вильсону радикальных представителей русских национальностей (тогда же, май 1916 г.) даже не формулировало определенных требований, а ограничивалось просьбой: «придите нам на помощь, спасите нас от разрушения». Очевидно, время еще не пришло для разрешения вопросов этого рода, касавшихся России, в пределах умеренности. Потом — положение быстро изменилось.

Я ясно понял в эти дни, что посещение Швейцарии для моих целей не может ограничиться этим коротким заездом. Перспектива второй поездки в Англию для кембриджских лекций открывала возможность остановки в Швейцарии на более продолжительный срок. Но теперь надо было спешить к первому торжественному приему делегации в итальянской Палате депутатов. Со скорым поездом я выехал в Рим, обдумывая в дороге предстоявшую мне роль. Конечно, меня опять выставят ответственным оратором.

Мне пришло в голову удивить публику, сказав свою речь по-итальянски. Произношение у меня было хорошее, без акцента; знание языка достаточное, чтобы не **{254}** подчинять мысль словесному выражению; недостатки стиля исправят на месте друзья-эмигранты. И я принялся писать текст выступления в вагоне. Это не помешало наслаждаться красотами Lago Maggiore при переезде через Симплон. Этим путем я попадал в Италию впервые.

Мои ожидания осуществились: на вокзале меня встретил Ал. Амфитеатров, известный писатель, переселившийся от русской цензуры (Он неуважительно обращался с фамилией Романов. (Прим. автора).) в Италию, и отвез меня в приготовленный для делегации отель. Мы вместе прочли мое произведение, и он вызвался внести необходимые поправки. Скоро затем нас повезли в помещение Палаты, где, в полуциркуле амфитеатра, собрались депутаты и некоторые министры. Итальянцы говорили по-итальянски и — неважно — по-французски. Моя итальянская речь произвела фурор. К сожалению, я не помню ее содержания. Едва ли я прославлял «вечный» Рим ссылками на всемирные задачи римских

цезарей и средневековых пап. Но у меня давно и глубоко засело уважение к первой в Европе мирской культуре итальянского ренессанса; я переживал душой итальянское risorgimento (Возрождение — в данном случае итальянское национально-освободительное движение 19 века.) и триумф национального принципа в годы объединения Италии. Тут было достаточно материала, чтобы сказать итальянцам, что мы ценим в Италии и почему мы ее любим. Итальянцы меня наперерыв благодарили, а Соннино имел любезность сказать, что это была лучшая речь. Я был доволен, как редко бываю, своим ораторским успехом.

Нас возили в Квиринал и представили королеве — в противоположность королю, женщине высокого роста, дородной и красивой. Я имел удовольствие обменяться с ней несколькими репликами на полуславянском языке (я говорю плохо по-сербски). Король был на фронте, и последней стадией нашего пребывания в Италии должна была быть поездка туда. На прощанье, муниципалитет дал нам обед, обильный — и без речей. Но к концу **{255}** обеда толпа народа собралась у здания муниципалитета, чтобы приветствовать делегатов. Нам предложили показаться у окна, и при нашем появлении раздались дружные возгласы и аплодисменты. Италия — страна вдохновений, и я опять воодушевился, импровизировав кое-какую приветственную речь. Я был очень горд римскими ассоциациями: на том самом месте, где 35 лет назад я, неизвестный студент, был задержан служащими музея чуть не по подозрению в краже, я, представитель народа, говорю с Капитолия речь к римскому народу, — в двух шагах от статуи Марка Аврелия и рядом с этим самым музеем! Но тут же я был наказан за свою гордость.

К окну протиснулся Протопопов, красный от возлияний Бахусу, и начал хриплым голосом выкрикивать какие-то французские слова, ломая их на оперный лад и воображая, что он говорит по-итальянски. Я усердно дергал его за фалды; скоро его запас истощился, и он умолк, догадавшись сконфузиться. Римский народ не заметил комизма сцены и продолжал хлопать... Нам дали отдохнуть после сытного обеда, и прямо из муниципалитета нас повезли на фронт.

Из-за затянувшихся переговоров об условиях вступления на стороне Антанты, Италия пропустила момент, когда Австрия была наиболее отвлечена русским наступлением, и вступила в войну при сравнительно неблагоприятных условиях. Продвижение итальянских войск на австрийской территории шло очень медленно. Только в восточной части фронта, в направлении р. Изонцо и Горицы, итальянцам удалось занять пограничную полосу, — и, естественно, нас повезли именно туда. Через Удино мы приехали в ставку короля, поблизости к фронту. Здесь все было полно восторгами от поведения короля, который проявлял необычайную смелость. Он упорно оставался в помещениях, над которыми летали неприятельские аэропланы, вел простую жизнь наравне с солдатами и т. д. Нас пригласили на его обычный завтрак, и мы могли убедиться в крайней простоте его образа жизни.

За простым деревянным столом сидело несколько офицеров, пища была более чем умеренная и дешевая, вина вовсе не было. Меня отличили, **{256}** посадив рядом с королем, и он меня очаровал своим непринужденным обращением. Мы разговаривали по-итальянски; в темах беседы не было ничего искусственного, заранее заготовленного: говорили о злобах дня, и офицеры временами вмешивались в беседу. Для нас тут же были намечены две поездки: по оккупированной территории в долине р. Изонцо и в горных укреплениях, у самого порога военных действий. Цель первой поездки была показать картину совершенно замиренного населения в только что завоеванной полосе; цель второй — познакомить с последними усовершенствованиями в приемах горной войны. То и другое было очень интересно и поучительно.

Под этими благоприятными впечатлениями мы покидали Италию.

Дома нас ждали сведения, отнюдь не благоприятные. Прежде всего, нам надо было спешить возвращаться, чтобы поспеть к окончанию летней сессии Думы. До нас дошли известия, что Думу предполагается распустить до нашего приезда, и мы телеграфировали Родзянке просьбу — постараться затянуть сессию. Позднее мы узнали, что он был у Штюрмера по этому поводу — и добился цели. Но самая возможность сжимать и растягивать сессию по изволению председателя Совета министров была уже нарушением закона. Тогда уже вошли в обычай бланки, даваемые царем премьеру на определение срока и на отсрочку (или даже роспуск) Государственной Думы. Но к этому мы вернемся.

При возвращении, делегация разделилась на три группы. Я был во второй, Протопопов в последней. Проезжая через Стокгольм, я не мог, таким образом, знать, что следом за мной ехавший Протопопов, по своему легкомыслию ли, или с более серьезными намерениями, втянулся в авантюру, которая оказалась чревата важными последствиями. Он согласился на свидание с представителем германского посла Люциуса, Варбургом, и имел с ним разговор о германских условиях сепаратного мира. По той же своей черте, он не скрыл этого по возвращении, разглашал в кулуарах, и уже в Петербурге я узнал о самом факте и о содержании беседы.

Мое **{257}** первое впечатление было — свести на-нет этот эпизод, объяснив его протопоповским хлестаковством. Я пригласил к себе Протопопова и, в присутствии В. В. Шульгина, пробовал убедить его, чтобы он не придавал значения встрече, а объяснял бы ее, как случайное приключение туриста. Но дело оказалось гораздо серьезнее. Как раз с этой беседы с Варбургом Протопопов быстро пошел в ход. Он был приглашен царем в ставку, чтобы рассказать о впечатлениях заграничной поездки — и для другой цели. Но к этому я тоже вернусь впоследствии.

Мы приехали, как сказано, перед самым окончанием летней сессии Думы, и в предпоследний день Шингарев только успел сделать общий доклад в заседании Думы — в духе «священного единения» России с ее союзниками; после ответа Родзянки состоялась тут же «бурная овация» послам, присутствовавшим в дипломатической ложе. Для более серьезных отчетов было назначено закрытое заседание комиссии обороны. На это заседание собралось большое количество депутатов;
полуциркульный зал Думы (позади председательского места) был полон. Пришли и некоторые министры. Доклады были сделаны Шингаревым об исполнении военных заказов, мною — о настроениях общественного мнения в союзных странах и, в особенности, о положении польского вопроса, подполковником Энгельгартом — о военном деле у союзников и Демчинским — кажется, о . военной промышленности.

9. «ДИКТАТУРА» ШТЮРМЕРА

Я употребляю это ироническое заглавие для характеристики периода, прошедшего между появлением Штюрмера во главе правительства 20 января 1916 г. и его отставкой 10 ноября того же года. Между двумя словами этого заглавия, конечно, нет ничего общего, и я так же хорошо мог бы озаглавить этот предреволюционный год словами: «паралич власти». Между обоими заголовками есть внутренняя связь: «паралич власти», **{258}** как следствие претензий Штюрмера на «диктатуру». Можно было бы возразить, что в одинаковом смысле оба заголовка приложимы и к 1915 году — году «диктатуры Горемыкина». Процесс, который развертывается в оба года войны, — конечно, один и тот же. Но стадии процесса различны. В 1915 году главная забота русских людей была направлена на исправление военных неудач, и это достигалось сотрудничеством, хотя и недружным, Совещания по обороне и общественных организаций с правительством. В 1916 году этого сотрудничества уже недостаточно, ибо забота обращена не на фронт, а на тыл. Не отступление войск и отсутствие снарядов заботит русских людей, а глубокое функциональное расстройство самой страны. И именно оно повелительно ставит дилемму между диктатурой и — сдачей власти. Князь Львов с гордостью говорит теперь на съезде Союза: «мы делаем государственное дело». Он мог бы сказать: «мы заменяем государственную власть».

В 1915 году страна жила инерцией довоенного благополучия. Экономические и финансовые трудности прикрывались традицией Коковцовских бюджетов, а добавочные тяготы и раньше удовлетворялись помимо бюджета, утверждаемого Государственной Думой.

В стране вдруг появилось много денег, и первое впечатление было, что деревня сразу разбогатела. Первые наборы еще не успели ослабить народную производительность, посевы почти не уменьшились, вклады в сберегательные кассы росли, миллиардные кредитные операции государственного банка удавались на славу, эмиссии краткосрочных обязательств прибавляли новые выпуски бумажных денег к непокрытым старым... Темная сторона этого кажущегося благополучия уже начинала, правда, сказываться: рост цен на продукты потребления, обесценение заработной платы и содержания администрации, падение вывозной торговли с закрытием границ и т. д. Начинал расстраиваться и транспорт, но, в общем, распределительный аппарат страны еще не был парализован.

В 1916 г. мы имеем другую картину. Чтобы сразу подчеркнуть контраст, я прибегну к цитате: сжатому **{259}** резюме положения, сделанному для чрезвычайной комиссии не кем иным, как А. Д. Протопоповым, бывшим министром внутренних дел. «Финансы расстроены, товарообмен нарушен, производительность страны — на громадную убыль,... пути сообщения — в полном расстройстве... Двоевластие (ставка и министерство) на железных дорогах привело к ужасающим беспорядкам... Наборы обезлюдили деревню (брался 13-й миллион. — П. М.), остановили землеобрабатывающую промышленность, ощутился громадный недостаток рабочей силы, пополнялось это пленными и наемным трудом персов и китайцев...

Общий урожай в России превышал потребность войска и населения; между тем, система запрета вывозов — сложная, многоэтажная, — реквизиции, коими злоупотребляли, и расстройство вывоза создали местами голод, дороговизну товаров и общее недовольство... Многим казалось, что только

деревня богата; но товара в деревню не шло, и деревня своего хлеба не выпускала. Но и деревня без мужей, братьев, сыновей и даже подростков тоже была несчастна. Города голодали, торговля была задавлена, постоянно под страхом реквизиций. Единственного пути к установлению цен — конкуренции — не существовало... Таксы развили продажу «из-под полы», получилось «мародерство», не как коренная болезнь, а как проявление недостатка производства и товарообмена... Армия устала, недостатки всего понизили ее дух, а это не ведет к победе».

В чем же были препятствия? Наш бывший товарищ по Думе и по путешествию, в порыве раскаяния, отлично видит причину. «Упорядочить дело было некому. Всюду было будто бы начальство, которое распоряжалось, и этого начальства было много. Но направляющей воли, плана, системы не было и не могло быть при общей розни среди исполнительной власти и при отсутствии законодательной работы и действительного контроля над работой министров. Верховная власть... была в плену у дурных влияний и дурных сил. Движения она не давала. Совет министров имел обветшавших председателей, которые не могли дать направления работам Совета... Работу захватили общественные организации: они **{260}** стали «за (т. е. вместо. — П. М.) власть», но полного труда, облеченного законом в форму, они дать не могли».

Таково было положение, при котором мысль о диктатуре навязывалась сама собою. Вопрос этот был поставлен в ставке начальником штаба ген. Алексеевым в интересах военного ведомства. Дело снабжения и продовольствия армии страдало от несогласованности мер с положением транспорта, и Алексеев считал необходимым сосредоточить эти три ведомства в одном лице — «диктатора», который бы соединял гражданскую власть с военной. Диктатором должен был быть военный. Этот вопрос обсуждался в заседании Совета министров в ставке, под председательством Штюрмера, 27 и 28 июня 1916 г. О проекте была осведомлена и Дума, и Родзянко отправился в ставку с целью убедить царя отказаться от создания «диктатуры тыла».

Его аргументация, очень размашистая, изложена в его известной статье. Но, как часто с ним бывало, он размахнулся мимо цели. В упомянутом заседании Штюрмер тотчас почувствовал, что эта «сверх-власть» могла бы достаться ему и должна будет выразиться в его праве, «когда министры ссорятся», решать вопрос по-своему. Штюрмер рассказал на допросе, как кто-то «произнес слово диктатор», а «кто-то другой» спросил его: «зачем создавать еще новое лицо,... почему вы (Штюрмер) не можете это сделать»? Царь спросил его: «мог ли бы я принять», — и Штюрмер почувствовал себя зараз и председателем Совета министров и диктатором. Но «в тот же день вечером» он «успел обдумать» и телефонировал государю, что не может совместить эти два поста с третьим — министра внутренних дел. Дело объяснялось просто: как раз подвернулось новое освободившееся место — царь решил дать отставку Сазонову. Министерство внутренних дел «кропотливо ... там во всякое время дня и ночи справки, телеграммы, телефоны, распоряжения»... А министерство иностранных дел легче: сиди и слушай, как в определенный час Нератов разговаривает с послами. И Штюрмер выпросил у царя, не имевшего кандидата, пост министра иностранных дел, передав внутренние дела другому неожиданному **{261}** кандидату, А. А. Хвостову. Так произошло 7 июля это назначение, поразившее и русское общественное мнение, и мнение союзников. «Диктатор» во внутренней политике становился руководителем внешней.

Разумеется, из этого ничего не вышло. Вместо Совета министров, Штюрмер командовал только отдельными министрами, созываемыми в желательном составе по каждому отдельному вопросу. Да и как вообще он мог командовать? Когда в чрезвычайной комиссии его спросили, с какой «программой» он принимал власть, Штюрмер был чрезвычайно смущен. «Программа? Как вам сказать?.. Одно вытекало из другого... Я полагал, что нужно... без столкновений, без ссор (с Государственной Думой. — П. М.) поддержать то, что есть... А завтра будет видно, что будет дальше»... А как же внутренние дела в громадном государстве? — допрашивала комиссия. Штюрмер уперся: «ряд реформ... поставленных жизнью, например волостная реформа, мелкая земская единица»... К следующему заседанию Штюрмер «продумал вопрос» и к нему вернулся. «У меня не могло быть программы..., потому что у нас не так ведется, как в Европе!» Ну, а как во внешней политике? — продолжала интересоваться комиссия. Это легче: «программа» тут была — получить от союзников проливы и затормозить польский вопрос, на котором пал Сазонов...

Надо еще прибавить: сидеть с послами и молчать, не понимая, о чем они говорят с Нератовым, — этой ходячей энциклопедией министерства. Как видим, никакой «диктатуры» не было. Было бездействие власти, занятой скрытой борьбой с Думой и открытой — с общественными организациями. «Может быть, я был недальновиден», допускал Штюрмер в ответ на настойчивые укоры председателя чрезвычайной комиссии, но... «я служил старому режиму,... а на новое не считаю себя способным».

Мы не имели всех этих красочных данных, опубликованных уже после переворота.

Но в оценке личности и деятельности незадачливого «диктатора» мы не ошибались, и это дает мне. основание освежить портрет **{262}** заместителя Горемыкина, не прибегая к личным воспоминаниям.

От 16 апреля до 19 июня 1916 г. я не был в России и, естественно, не мог следить за событиями и настроениями в течение этих двух месяцев. Первой моей заботой было пополнить этот пробел, а первым впечатлением — отставка Сазонова и захват Штюрмером министерства иностранных дел. Сазонов был отставлен, неожиданно для себя, во время отпуска, вскоре после того, как я в своем докладе закрытому заседанию думской комиссии обороны подробно рассказал о положении польского вопроса на основании своих заграничных впечатлений. Не знаю, была ли тут прямая связь; но я как раз упоминал о моем согласии с Сазоновым по этому вопросу.

Подобно ему, я считал, что германская оккупация Польши изменила положение и что нам необходимо занять новую, более прогрессивную позицию в польском вопросе, чтобы предупредить германские обещания и сохранить решение вопроса в руках России. Гр. Велепольский, наш спутник заграницей, с своей стороны, тотчас по возвращении, 27 июня представился императору, говорил ему о необходимости издания нового акта о Польше и получил обещание, что акт будет скоро издан. 22 июля (т. е. после отставки Сазонова) его брат посетил императрицу, и после разговора с ним императрица телеграфировала царю просьбу «задержать разрешение польского вопроса до ее приезда в ставку» (ее посещения ставки с июня стали все более частыми). Последовала отсрочка, а 19 августа Велепольский, получив новые сведения из Парижа, потребовал наконец определенного ответа от Штюрмера. На этот раз, в виду ожидавшегося германского акта, поляками было предъявлено требование уже не о «персональной унии», а о польской независимости. Штюрмер, после доклада в ставке (26 августа), пробовал опять успокоить Велепольского, что «все будет сделано», пытался исказить телеграфный ответ Велепольского в Париж в примирительном духе и — замолк. Только после издания германского акта (6 ноября) Велепольский получил 23 декабря новую аудиенцию у царя, который **{263}** ему обещал, что «Польше будет дарован собственный государственный строй со своими законодательными палатами и собственная армия». Но дело и на этот раз ограничилось созданием новой (русской) комиссии, которая еще продолжала совещаться в феврале 1917 г. — в ожидании приглашения польских представителей. «Патриотическая» отговорка Штюрмера состояла в том, что, как он сказал, «когда начался польский вопрос, когда поляки просили, чтобы им были даны известные права», он «настаивал, чтобы сначала русский народ получил» (проливы). Разрешить вопрос пришлось уже Временному правительству.

Другой, для меня важнейший вопрос состоял в том, как прошла летняя сессия Думы 16 мая — 20 июня. Штюрмер, очевидно, разрешил эту сессию à contrecoeur (Против роли.) — в тревожном ожидании, займется ли она «делом» или «политикой». Чрезвычайная комиссия вскрыла, что на случай «политики», т. е. «нежелательных» выступлений. Штюрмер получил от царя накануне открытия сессии бланковые разрешения закрыть Думу. Но — Дума на этот раз занялась «делом». Однако, теперь и «дело» отзывалось «политикой». Дума принялась за обсуждение законопроектов, поставленных на очередь блоком. Некоторые из них, особенно городскую реформу, она успела подготовить. Но тут и крылась «политика». Ведь теперь не существовало «пробки» против думского законодательства, так как в Государственном Совете имелось большинство блока. Позднее рассчитывали, что правой партии не хватало до большинства 15 голосов. И уже 7 июня Штюрмер заявлял в записке царю, что проведение совокупности блоковых законопроектов «поставило бы страну в положение совершенно безвыходное». Я упоминал, что сессию удалось протянуть до дня возвращения думской делегации. Только после ее закрытия и новой «отсрочки» до 1 ноября Штюрмер вздохнул свободно: четыре слишком месяца были в полном распоряжении «диктатора».

Широкая публика об этой скрытой стороне **{264}** борьбы Штюрмера ничего не знала, — и я сам узнал изложенные подробности только из допроса Штюрмера чрезвычайной комиссией. И для всех оставалось совершенно непонятным, почему, после бурных столкновений блока с правительством в 1915 г., Дума вдруг в начале 1916 г. как бы присмирела и занялась «толчением воды в ступе». Я уже говорил, что Дума «засела в окопах» в ожидании нового конфликта. Я убеждал нетерпеливых, что важно самое существование блока, которое «загнало власть в угол и держит ее в тупике». Стоит взорвать блок, — и правительство вернет себе свободу маневрировать. Дума не есть, говорил я, орудие внепарламентской борьбы; но когда борьба окажется необходимой, Дума будет на месте. Мы держим связь с общественными организациями, но, в ожидании, миримся с временным затишьем. Блок своего часа дождется. Более левые течения не могли знать этой моей аргументации — и не мирились бы с ней, если бы знали. Их впечатление было, что Дума отстала от событий; она только «говорит», когда нужно

«действовать». Как «действовать», оставалось их секретом.

Из воспоминаний И. В. Гессена я узнал позднее, что этого рода критика направлялась и на меня лично в журнальных и литературных кругах, от которых моя политическая роль меня отдалила. Недовольство нашей тактикой проникло даже в нашу фракцию, обыкновенно дружную и единомысленную. Застрельщиком левых настроений выступил Некрасов, молодой инженер и преподаватель Томского Технологического института. Я назначил специальное заседание для пересмотра вопроса о нашей тактике. Прения были жаркие, но в итоге за левую тактику высказались всего двое или трое протестантов. Как бы то ни было, я тут не мог уступить: я знал материал, с которым приходилось считаться, чтобы двигать вперед всю думскую машину.

Третье обстоятельство, которое меня волновало и требовало выяснения, было — история возвышения, в моем отсутствии, А. Д. Протопопова. Слухи о попытках германцев завязать сношения с Двором по вопросу о заключении сепаратного мира ходили и раньше.

{265} Но, кроме слухов, тут были и конкретные факты. Было известно о попытке фрейлины Васильчиковой поднять этот вопрос еще весной 1915г. Она писала царю о предложении, сделанном ей фон-Яговым в Берлине, и привезла императрице письма ее брата и сестры Гессенских. Правда, она была выслана из Петербурга и лишена звания фрейлины, и было ясно, что царь отнесся к этой попытке отрицательно.

Но слухи о сношениях императрицы с германскими родственниками, о ее заботах о германских пленных продолжались, вместе с ее установленной репутацией «немки».

Арест Сухомлинова и заключение его в крепость по обвинению в измене вызвали беспокойство царской четы. На вопросе о германском шпионаже А. Н. Хвостов сделал себе репутацию у государя. Естественно, что вызов Протопопова к царю тотчас по возвращении из-за границы и ласковый прием в ставке вызвали усиленный интерес к его беседе с Варбургом в Стокгольме.

Мы с Шульгиным выслушали от Протопопова его рассказ об этой беседе по черновику в его записной книжке. (Восстановить точно германские предложения он отказался, и самая книжка потом исчезла). Там заключались во всяком случае вполне конкретные предложения: присоединение к Германии Литвы и Курляндии, пересмотр границ в Лотарингии (Эльзас оставлялся в стороне) и, наконец, возвращение колоний; Польша должна быть восстановлена только из двух частей, русской и австрийской, — «в Германии нет поляков»; границы — географические, а не этнографические; Бельгия будет восстановлена; Англия, главная виновница войны, обманет Россию, — Германия даст ей больше (Ягов обещал через Васильчикову проливы и Константинополь). Протопопов с увлечением рассказывал, как он «полюбил» государя и как государь его «полюбил» после этого приема. Я охотно верю, что тут была не простая поза с целью самооправдания. Я уже отметил сентиментальную привязчивость упадочной натуры Протопопова. Тут он действительно расчувствовался. Он «полюбил» также и императрицу. В сношениях царственной четы с посторонними эта чувствительность проявлялась не часто; очевидно, она была **{266}** сразу оценена, и на этом состоялось необычайно быстрое сближение Протопопова с тесным кругом «друзей». Конечно, тут присоединился и элемент житейского расчета. Беспринципность Протопопова мне была известна; но для меня все же был неожидан его крутой переход от сравнительной левизны, проявленной в нашей заграничной поездке, к прямо противоположному кругу идей. Я не подозревал тогда, что уже до нашей поездки начались сношения Протопопова с Распутиным и Вырубовой (через Бадмаева) и что Распутин уже обещал ему министерский пост, когда, по возвращении, он увидится с царем.

Протопопов метил на министерство торговли и промышленности, более ему подходящее, а назначен был в министерство внутренних дел, «временно» занятое дядей Хвостова, после того как Штюрмер предпочел переместиться с внутренних дел на внешние. Единственным мотивом назначения, кажется, было то, что в разговоре с царем он проявил интерес к продовольственному вопросу; но как раз продовольственный вопрос перешел еще при Кривошеине в министерство земледелия, и Протопопов тщетно пытался вернуть его оттуда. Назначение Протопопова управляющим министерством внутренних дел состоялось 18 сентября. Помню, встретив его потом в Думе, я выразил ему свое изумление и спросил, намерен ли он проводить программу Штюрмера. Ответ был сбивчивый, и разговор пресекся. От «либерализма» Протопопова осталось три пункта: «судебная» ответственность министров, расширение прав евреев и жалованье духовенству. Четвертый пункт — в туманной перспективе — реформа земства. Но в каком направлении? Перед чрезвычайной комиссией Протопопов заявлял: «я отлично видел, что правительства нет»...; «общественность захватила власть и делает то, что надлежит делать правительству»; «мне казалось, что правительство должно делать то, что делали общественные учреждения». Последствия этой модуляции в новый тон мы увидим.

Но прежде, чем переход произошел, наш ласковый теленок хотел, — и был уверен, что может, — сосать двух маток. Он не отказался от звания члена Думы — **{267}** и даже порывался выступать, как таковой. Он хотел оправдаться перед сочленами — и просил Родзянко устроить для этого свидание с членами сеньорен-конвента. Свидание состоялось, и надеждам Протопопова был нанесен жестокий удар. Он был жалок, но мы его не пожалели. Он потом жаловался, что его «били, заплевали, бичевали, затюкали», — и этим объяснял даже свой окончательный переход к правым. Я принял в этом большую долю участия, записал по памяти его бессвязный лепет, и моя запись пошла гулять в публике. Он был уверен, что за стеной сидел стенографист: точная запись звучала карикатурой. Родзянко потом не подал ему руки в царской передней. Не встретил он поддержки и со стороны своих новых коллег. Оба премьера — Штюрмер, и потом Трепов требовали его ухода и называли его царю «сумасшедшим». *По более приемлемой номенклатуре Двора он, вероятно, скорее был на счету «юродивого»,* — и в этом качестве царский кружок сохранял к нему какое-то исключительное доверие и нежность, почти ввел его в тесную среду «своих» и сохранил в должности, утвердив в звании министра (20 декабря 1916 г.), вплоть до последней развязки. Там мы к нему вернемся.

Я должен теперь признаться, что, несмотря на всю напряженность положения, я без больших опасений вновь покинул свой пост для второй заграничной поездки. Это, очевидно, вытекало из моей уверенности, что в развертывающейся драме Дума не будет решающим фактором, — и из той роли, которую я себе соответственно наметил. Я расскажу об этой поездке вкратце — поскольку она все же была связана с Россией и с русским событиями.

Уже во время первой поездки я получил два приглашения, от которых было теперь поздно отказываться. Одно — в Англию. Наш доброжелатель, проф. Пэре, задумал присоединить к политическому празднику союзников культурный праздник славян. Он сделал из этого тему для очередного летнего съезда University Extension в Кембридже. Приглашены были участвовать секциями я, Струве и Дмовский. Другое предложение, на некотором промежутке, было из Христиании — **{268}** прочесть в университете несколько лекций на обратном пути. Но больше всего меня привлекала возможность провести этот промежуток времени в Швейцарии, чтобы собрать из недоступных в России источников данные о таинственных сношениях германцев с русским сферами по поводу заключения сепаратного мира. Прежде всего, проездом через Стокгольм я пробовал расспросить об этом Неклюдова. Он отозвался полным незнанием о переговорах Протопопова и утверждал, что самый факт свидания с Варбургом стал ему известен только после того, как свидание произошло.

В Христиании Гулькевич встретил меня, как старого знакомого, — и устроил мне интересное свидание с королем Гаконом. Я был совершенно очарован приемом короля. Уже не молодой, он встретил меня с видом студента, который хочет оказать почтение своему профессору. Беседа шла живо и непринужденно. Он хотел узнать от меня подробности о политическом положении в России; мне нечего было от него скрывать, — тем более, что и сам он оказался достаточно осведомленным. Я нарисовал ему в мрачных красках картину внутреннего расстройства России, грозящего не только военными неудачами, но и непосредственной опасностью для государственного строя. Я особенно подчеркнул, что самое существование династии находится в опасности, что царственная чета совершенно изолировала себя от населения, что она борется с воображаемыми врагами и не видит действительных, что она вообще не подготовлена к пониманию положения и не умеет выбрать советников. Я затем обратился к нему с вопросом: каким образом другие родственные династии Европы могут пассивно относиться к подобному положению и ничего не предпринимают, чтобы осведомить русскую — верховную власть о действительном положении вещей? Гакон ответил, что одной перепиской тут ничего не сделаешь; что необходимы личные воздействия, которые затрудняются отсутствием свиданий. Впрочем, прибавил он, такое свидание имеется в виду, и он лично надеется его использовать для указанной цели. Я ушел от **{269}** короля с сознанием достигнутого положительного результата...

В Кембридже меня ожидала знакомая обстановка летнего съезда University Extension: университетский центр полон приезжими учителями и учительницами, перебегающими с лекции на лекцию и спешащими взять от профессоров, что только можно. Я наметил для своих лекций две темы, близкие к актуальности, но держащиеся в академических рамках: «Пробуждение национальностей на Балканах», как интродукция к происходившей войне, и «Русская конституция» с ее трюками и провалами, как интродукция к пониманию политической борьбы в России. Обе лекции вызвали ряд вопросов со стороны аудитории и прошли оживленно. Дмовский был корректен и лоялен к нам в своем изложении польского вопроса: с 1908 года он объявил свой «поворот к Востоку». Струве был очень учен — и не очень в дружбе с английским языком, но это не помешало аудитории отнестись к нему с

должным почтением. Но главное торжество ждало нас впереди: сенат Кембриджского университета решил возвести нас в звание почетных докторов. Ритуал был проведен с обычной торжественностью, включая и право студентов реагировать на ученую промоцию возгласами с хор — дружественными или недружественными. На этот раз обошлось без этого вмешательства.

Как полагается, специальный оратор прочел перед каждой промоцией речь на латинском языке о достоинствах докторантов. Я с интересом выслушал, что являюсь потомком того «Павла, который некогда пришел из далеких стран к реке Кэм», принеся с собой просвещение. После промоции нас одели в примеренные заранее мантии красного бархата и такие же береты и провели торжественной процессией по улицам города. Я, таким образом, получил право ставить при своей фамилии буквы LLD (Legum Doctor) и, если бы дорожил титулами, я мог бы с удовлетворением сопоставить это позднее признание с своим московским обетом — остаться на всю жизнь русским «магистром» и не искать звания «доктора».

Гораздо чувствительнее для меня был банкет, **{270}** специально устроенный для меня профессорами и «избранной публикой»; на нем произнес приветственную речь Sir Paul Vinogradoff, создавший себе мировое имя лекциями по средневековому праву на Оксфордской кафедре, — после того как он был принужден, одновременно с М. М. Ковалевским и С. А. Муромцевым, уйти из Московского университета от правительственных гонений. Взволнованная речь моего старого учителя и друга как бы восстановляла отношения, испорченные охлаждением дружбы, а потом и расхождением во взглядах (П. Г. был ближе всего к октябристам). Меня познакомили с профессорами, в том числе с сыном знаменитого Дарвина. Были налицо и русские свидетели моего торжества.

Перед отъездом из Англии я виделся с престарелым
гр. Бенкендорфом — и услышал от него характеристику впечатления, произведенного на союзников назначением Штюрмера вместо Сазонова. Раньше он пользовался безусловным доверием союзников, и ему сообщали всякие секретные сведения. Теперь же, сказал он мне, когда он приходит, от него припрятывают в стол секретные бумаги — и объясняют: «мы теперь не уверены, что самые большие секреты не проникнут к неприятелю; мы имеем сведения, что эти секреты со времени назначения Штюрмера каким-то путем становятся неприятелю известны». Я не раз потом цитировал это показание нашего посла в Лондоне.

Я, наконец, добрался до Швейцарии и остановился в Лозанне, где у меня были кое-какие связи с старой русской эмиграцией. В этой среде все были уверены, что русское правительство сносится с Германией через своих специальных агентов. На меня посыпался целый букет фактов — достоверных, сомнительных и неправдоподобных: рассортировать их было нелегко. Я получил сведения о русских германофильских салонах, руководимых дамами с видным общественным положением.

Один из них принадлежал Нарышкиной (которую я смешал с престарелой статс-дамой Е. К. Нарышкиной, приближенной к императрице). Другой, перебравшийся из Италии в Montreux, был особенно интересен **{271}** тем, что для сношений с ним, как мне говорили, Штюрмер послал специального чиновника, ставшего постоянным посетителем салона, — для наблюдения ли или для посредничества, оставалось неясным. Мне, как представителю к. д., была лично доставлена записка некоего Рея, уличавшая Извольского в германофильстве. Но на обратном пути, в Париже, Извольский, по моей просьбе, навел справку у Бриана, и оказалось, что Рей — лицо приближенное к Вильгельму. Правда, в семье Извольского гостила родственница его жены, не скрывавшая своих германофильских симпатий и создавшая посольству репутацию германофильского гнезда. С своей стороны, Извольский мне рассказал об участии Манасевича-Мануйлова в попытке подкупить «Новое время» германскими деньгами. Во всем этом, в связи с данными, собранными мной в России, было, повторяю, нелегко разобраться. Часть материала из Швейцарии я все же использовал для своей речи 1 ноября.

На обратном пути я остановился в Христианин для прочтения лекций. Тема, мне заданная, была характеристика «русской души». В славянофильском понимании эта тема противоречила моим взглядам, и мне предстояло, начав с критики популярного понимания этого ходячего заграницей термина, сосредоточить внимание слушателей на главном органе русского национального самосознания, т. е. на русской интеллигенции. Я изложил историю развития этого национального «чувствилища». Аудитория была полна, публика — «избранная», сочувствие — несомненное. Мы остались друг другом довольны (Лекции были напечатаны в ежемесячном журнале Samtiden (Прим. автора).). Я на этот раз пополнил свое представление о Норвегии, попросив сына известного писателя Arne Garborg'a дать мне несколько уроков норвежского языка. Я узнал, что, после отделения от Швеции, норвежский литературный язык быстро приближается от влияния придворных слоев и высшего класса к народным низам, т. е. переходит от литературного датского к мужицкому шведскому, мне известному. Это еще

укрепило мои симпатии к демократической, стране.

{272}

10. ПЕРЕД РАЗВЯЗКОЙ

Я потратил на эту вторую поездку август и часть сентября. Первым вопросом при возвращении был, естественно: опоздал я или не опоздал к тому, что за, это время происходило в России? Ответ был двоякий. К тому, как описано выше внутреннее положение России, я не опоздал. Оно по существу не изменилось, и к описанному мне почти нечего прибавить. Но я, несомненно, опоздал в другом отношении. Все, что было раньше известно более или менее тесному кругу посвященных, сделалось за это время достоянием широких кругов публики и рядового обывателя. Соответственно поднимался и барометр внутреннего настроения. Оно еще не выразилось в каких-либо драстических формах и не отлилось в определенные политические планы и перспективы. Слово по-прежнему принадлежало Государственной Думе и общественным организациям. Но от той и от других уже ждали, с возраставшим нетерпением, нового слова. Предстояло решить, в чем оно должно будет заключаться. Срок для ответа был определенный. Дума должна была собраться и заговорить 1 ноября. Было a priori ясно, что тон разговора будет теперь иной, нежели в летней сессии мая-июня.

Остановлюсь на некоторых симптомах этих переходных к революции настроений. Первым из них является эволюция взгляда на состав министерства «доверия» или министерства «ответственного», — вопрос, вызвавший, как мы видели, разногласия в самом блоку. В сущности, при всем принципиальном различии двух формул, это был, в тогдашних условиях, спор о словах. Министерство «доверия» страны представляло больше перспектив, нежели министерство «ответственное»... перед Четвертой Думой. И это становилось ясно, как только от формул переходили к лицам. В то время многие занимались составлением списков будущих министров.

И, обыкновенно, в этих списках вариировались все те же имена, ставшие популярными благодаря оппозиции в Думе или благодаря деятельности в общественных **{273}** организациях. «Ответствовать» было не перед кем: вопрос стоял о «доверии».

Я остановлюсь на сравнении трех из этих списков, в хронологическом порядке; это выяснит и их эволюцию — и ее пределы. Первый составлен в квартире крупного промышленника П. Рябушинского («костлявая рука голода», по революционной терминологии) 13 августа 1915 г. — в самый момент составления «блока»; второй — в собрании представителей левых партий, в квартире С. Н. и Е. Д. Прокоповичей, 6 апреля 1916 года, для кадетского съезда; а третий, для сравнения, представляет состав Временного правительства, образовавшегося 2 марта 1917 г.

Министерства	*13 авг. 1915 г.*	*6 апр. 1916 г.*	*2 марта 1917 г.*
Премьер	Родзянко	кн. Львов	кн. Львов
Внутренних дел	Гучков		кн. Львов
Иностранных дел	Милюков	Милюков	Милюков
Финансов	Шингарев		Терещенко
Путей сообщения	Некрасов		Некрасов
Торговли и промышл.	Коновалов	Коновалов (Третьяков?)	Коновалов
Земледелия и землеустройства	Кривошеин	Шингарев	Шингарев
Военный	Поливанов	Гучков	Гучков
Морской	Савич		Гучков
Госуд. контролер	Ефремов		Годнев
Обер-прокур. синода	В. Львов		В. Львов
Народн. просвещения	гр. П. Игнатьев	Герасимов (Мануилов)	Мануилов
Юстиции	В. Маклаков	В. Маклаков (Набоков)	Керенский
Труда		Лутугин	Чхеидзе[26])

[26]) Чхеидзе был предложен пост министра труда, но он от него отказался. (Прим. ред.).

В первом списке введены три тогдашних либеральных министра; в последующих — царских министров больше не **{274}** имеется. В первом списке затем видно влияние умеренной части блока (октябристов); но не исключены и популярные имена думской оппозиции. Эти последние повторяются и в двух следующих списках; но Родзянко заменен кн. Львовым. Второй список, кроме Гучкова, молчит об октябристах и вставляет министерство труда. Третий возвращается к добросовестному представительству думских фракций блока и вводит внеблоковых левых.

Характерно отметить, что второй список, составленный партийными левыми, не отклоняется от общей линии и не содержит партийных левых имен. Между тем, Е. Д. Кускова, по просьбе нашего к. д. Дм. Ив. Шаховского, собрала у себя целый букет левых для составления этого списка, который он повез на кадетский съезд. Тут были и с.-р. (Беркенгейм), и с. - д. (Н. К. Муравьев), и даже большевики (И. И. Скворцов и Э. Л. Гуревич-Смирнов). Кадетов было только двое (Авсаркисов и Максимов-Оглин). В конце только приехал Л. И. Лутугин, добродушный циник, «беспартийный левый», которого мы знаем по 1905г., — и вышутил задачу собрания: «Ваше буржуазное министерство не может просто столкнуть старых калош самодержавия и мирно засесть в новых мундирчиках на их места».

Тем не менее, с. - р. и с. - д. намечали «буржуазное министерство»! В письме ко мне Е. Д. Кускова объяснила это кажущееся противоречие совершенно правильно. Теперь, как и в 1905 г., общее мнение левых было, что в России переворот должен начаться с буржуазной революции. Социалисты принципиально не хотели брать власти с самого начала, оставляя это для следующей «стадии». Нам великодушно предоставлялась отсрочка, и весь вопрос для нас был, как ею воспользоваться. Я и сам разделял это мнение о психологии всех революций. Я только не намеревался складывать рук в ожидании, пока наступит следующая «стадия».

Остановлюсь еще в этой связи на смене Родзянко кн. Львовым в звании премьера. Достаточно прочесть воспоминания Родзянко, чтобы понять, до какой степени этот человек не подходил для той роли, которую должна была сыграть Государственная Дума в предстоявшем перевороте. Но он продолжал мнить себя вождем и **{275}** спасителем России и в этой переходной стадии. Его надо было сдвинуть с этого места, и я получил соответственное поручение, согласовавшееся с моими собственными намерениями. Заменить в планах блока председателя Думы председателем земской организации было нелегко. Но я эту миссию исполнил.

Конечно, она была облегчена всероссийской репутацией кн. Львова: он был в то время незаменим. Не могу сказать, чтобы сам Родзянко покорился этому решению. Он продолжал тайную борьбу; в дальнейшем мы увидим ее проявления. Со мной лично он вступил позднее в печатную полемику, обвиняя меня в деградации Думы после переворота. Я не имел ничего против этого обвинения. Политическая роль, которую Дума играла, так сказать, по молчаливому передоверию, должна была перейти к русской общественности, если эта общественность могла послужить упором против наступления следующих «стадий». В этом смысле, смена Родзянко кн. Львовым была первым революционным шагом и неизбежной прививкой против дальнейшего обострения болезни. В мировоззрение Родзянко это не вмещалось, и я нисколько не жалел, что на мою долю выпало произвести эту хирургическую операцию. Оговорюсь, впрочем: много времени спустя на меня находили минуты сомнения, правильно ли было заменить старого конногвардейца — толстовцем. И все-таки я находил, что другого исхода не было.

Революционизирование общественных организаций, в результате открытой борьбы, которую повело против них правительство, было теперь на очереди. 7 апреля 1916 г. Штюрмер признал несвоевременным разрешение съездов всяких организаций. Затем, 21 сентября, то есть уже при Протопопове, это запрещение было истолковано в том смысле, что собрания с участием лиц, посторонних устраивающему учреждению, считаются собраниями публичными, на которых (как и на закрытых) могут присутствовать представители администрации и прекращать их, если они выходят из рамок непосредственных задач. Мотивировалось это «назревшей потребностью охранять Земский и Городской союзы и военно-промышленные комитеты от всяких эксцессов политического свойства **{276}** для сохранения их высокоценной специальной деятельности». Это лицемерие было, видимо, делом Протопопова. Он прямо заявил кн. Львову: «мне известно, что к. д. имеют план выкрасть царя из ставки, перевезти в Москву и заставить коленопреклоненно присягнуть конституции»!

Поднялась буря протестов, и настроение союзов очень повысилось. Перед самым открытием Думы 1 ноября председатель Думы получил от собрания председателей губернских земских управ и от главноуполномоченного Союза городов обращения к Думе, подписанные Львовым и Челноковым. Кн. Львов писал, что собравшиеся «пришли к единодушному убеждению, что стоящее у власти

правительство, открыто подозреваемое в зависимости от темных и враждебных России влияний, не может управлять страной и ведет ее по пути гибели и позора и единогласно уполномочили его довести до сведения членов Государственной Думы, что в решительной борьбе Государственной Думы за создание правительства, способного объединить все живые народные силы и вести нашу родину к победе, земская Россия будет стоять заодно с народным представительством». В мотивах говорилось о «зловещих слухах о предательстве и измене», о «подготовке почвы для позорного мира», о необходимости «неуклонного продолжения войны до конечной победы». В обращении Городского союза повторялись те же мотивы с присоединением обвинения в «преступной медленности, проявленной в польском вопросе», и Дума уведомлялась, что «наступил решительный час — промедление недопустимо, должны быть напряжены все усилия к созданий», наконец, такого правительства, которое, в единении с народом, доведет страну к победе».

Темы моей речи, которую я готовил к открытию Думы, совпадали с этими указаниями, подтверждавшими ее своевременность и необходимость. Я воспользовался для нее всем материалом, собранным в России и заграницей, но решил идти дальше. Было очевидно, что удар по Штюрмеру теперь уже недостаточен; надо идти дальше и выше фигурантов «министерской чехарды», вскрыть публично «темные силы», коснуться «зловещих слухов», не щадя и того источника, к которому они восходят. **{277}** Я сознавал тот риск, которому подвергался, но считал необходимым с ним не считаться, ибо, действительно, наступал «решительный час». Я говорил о слухах об «измене», неудержимо распространяющихся в стране, о действиях правительства, возбуждающих общественное негодование, причем в каждом случае предоставлял слушателям решить, «глупость» это «или измена». Аудитория решительно поддержала своим одобрением второе толкование — даже там, где сам я не был в нем вполне уверен. Эти места моей речи особенно запомнились и широко распространились не только в русской, но и в иностранной печати.

Но наиболее сильное, центральное место речи я замаскировал цитатой "Neue Freie Presse". Там упомянуто было имя императрицы в связи с именами окружавшей ее камарильи. Это спасло речь от ферулы председателя, не понявшего немецкого текста, — но, конечно, было немедленно расшифровано слушателями. Впечатление получилось, как будто прорван был наполненный гноем пузырь и выставлено на показ коренное зло, известное всем, но ожидавшее публичного обличения. Штюрмер, на которого я направил личное обвинение, пытался поднять в Совете министров вопрос о санкциях против меня, но сочувствия не встретил. Ему было предоставлено начать иск о клевете, от чего он благоразумно воздержался. Не добился он и перерыва занятий Думы. В ближайшем заседании нападение продолжалось.

В. В. Шульгин произнес ядовитую и яркую речь — и сделал практические выводы. Осторожнее, но достаточно ясно поддержал меня В. А. Маклаков. Наши речи были запрещены для печати, но это только усилило их резонанс. В миллионах экземпляров они были размножены на машинках министерств и штабов — и разлетелись по всей стране. За моей речью установилась репутация штурмового сигнала к революции.

Я этого не хотел, но громадным мультипликатором полученного впечатления явилось распространенное в стране настроение. А показателем впечатления, полученного правительством, был тот неожиданный факт, что Штюрмер был немедленно уволен в отставку. 10 ноября на его место был назначен А. Ф. Трепов, и сессия прервана до 19-го, чтобы **{278}** дать возможность новому премьеру осмотреться и приготовить свое выступление.

Казалось, тут одержана какая-то серьезная победа. Но... это только казалось. Самый выбор нового главы правительства показывал, что власть не хочет выходить из своих окопов и продолжает искать своих слуг все в той же старой среде старых сановников. Мы выжидали каких-нибудь шагов по отношению к Думе, чтобы подготовить мирную встречу. Но никаких шагов за эти дни не последовало, и обе стороны встретились врагами. Мы хотели по крайней мере выждать выступления нового премьера, чтобы судить о его намерениях, но левые решили устроить Трепову обструкцию. Три раза он тщетно пытался говорить — и был заглушен криками со скамей социалистов и трудовиков. Не помог ему и заготовленный козырь: оглашение секретного договора об уступке России союзниками Константинополя и проливов.

В ближайшие дни положение еще осложнилось событиями в Москве. Наши выступления 1 ноября подняли еще больше тон Земского союза. На запрещения правительства он решил ответить созывом открытого съезда тем порядком, который в 1905 г. получил название «явочного», то есть с полным игнорированием правительственного вмешательства. Кн. Львов приготовил для открытия съезда речь, которая совершенно порывала с прежними «деловыми» традициями союза.

«То, что мы хотели 15 месяцев тому назад с глаза на глаз сказать вождю русского народа, — констатировал Львов (речь идет о непринятой депутации), — что мы говорили в ту пору шопотом на ухо, стало теперь общим криком всего народа и перешло уже на улицу». Но «нужно ли называть имена тайных волхвов и кудесников нашего государственного управления и... останавливаться на чувствах негодования, презрения, ненависти»? «Когда власть стала совершенно чуждой интересам народа,... надо принимать ответственность на самих себя». «Остается только воззвать к... Государственной Думе, законно представляющей весь народ русский, и мы взываем к ней:... не расходитесь»! «Оставьте дальнейшие попытки наладить совместную работу с настоящей властью; они **{279}** обречены на неуспех, они только отделяют нас от цели. Не предавайтесь иллюзиям, отвернитесь от призраков! Власти нет»! «Стране нужен монарх, охраняемый ответственным перед страной и Думой правительством».

Речь эта не была произнесена — в виду ожидавшегося закрытия съезда полицией. Но ее заменила соответствующая по резкости резолюция, принятая единогласно присутствовавшими 59 представителями от 22 губерний, в обстановке, действительно напоминавшей 1905 год. Собрание разделилось на две части. Главноуполномоченный кн. Львов остался в помещении, куда проникла полиция. Пока она составляла протокол о закрытии, часть членов перешла в другое помещение, под председательством товарища уполномоченного молодого Д. М. Щепкина — и приняла резолюцию.

Дума немедленно реагировала на происшедшее в Москве 9-11 декабря. 13-16 декабря мы поставили на очередь запрос об отношении правительства к общественным организациям и, вопреки попытке Протопопова закрыть заседания, произнесли речи определенного содержания. В частности, я говорил, что, раз борьба переходит в явочную форму, которая не считается с законом, то этим самым восстановляется единый фронт борьбы, существовавший до манифеста 17 октября. До этого момента левые старались отделить себя от блока. Теперь перед нами общие задачи и единый враг. Разница только в том, что размеры борьбы — иные, нежели в 1905 году.

А закончить речь мне пришлось намеком, смысл которого был понят на следующий день. Я говорил, что воздух наполнен электричеством и что неизвестно, куда падет удар. Я знал, куда он падет. За несколько дней перед тем В. А. Маклаков мне рассказал, что готовится покушение на Распутина, о чем его осведомил Пуришкевич. Он потом печатно изложил сообщенные мне сведения. Той же ночью на 17 декабря — появился указ об отсрочке Думы до 19 февраля, а на следующий день произошло убийство Распутина. Сессия началась и кончилась событиями, невозможными при нормальном ходе государственной жизни.

Интересно было узнать впоследствии, как эти **{280}** судьбоносные дни отразились в сознании императрицы (по ее письмам к мужу в ставку). 10 декабря 1916 г. она пишет, как об одержанной победе: «слава Богу, митинги в Москве прекращены. Шесть раз Калинин (прозвище Протопопова) был до четырех утра у телефона, но кн. Львову удалось прочесть бумагу (резолюцию съезда. — П. М.) прежде, чем полиция их нашла в одном месте. Ты видишь, Калинин работает хорошо, твердо и не флиртует с Думой, а только думает о нас». 14 декабря императрица уже делает выводы. «Я бы спокойно и с чистой совестью перед всей Россией отправила бы Львова в Сибирь, отняла бы у Самарина его чин (он подписал эту бумагу в Москве), Милюкова, Гучкова и Поливанова также — в Сибирь. Идет война, и в такое время внутренняя война есть государственная измена. Почему ты так на это не смотришь, я, право, не могу понять. Я только женщина, но моя душа и мой ум говорят мне, что это было бы спасением России». Она старается закрепить в сознании мужа основной тезис всего царствования. «Мы Богом возведены на престол, и мы должны твердо охранять его и. передать его неприкосновенным нашему сыну. Если ты будешь держать это в памяти, то не забудешь быть государем. И насколько это легче для самодержавного государя, чем для того, который присягнул конституции». Что же должен делать «самодержавный»?

«Будь Петром Великим, Иваном Грозным, императором Павлом», советует императрица. «Раздави их всех под собой»!

А Николай II на это отписывается: «бедный старый муженек — без воли» ("poor old huzy—with no will"). *(письма имп. см. на ldn-knigi)*

«Власти нет», писал кн. Львов. «Правительства нет», подтверждал Протопопов. И оба признавали, с противоположных сторон: общественные организации хотят занять место власти. Эти признания определили политическое содержание следующего, предреволюционного отрезка времени.

Прежде чем погрузиться в новогоднюю петербургскую атмосферу, я съездил на Рождественские праздники в Крым — повидаться с И. И. Петрункевичем, который жил в Гаспре, имении графини С. В. Паниной, возле Ялты. С. В. была вхожа в мир великих князей и просто князей, **{281}** и до нас доходили

их настроения. Это было сплошное торжество по поводу геройского поступка «Феликса» (Юсупова-Сумарокова-Эльстона), рискнувшего собой, чтобы освободить Россию и династию от злокачественной заразы.

Мне, признаюсь, подвиг Феликса и Дмитрия Павловича в сообществе с Пуришкевичем не рисовался в этом романтическом свете. Безобразная драма в особняке Юсупова отталкивала и своим существом, и своими деталями. Спасение России оказывалось призрачным; убийство Распутина ничего изменить не могло.

И я предвосхищал суждение русского мужика о гибели своего брата: «Вот, в кои-то веки добрался мужик до царских хором — говорить царям правду, — и дворяне его уничтожили».

Так оно и вышло. Коллективный русский мужик готовился повторить эту операцию над «дворянами». Но в княжеских виллах, окружавших Гаспру, никто об этом не думал. Должен признаться, что и в наших разговорах с И. И. Петрункевичем о том, что ожидало Россию, было больше гаданий, чем конкретных суждений о том, что предстояло через два месяца.

На обратном пути я остановился в Москве — и тут нашел более определенные настроения. Кн. Львов только что вернулся из Петербурга и на квартире Челнокова рассказывал по секрету последние столичные новости. В ближайшем будущем можно ожидать дворцового переворота. В этом замысле участвуют и военные круги, и великие князья, и политические деятели.

Предполагается, по-видимому, устранить Николая II и Александру Федоровну. Надо быть готовыми к последствиям. Немногие присутствовавшие были согласны в том, что самому Львову не миновать стать во главе правительства. Челноков характеризовал потом этот разговор так: «никто об этом серьезно не думал, а шла болтовня о том, что хорошо бы, если бы кто-нибудь это устроил». Я был огорчен, узнав, что В. А. Маклаков, присутствовавший при разговоре, докладывал в кадетском кружке, в особняке кн. П. Д. Долгорукова, более определенно — о предстоящей революции. Мне казалось, что чем больше представляют себе реальный образ революции, тем меньше следовало бы «болтать» о ее неминуемом наступлении и, так **{282}** сказать, ее популяризировать. Помню, однако, и мне поставили в Москве вполне конкретный вопрос: почему Государственная Дума не берет власть? Я хорошо помню и то, что я ответил: «приведите мне два полка к Таврическому дворцу, — и мы возьмем власть». Я думал поставить неисполнимое условие. На деле я невольно изрек пророчество.

Петербургская обстановка заменила все эти гадания действительно реальным содержанием.

11. САМОЛИКВИДАЦИЯ СТАРОЙ ВЛАСТИ

После боевого столкновения блока и общественных организаций с правительством в ноябре и декабре 1916 года, январь и февраль 1917 года прошли как-то бесцветно и не оставили ярких воспоминаний. А между тем эти два месяца были полны политическим содержанием, оценить которое пришлось уже после переворота. Можно судить различно, был ли это эпилог к тому, что произошло, или пролог к тому, что должно было начаться; но это был, во всяком случае, отдельный исторический момент, который заслуживает особой характеристики. Его основной чертой было, что все теперь (включая и «улицу») чего-то ждали, и обе стороны, вступившие в открытую борьбу, к чему-то готовились. Но это «что-то» оставалось где-то за спущенной завесой истории, и ни одна сторона не проявила достаточно организованности и воли, чтобы первой поднять завесу. В результате, случилось что-то третье, чего — именно в этой определенной форме — не ожидал никто: нечто неопределенное и бесформенное, что, однако, в итоге двусторонней рекламы, получило немедленно название начала великой русской революции.

Государственная Дума была снова отсрочена, но не распущена.

В конце 1916 года говорили о роспуске и о выборах в новую, Пятую Думу. Но на выборы идти не решились — и еще менее проявили готовности совсем отменить Думу или переделать ее при помощи нового государственного переворота. Царь, правда, **{283}** вызвал Н. А. Маклакова, чтобы поручить составить манифест о полном роспуске, и бывший министр призывал царя заблаговременно принять меры «к восстановлению государственного порядка, чего бы то ни стоило». «Смелым Бог владеет», убеждал Николая преемник Столыпина.

Но Николай, «торопившийся ехать» куда-то, отложил письмо и «сказал, что посмотрит». В Совете министров спор шел только о том, как продолжительна должна быть новая отсрочка. В заседании 3 января пять министров высказались за 12 января, соответственно указу 15 декабря об отсрочке, большинство восьми (включая Протопопова) оттягивали до 31 января, во избежание «нежелательных и недопустимых выступлений», а в конце концов трое присоединились к предложению

Протопопова продолжить отсрочку до 14 февраля. Премьером, вместо Трепова, был кн. Н. Д. Голицын (С 27 декабря 1916 г.), — полное ничтожество в политическом отношении, но лично известный императрице в роли заведующего ее «комитетом помощи русским военнопленным».

Более выдающегося человека в этот решительный момент у верховной власти не нашлось, и Голицын датировал 14 февраля бланк, лежавший у Штюрмера еще с 7 ноября (В чрезвычайной комиссии кн. Н. Д. Голицын показал, что он получил подписанные царем бланки от своего предшественника А. Ф. Трепова, и что этими бланками он мог воспользоваться как для указа о перерыве занятий Государством Думы, так и для указа о ее роспуске. По словам кн. Голицына, когда он доложил царю о получении от Трепова этих бланков, царь сказал ему: «держите у себя, а когда нужно будет, используйте». (Примеч. ред.).), — о созыве Думы на сессию, которой суждено было быть последней. Своей цели этой отсрочкой «нежелательных выступлений» на полтора месяца министры отчасти достигли. Но дело было теперь не в «нежелательных выступлениях». Не с Голицыным же или с Протопоповым предстояло сражаться. В ноябре и декабре блок занял определенные позиции. Теперь перед ним, как увидим, стояла иная задача. В заседаниях 14 и 15 февраля резко выступала внеблоковая оппозиция слева и справа, но печать засвидетельствовала, что ее выступления казались бледными сравнительно с общим настроением страны. Говорил и я — и решительно **{284}** не помню, что и о чем. В эти дни главная роль принадлежала не Думе.

Перешла ли она к общественным организациям? Земская организация кн. Львова была в том же положении, что и мы. Она свое последнее слово сказала. Более активную роль мог занять Военно-промышленный комитет — отчасти в виду своей связи с рабочей группой, отчасти вследствие председательства А. И. Гучкова. Мы знаем, что в планах Гучкова зрела идея дворцового переворота, но что собственно он сделал для осуществления этой идеи и в чем переворот будет состоять, никому не было известно. Во всяком случае, мысль о дворцовом перевороте выдвигалась теперь на первый план; с нею приходилось считаться в первую очередь. И в среде членов блока вопрос был поставлен на обсуждение. Всем было ясно, что устраивать этот переворот — не дело Государственной Думы. Но было крайне важно определить роль Государственной Думы, если переворот будет устроен. Блок исходил из предположения, что при перевороте, так или иначе,
Николай II будет устранен от престола.
Блок соглашался на передачу власти монарха к законному наследнику Алексею и на регентство до его совершеннолетия — великому князю Михаилу Александровичу.

Мягкий характер великого князя и малолетство наследника казались лучшей гарантией перехода к конституционному строю. Разговоры на эти темы, конечно, происходили в эти дни и помимо блока. Не помню, к сожалению, в какой именно день мы были через М. М. Федорова приглашены принять участие в совещании, устроенном в помещении Военно-промышленного комитета. Помню только, что мы пришли туда уже с готовым решением, и, после обмена мнений, наше предложение было принято. Гучков присутствовал при обсуждении, но таинственно молчал, и это молчание принималось за доказательство его участия в предстоявшем перевороте. Говорилось в частном порядке, что судьба императора и императрицы остается при этом нерешенной — вплоть до вмешательства «лейб-кампанцев», как это было в 18 веке; что у Гучкова есть связи с офицерами гвардейских полков, расквартированных в столице,, и т. д. Мы ушли, во **{285}** всяком случае, без полной уверенности, что переворот состоится, но с твердым решением, в случае если он состоится, взять на себя устройство перехода власти к наследнику и к регенту. Будет ли это достигнуто решением всей Думы или от ее имени или как-нибудь иначе, оставалось, конечно, открытым вопросом, так как самое существование Думы и наличность ее сессии в момент переворота не могли быть заранее известны. Мы, как бы то ни было, были уверены после совещания в помещении Военно-промышленного комитета, что наше решение встретит поддержку общественных внедумских кругов.

Раньше, однако же, чем наступил ожидаемый момент, нам пришлось связаться с Военно-промышленным комитетом по другому вопросу — о судьбе его рабочей группы. В состав ее были введены агенты охранной полиции, следившие за ее деятельностью, считавшейся особенно опасной. Мы видели, однако, что это была — сравнительно умеренная группа. По определению Гучкова, ее цель при вступлении в комитет была «добиться легальных форм для рабочих организаций». И чисто социалистические организации, такие, как большевики, объединенцы, интернационалисты, по признанию охранки, держались в стороне от ее пропаганды. Ее обвиняли в том, что она готовила ко дню открытия Думы приветственную манифестацию к Таврическому дворцу, — и это было вполне вероятно. Но что целью манифестации было «вооруженное восстание и свержение власти», утверждали только провокаторы, как некий Абросимов, введенные охранкой в ее состав.

Тем не менее, Протопопов решил направить удар против нее, и 27 января арестовал рабочую группу. Это вызвало большое волнение. Гучков и Коновалов созвали на 29 января собрание обществен-

ных организаций с целью протеста и жаловались кн. Голицыну, который признал арест «ошибкой» Протопопова. Но возбуждение среди рабочих росло: в ближайшие дни (31 января — 5 февраля) состоялся ряд сходок и забастовок на фабриках и заводах. Тогда петербургский военный округ был выделен из северного фронта и подчинен ген. Хабалову, получившему очень широкие права, независимые даже от военного министра. Рука **{286}** Протопопова сказалась и здесь: императрица одобрила его план борьбы с народными волнениями. Однако же, 7-13 февраля забастовки продолжались; начались столкновения с полицией. Слухи о шествии к Думе 14 февраля приняли конкретную форму, и за ними нетрудно было угадать полицейскую провокацию. Протопопов, по-видимому, готовился вызвать «революцию» искусственно и расстрелять ее — по образцу Москвы 1905 года. Ему приписывался целый план деления Петербурга на части с целью подавить ожидавшееся восстание. Распространился слух, что Протопопов снабдил полицию пулеметами, которые должны были быть расставлены на крышах в стратегических пунктах столицы.

Мое имя было названо в качестве подстрекателя к рабочей демонстрации, и мне пришлось в это дело вмешаться. 9 февраля появилось мое воззвание к рабочим, призывавшее их не поддаваться на явную провокацию и не идти в очевидную полицейскую ловушку — шествие 14 февраля к Думе. Мое воззвание, помещенное рядом с обращением Хабалова, вызвало критику слева, но цели своей оно достигло: 14 февраля выступление рабочих не состоялось.

Проявление народного недовольства по этой, политической хотя беспартийной, линии было несколько приостановлено. Но оно прорвалось гораздо более могучим потоком по другой, экономической линии. «Интеллигентские» круги столицы могли мечтать о дворцовом перевороте, который не наклевывался, и о направленных против высоких особ террористических актах, для которых не находилось исполнителей, — и охранное отделение могло наполнять слухами об этом доклады своих филеров по начальству. В действительности, опасность лежала не здесь. Она сознавалась всеми, — и ниоткуда не было помощи. Доклад охранного отделения от 10 января уже соединяет обе темы, политическую и экономическую: «Отсрочка Думы продолжает быть центром всех суждений»... но «рост дороговизны и повторные неудачи правительственных мероприятий в борьбе с исчезновением продуктов вызвали еще перед Рождеством резкую волну недовольства...

Население открыто (на улицах, в трамваях, в театрах, в магазинах) критикует в **{287}** недопустимом по резкости тоне все правительственные мероприятия». Или, в докладе от 5 февраля: «С каждым днем продовольственный вопрос становится острее, заставляет обывателя ругать всех лиц, так или иначе имеющих касательство к продовольствию, самыми нецензурными выражениями». «Новый взрыв недовольства» новым повышением цен и исчезновением с рынка предметов первой необходимости охватил «даже консервативные слои чиновничества». «Никогда еще не было столько ругани, драм и скандалов, как в настоящее время... Если население еще не устраивает голодные бунты, то это еще не означает, что оно их не устроит в самом ближайшем будущем. Озлобление растет, и конца его росту не видать». И охранка «не сомневается» в наступлении «анархической революции»! Что же делалось, чтобы предупредить ее?

23 февраля, когда из-за недостатка хлеба забастовало до 87.000 рабочих в 50 предприятиях, Протопопов просит Хабалова объявить населению, что «хлеба хватит». «Волнения вызваны провокацией». 24 февраля бастовали уже 197.000 рабочих. Хабалов объявлял, что «недостатка хлеба в продаже не должно быть»... Очевидно, «многие покупают хлеб в запас — на сухари». Правительство решило «передать продовольственное дело городскому управлению».
Военный министр распорядился не печатать речей Родичева, Чхеидзе и Керенского, а Хабалов 25 февраля, когда бастовало уже 240.000 рабочих, пригрозил призвать в войска новобранцев досрочных призывов. Протопопов телеграфировал в Ставку, что хлеба не хватает, потому что «публика усиленно покупает его в запас», и что для «прекращения беспорядков принимаются меры». Городская дума обсуждала вопрос о хлебных карточках, а Государственная Дума — о расширении прав городских самоуправлений в области продовольствия. «Меры» состояли в том, что в ночь на 26 февраля были арестованы около 100 членов революционных организаций.

Было очевидно, что все это безнадежно запоздало и направлено не туда, куда нужно. Оставалось... прибегнуть к войскам, к подавлению силой. Вечером 25 февраля царь телеграфировал Хабалову: «повелеваю **{288}** завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией»! Что могло быть дальше от реального понимания происходящего?

Итак, последняя инстанция — войска. Но где войска? Какие войска? Протопопов перед чрезвычайной комиссией показывал, что он «и тут был неосведомлен». Он считал их «благонадежнее»,

чем они были. «Сильных революционных течений в военной среде я не ожидал и был уверен, что, в случае рабочего движения, правительство найдет опору в войсках», и «в верности царю общей массы войск не сомневался» и «это докладывал царю». «Царь был доволен докладом». На деле оказалось иное. Если 23 февраля с толпой еще справлялись полиция и жандармы, то уже 24 февраля пришлось пустить военные части, хотя Хабалов стрелять в толпу не хотел.

25 февраля, после царского приказа, решено стрелять, и 26 февраля войска местами уже стреляли. Но одна рота запасного батальона Павловского полка уже требовала прекращения стрельбы и сама стреляла в конную полицию. 27 февраля отдельные части побратались с рабочими. Хабалов растерялся. Город был объявлен на осадном положении. К вечеру оставшиеся «верными» воинские части составляли уже ничтожное меньшинство, и их приходилось сосредоточивать около правительственных учреждений: Адмиралтейства, Зимнего дворца, Петропавловской крепости.

Где же были в эти роковые дни — 23-27 — представители власти?
К удивлению «многих», царь накануне волнений, 22 февраля выехал из Царского Села в Ставку, сохранив между собой и столицей только телеграфную и, как оказалось, еще менее надежную железнодорожную связь. Он удовлетворялся сравнительно успокоительными телеграммами Протопопова и не обращал внимания на тревожные телеграммы Родзянки. 27 февраля он сказал Фредериксу: «опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать». «Вздором» было предложение Родзянко **{289}** «немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство».

Совет министров заседал каждый день, перенеся свои заседания, для безопасности, в Мариинский дворец, — но скорее для информации о происходящем, чем для принятия решительных мер. Впрочем, одну решительную меру он принял. В ночь на 26 февраля Голицын поставил вопрос о «роспуске» или «перерыве занятий» Государственной Думы. Большинство склонялось к «перерыву», но предварительно было решено, по показанию Протопопова, «попытаться склонить прогрессивный блок к примирению». Двое министров, Н. Н. Покровский (министр иностранных дел после Штюрмера, с 10 ноября 1916 г.) и Риттих (министр земледелия, проводивший тогда в Думе мероприятия по продовольствию) взялись переговорить со мной, В. А. Маклаковым и Н. В. Савичем.

Я решительно не помню, чтобы со мной говорили. Но ответ получился на следующий день: «примирение невозможно; депутаты требовали перемену правительства и назначение новых министров из лиц, пользующихся общественным доверием». Требование было признано неприемлемым, и решено опубликовать указ о «перерыве». Кн. Голицыну оставалось проставить дату на одном из трех бланков, переданных в его распоряжение царем, и в тот же день вечером Родзянко нашел у себя на столе указ о перерыве с 26 февраля и о возобновлении сессии «не позднее апреля 1917 г. в зависимости от чрезвычайных обстоятельств».

Но 27 февраля сами члены Совета министров «ходили растерянные, ожидая ареста» и — в качестве «жертвы» предложили Протопопову подать в отставку. Он согласился — и с этого момента скрывался. Тут же Совет министров ходатайствовал о назначении над «оставшимися верными войсками» военачальника с популярным именем и о составлении ответственного министерства. Царь согласился на «военачальника» (Иванова), но признал «перемены в личном составе министерства при данных обстоятельствах недопустимыми». Отклонено было и предложение великого князя Михаила Александровича о назначении себя регентом, а кн. Львова премьером.
{290} Царь передал через Алексеева, что «благодарит великого князя за внимание, выедет завтра и сам примет решение». А на следующий день (28 февраля) уже и самый Совет министров подал в отставку и ушел в небытие. Мариинский дворец был занят «посторонними людьми», и министры принуждены скрываться. В этот момент в столице России не было ни царя, ни Думы, ни Совета министров. «Беспорядки» приняли обличье форменной «революции».

12. СОЗДАНИЕ НОВОЙ ВЛАСТИ

Между старой властью, ликвидировавшей саму себя, и властью, вновь созданной 2 марта 1917 года, имеется ли какое-либо юридическое преемство? Между ними прошла революция, и это обстоятельство, казалось бы, само по себе подсказывает отрицательный ответ. Тем не менее, между обоими неоднократно пытались найти преемственную связь. Одни вели власть Временного правительства от распоряжения царя, назначившего перед своим отречением кн. Львова премьером с правом составить самому свой кабинет. Другие искали связи в том акте, которым Николай II, отрекаясь, передал свою власть брату великому князю Михаилу Александровичу.

Те, кто считает этот акт незаконным, указывают на условный характер отречения Михаила — до решения Учредительного Собрания и на его ссылку на «полную власть» Государственной Думы. С большим, по-видимому, вероятием председатель Государственной Думы хотел установить это преемство и полемизировал пространно с кадетской партией (и ее лидером), которая этому помешала. По мере дальнейшего рассказа мы увидим, что все эти попытки не находят достаточного оправдания. Другое дело, как само Временное правительство смотрело на свою власть. Считало ли оно, что к нему перешел весь суверенитет власти, который оно должно передать Учредительному Собранию, или же были элементы этого суверенитета, которыми оно не обладало?

Были решения, перед которыми оно **{291}** останавливалось, считая их вмешательством в права Учредительного Собрания (например, вопрос о будущей форме правления); с другой стороны, из своего состава оно выделило настоящую диктаторскую группу, которая не остановилась и перед этим решением. Все это — вопросы, которые могут занимать строгого законоведа. Для историка, а тем более для мемуариста, некоторое указание содержится в самом названии «временное», — скромное самоопределение, которое удержалось до самого конца существования этого правительства.

Я упоминаю обо всем этом вкратце теперь же, при переходе к новому историческому моменту, так как среди этих толкований, возможных и невозможных, мне пришлось вести свою собственную линию. Она оказалась удачной вплоть до создания Временного правительства, хотя это не была уже линия прогрессивного блока; остальные подчинялись создавшейся обстановке и даже пошли далее. Моей исходной точкой в это время было то положение, которое германские законоведы определяют понятием Rechtsbruch — «перерыва в праве» *(лучше перевести «нарушение правовых норм» или попросту — «беззаконие» — ldn-knigi)* . Но она предполагала, что перерыв этот был единовременным и окончательным (до Учредительного Собрания). Обстоятельства, сложившиеся при функционировании Временного правительства, этому понятию не соответствовали. Rechtsbruch оказался явлением длительным, ибо революция продолжалась: она вступила в новую «стадию», продолжавшую новообразование права. И тут моя тактика потерпела крушение. Повторяю, что все это станет яснее по мере продолжения моего рассказа: здесь отмечены только самые главные линии.

Утром 27 февраля я проснулся от звонка швейцара, который пришел сказать, что в казарме Волынского полка происходит что-то неладное. Окно моей квартиры — на углу Бассейной улицы и Парадного переулка — выходило в короткий переулок, в конце которого помещались ворота полка. Ворота были открыты; во дворе кучки солдат что-то кричали, волновались, **{292}** размахивали руками. После событий последних дней в этом не было ничего неожиданного. Но сразу почувствовалось, что события эти вступают в новую стадию.

Раздался звонок из Таврического дворца. Председатель созывал членов Думы на заседание. С вечера члены сеньорен-конвента знали, что получен указ о перерыве заседаний Государственной Думы. Ритуал заседания был тоже установлен накануне: решено было выслушать указ, никаких демонстраций не производить и немедленно закрыть заседание. Конечно, в казарме Волынского полка ни о чем этом не знали. Волнения происходили совершенно независимо от судьбы Государственной Думы.

Я пошел в Думу обычным путем, по Потемкинской улице. Жена меня провожала. Улица была пустынна, но пули одиночных выстрелов шлепались о деревья и о стены дворца. Около Думы никого еще не было; вход был свободен. Не все собиравшиеся депутаты были осведомлены о том, что предстояло. Заседание состоялось, как было намечено: указ был прочитан при полном молчании депутатов и одиночных выкриках правых. Самоубийство Думы совершилось без протеста.

Но что же дальше? Нельзя же разойтись молча — после молчаливого заседания! Члены Думы, без предварительного сговора, потянулись из залы заседания в соседний полуциркульный зал. Это не было ни собрание Думы, только что закрытой, ни заседание какой-либо из ее комиссий. Это было частное совещание членов Думы. К собравшимся стали подходить и одиночки, слонявшиеся по другим залам. Не помню, чтобы там председательствовал Родзянко; собрание было бесформенное; в центральной кучке раздались горячие речи. Были предложения вернуться и возобновить формальное заседание Думы, не признавая указа (М. А. Караулов), объявить Думу Учредительным Собранием, передать власть диктатору (ген. Маниковскому), взять власть собравшимся и создать свой орган, — во всяком случае, не разъезжаться из Петербурга.

Я выступил с предложением — выждать, пока выяснится характер движения, а тем временем создать временный комитет членов **{293}** Думы «для восстановления порядка и для сношений с лицами и учреждениями». Эта неуклюжая формула обладала тем преимуществом, что, удовлетворяя задаче момента, ничего не предрешала в дальнейшем. Ограничиваясь минимумом, она все же создавала орган

и не подводила думцев под криминал. Раздались бурные возражения слева; но собрание в общем уже поколебалось, и после долгих споров мое компромиссное предложение было принято, и выбор «временного комитета» поручен совету старейшин.

Это значило — передать его блоку. В третьем часу дня старейшины выполнили поручение, наметив в комитет представителей блоковых партий — и тем, надо прибавить, предрешив отчасти состав будущего правительства. В состав временного комитета вошли, во-первых, члены президиума Думы (Родзянко, Дмитрюков, Ржевский) и затем представители фракций: националистов (Шульгин), центра (В. Н. Львов), октябристов (Шидловский), к. д. (Милюков и Некрасов — товарищ председателя); присоединены, в проекте, и левые: Керенский и Чхеидзе. Проект старейшин был провентилирован по фракциям и доложен собравшимся в полуциркульном зале. К вечеру, когда выяснился состав временного комитета, выяснился и революционный характер движения, — и комитет решил сделать дальнейший шаг: взять в руки власть. Намечен был и состав правительства; но так как, по списку блока, премьером был намечен кн. Львов, то формальное создание правительства отложено до его приезда, по срочной телеграмме, в Петербург. В ожидании этого момента, временный комитет занялся восстановлением административного аппарата и разослал комиссаров Думы во все высшие правительственные учреждения.

Пока принимались все эти меры к созданию новой власти, физиономия Таврического дворца успела совершенно измениться. Ворота дворца были заперты, но уже с утра в помещение Думы просочились — прежде всего, «чистая публика», интеллигенты, имевшие касательство к политике. Помню мои первые впечатления. Я стоял у главного входа, и мимо меня, во главе небольшой группы, шествовал мой старый знакомец Чарнолусский.

{294} Он имел вид власть имущего, пришедшего сюда не зрителем, а участником; взгляд был напряженный и сосредоточенный, в руках он держал наперевес ружье. Меня он не заметил, хотя я был в двух шагах от него. «Вот первый конкурент на власть, вооруженный символом господства», мелькнула у меня мысль: «это — та самая революция, о которой так много говорили и которой никто не собирался делать». В то же время раздался выстрел, и из караульной комнаты вынесли за руки и за ноги офицера думской охраны. Он виноват был тем, что носил мундир. Незадолго перед тем начальник караула — тоже в мундире — вбежал в полуциркульный зал, моля нас о защите. Его спросили, за народ он или против народа, и он не знал, что ответить.

Немного дальше, в круглой Екатерининской зале шла ко мне навстречу более мирная группа интеллигентов. Во главе ее — тоже старая знакомая, Татьяна Богданович, племянница Короленко и жена моего сотоварища по редактированию «Мира Божия». Взволнованным, умоляющим голосом она меня спрашивала: неужели и теперь Государственная Дума не станет во главе народного движения? Неужели она не возьмет власти? Я имел тысячу оснований объяснить ей, что Думы больше нет и что я лично не хочу, чтобы именно она взяла власть. Но разговоры о власти уже начались в полуциркульном зале, и я спешил туда, сказав ей только, что вопрос об этом поставлен и будет решен в связи с выяснением происходящего движения.

После полудня за воротами дворца скопилась уже многочисленная толпа, давившая на решетку. Тут была и «публика», и рабочие, и солдаты. Пришлось ворота открыть, и толпа хлынула во дворец. А к вечеру мы уже почувствовали, что мы не одни во дворце — и вообще больше не хозяева дворца. В другом конце дворца уже собирался этот другой претендент на власть, Совет рабочих депутатов, спешно созванный партийными организациями, которые до тех пор воздерживались от возглавления революции. Состав совета был тогда довольно бесформенный; кроме вызванных представителей от фабрик, примыкал, кто хотел, а к концу дня пришлось **{295}** прибавить к заголовку «Совет рабочих» также слова «и солдатских» депутатов. Солдаты явились последними, но они были настоящими хозяевами момента.

Правда, они сами того не сознавали, и бросились во дворец, не как победители, а как люди, боявшиеся ответственности за совершенное нарушение дисциплины, за убийства командиров и офицеров. Еще меньше, чем мы, они были уверены, что революция победила. От Думы, как тот офицер караула, они ждали не признания, а защиты. И Таврический дворец к ночи превратился в укрепленный лагерь. Солдаты привезли с собой ящики пулеметных лент, ручных гранат; кажется, даже втащили и пушку. Когда где-то около дворца послышались выстрелы, часть солдат бросилась бежать, разбили окна в полуциркульном зале, стали выскакивать из окон в сад дворца. Потом, успокоившись, они расположились в помещениях дворца на ночевку. Появились радикальные барышни и начали угощать солдат чаем и бутербродами. Весь зал заседаний, хоры и соседние залы были наполнены солдатами.

Потом в зале заседаний, вперемежку с солдатами, открылись заседания «Совета р. и с.

депутатов». У него были свои заботы. Пока мы принимали меры к сохранению функционирования высших государственных учреждений, Совет укреплял свое положение в столице, разделив Петербург на районы. В каждом районе войска и заводы должны были выбрать своих представителей; назначены были «районные комиссары для установления народной власти в районах», и население приглашалось «организовать местные комитеты и взять в свои руки управление местными делами». Временный комитет Думы был оттеснен в далекий угол дворца, по соседству с кабинетом председателя. Но для нужд текущего дня обеим организациям, думской и советской, пришлось войти в немедленный контакт. Помещения думских фракций были заняты соединенными комиссиями. А. И. Шингарев сделался председателем продовольственной комиссии, назначенной Советом; наш спутник по путешествию, полковник Энгельгарт, кооптированный временным комитетом Думы, засел вместе с левыми, Пальчинским и **{296}** Федоровским, в военной комиссии.

Ряд других комиссий: юридическая, по приему арестованных, по внутреннему распорядку дворца были организованы при участии к. - д. Ичаса. Бывшие министры или приходили сами в Думу (как Протопопов) или приводились туда арестованными. Тут случился характерный эпизод с Керенским, который спешил выступить в своей роли товарища председателя Совета депутатов и кандидата на пост министра юстиции. Студенты с саблями привели Щегловитова, и Родзянко хотел, по-видимому, его отпустить. Вызванный по требованию студентов Керенский, несмотря на возражения Родзянкя, объявил его арестованным, «раньше создания временного комитета Думы» и велел отвести на ночлег в министерский павильон Думы. Оттуда все арестованные министры и другие лица были на следующий день переведены в Петропавловскую крепость.

На следующий день, 28 февраля, положение окончательно выяснилось. Мы были победителями. Но кто — «мы»? Масса не разбиралась. Государственная Дума была символом победы и сделалась объектом общего паломничества. Дума, как помещение — или Дума, как учреждение? Родзянко хотел понимать это, конечно, в последнем смысле и уже чувствовал себя главой и вождем совершившегося. На его последнюю телеграмму царю, что «решается судьба родины и династии», он получил 28 февраля ответ, разрешавший ему лично сформировать ответственное министерство. Вплоть до 2 марта он в телефонном разговоре с ген. Рузским держался за это предложение и объявлял, что «до сих пор верят только ему и исполняют только его приказания», — хотя в то же время и признавался, что «сам висит на волоске, власть ускользает у него из рук и он вынужден был ночью на 2-ое назначить Временное правительство». Только в виде информации он передал Рузскому о «грозных требованиях отречения (царя) в пользу сына при регентстве Михаила Александровича».

Вплоть до $3^1/_2$ часов 2 марта царь готов был отослать телеграмму в этом смысле, подчиняясь советам начальников фронтов. События развертывались быстро и оставляли позади всю эту путаницу. Тем не менее, в течение этих **{297}** дней фикция победы Государственной Думы, как учреждения, поддерживалась ее председателем.

Действительно, весь день 28 февраля был торжеством Государственной Думы, как таковой. К Таврическому дворцу шли уже в полном составе полки, перешедшие на сторону Государственной Думы, с изъявлениями своего подчинения Государственной Думе. Навстречу им выходил председатель Думы, — правда, чередовавшийся с депутатами, из числа которых на мою долю выпала значительная часть этих торжественных приемов и соответственных речей. Приехали ко мне офицеры одного из полков с специальной просьбой съездить с ними в казармы и сказать приветственную речь. Я поехал. Меня поместили на вышке, кругом которой столпился весь полк. Мне пришлось кричать сверху, чтобы меня могли услышать. Я поздравил полк с победой, но прибавил, что предстоит еще ее закрепить; что для этого необходимо сохранить единение с офицерством, без которого они рассыпятся в пыль, и воздержание от всяких праздничных увлечений. Наш праздник — впереди. Прием был самый горячий, и офицеры остались довольны. Конечно, тут действовала не столько моя речь, сколько факт прибытия к полку видного члена Государственной Думы. Голос мой сильно пострадал от этого и других таких же усилий.

Но в помещении Думы еще предстояло устранить допущенную Родзянкой двусмысленность. Временный комитет существовал независимо от санкции председателя, и так же независимо он, а не председатель, наметил состав Временного правительства. Не он, а кн. Львов должен был это правительство возглавить, а не «назначить». Роли блока, председателя и намеченного премьера были определены окончательно, — как и решение династического вопроса. Оставалось лишь выполнить намеченное. Но как примирить это с позицией председателя, поддержанной нашим же признанием роли Думы, как учреждения? Это оставалось тревожной задачей, которая должна была быть разрешена

немедленно, — до приезда кн. Львова. А Родзянко явно тянул **{298}** и колебался, в очевидном расчете нас как-то перехитрить.

Необходимо было как можно скорее выяснить его отношение к уже принятым мерам: правам временного комитета и состава Временного правительства. Я решился воспользоваться для этого моментом, когда Родзянко вернулся к нам из поездки в Мариинский дворец с известием, что Совет министров ушел в отставку. Произошла следующая сцена, которую я запомнил во всех подробностях. «Михаил Владимирович, — говорю я председателю, — надо решаться». Я разумел, конечно: решиться окончательно признать революцию, как совершившийся факт. Родзянко попросил четверть часа на размышление и удалился в свой кабинет. Мы сидели группой у дверей кабинета, ожидая ответа.

В эти минуты тягостного ожидания раздался телефонный звонок. Спрашивали полковника Энгельгарта. Наш коллега подошел к телефону. Из Преображенского полка: «Преображенский полк отдает себя в распоряжение Государственной Думы». У членов комитета отлегло от сердца. «Передайте немедленно Михаилу Владимировичу это сообщение, полковник». Энгельгарт уходит в кабинет. Комитет напряженно ждет, какое впечатление произведет это известие на старого гвардейца. Наконец, Родзянко выходит и садится к столу. «Я согласен», говорит он, повышая голос и стараясь придать ему максимальную значительность: «Но — только под одним условием. Я требую, — и это относится особенно к вам, Александр Федорович (Керенский), чтобы все члены комитета (о правительстве не упоминалось) безусловно и слепо подчинялись моим распоряжениям»...

Мы остолбенели. До такой степени и тон, и содержание ультиматума Родзянки не подходили к сложившемуся положению. Этой степени подчинения не требовал даже Штюрмер от своего Совета министров... С нами говорил диктатор русской революции!

Будущий диктатор Керенский сдержался и скромно напомнил, что он всё-таки состоит товарищем председателя Совета рабочих депутатов. Остальные молчали. Но мы знали Родзянку: «Вскипел Бульон, потек во храм»! Как ни как, согласие было дано, а **{299}** завтра, 1 марта, приедет кн. Львов, и всё войдет в намеченные рамки. Георгии Евгеньевич, действительно, приехал — и после полудня пробрался в помещение Таврического дворца. Мы почувствовали себя, наконец, au complet (в полном составе.); временный комитет и правительство собрались для предварительного обмена мнений. Я не помню содержания беседы: едва ли она и сосредоточивалась на специальных вопросах. Но хорошо помню произведенное на меня, а вероятно и на других, впечатление. Мы не почувствовали перед собой вождя. Князь был уклончив и осторожен: он реагировал на события в мягких, расплывчатых формах и отделывался общими фразами.

В конце совещания ко мне нагнулся И. П. Демидов и спросил на ухо: «ну, что? ну, как?» Я ему с досадой ответил одним словом, — тоже на ухо: «шляпа»! Не знаю выражало ли это то, что я чувствовал.

Я, во всяком случае, был сильно разочарован. Я знал князя очень мало и поверхностно. Другие знали еще меньше и поверили моему выбору на слово. Я как бы являлся ответственным лицом за выбор... В. В. Шульгин писал потом: кн. Львов «непререкаемо въехал на пьедестал премьера в милюковском списке». А мой друг Набоков, тоже позднее, писал: «он сидел на козлах, но даже не пробовал собрать вожжи». Когда друзья его спрашивали, как он мог согласиться, он, потупившись, отвечал: «Я не мог не пойти»... Что это был за человек, бывший незаменимым для «дела» и оказавшийся непригодным для «политики»?

Было бы, конечно, нелепо обвинять кн. Львова за неудачу революции. Революция — слишком большая и сложная вещь. Но мне казалось, что я имею право обвинять его за неудачу моей политики в первой стадии революции. Или, наконец, обвинять себя за неудачу выбора в исполнители этой политики? Но я не мог выбирать, как и он «не мог не пойти».

Что же, спрашивал себя В. В. Шульгин: был лучше Родзянко? И он правильно отвечал, как и я: нет, Родзянко был невозможен, — ему «не позволили бы левые!» А нам, кадетам, **{300}** имевшим «все же кой-какую силу», могли бы «позволить»? В обнаженном виде к этому сводился весь вопрос. Мой ответ выяснится из дальнейшего.

Во всяком случае, я не хотел бы быть несправедливым к кн. Львову. Прежде чем писать следующие строки, я прочел подробную биографию Львова, написанную его ближайшим сотрудником Т. И. Полнером, — и написанную с любовью и с глубоким уважением к личности своего героя. Он ищет тоже объяснений, но не оправданий. Позволю себе взять оттуда несколько штрихов, мне до тех пор неизвестных.

Первые 10 лет жизни князь Львов провел в деревне, в атмосфере семейной любви и доброжелательства к крестьянам. За это время он узнал сельский быт, так сказать, изнутри, мог

говорить с мужиком его языком и знал все его особенности и нужды. В последующем 20 лет он провел на службе в земских учреждениях — и там осмыслил свои детские впечатления. По-славянофильски он ценил «народную душу», по Константину Аксакову конструировал русскую историю. Отношение к крестьянам выражалось старой формулой: «мы — ваши, вы — наши». Отношение к государству — по аксаковской же формуле: власть монарху, но мнение — «земле». Зла русской жизни он органически не мог и не хотел видеть и от него отталкивался, поскольку соприкасался с ним. Он брал действительность, как данное, и из него извлекал наибольшее добро — не путем борьбы, а путем приспособления, «Всё образуется» благодаря народной мудрости: к этому сводилась его философия. Те, кто сверху, — только мешают ей проявиться. Достаточно поговорить по душе, пошутить, посмеяться, и лучше всяких приказов дело будет сделано. Собеседник будет вашим.

Формальная наука не пошла князю впрок. Он возненавидел классицизм и просидел по два года в двух классах гимназии. Он избрал юридический факультет, как «самый легкий», и приезжал из деревни в университет, только чтобы сдавать экзамены. Зато практические, прикладные знания, нужные для деревни, он старался усвоить во всех деталях, чтобы применять их к **{301}** жизни, как на сельском сходе, так и в своем «дворянском гнезде», Поповке.

При отце Поповка прошла через искус дворянского оскудения, но была восстановлена деловитостью сына. В городской среде и в культурном обществе Львов уходил в себя, не блистал красноречием, не вступал в споры и производил даже на ближайших товарищей молодости, как гр. Д. Олсуфьев, впечатление человека хитрого и себе на уме. В других и в самом себе он ценил тип «деляги», не любил распоряжений сверху и «статистики», недоверчиво относился к «бюрократии» и к официальному законодательству. Народ сам все устроит; он знает, что ему нужно.

К общественной деятельности кн. Львов подошел при посредстве земства — и вложил в нее все, тогда уже вполне сложившиеся, черты своей личности. Земская работа шла тогда под флагом либерализма. Но Львов оставался чужд политике и сосредоточил свою деятельность в той части работы, которую наш сатирик зло, но несправедливо, осмеял прозвищем «лужения умывальников». В этой деловой работе Львов развертывался вовсю и был сам собой. Он проявлял необычайную изобретательность, кипучую энергию, знание жизни и уменье собрать у себя молодежь, действуя не приказом, а примером, лаской и шуткой. Он был при этом чрезвычайно прост и обходителен: никакого начальственного тона. Наступила открытая борьба с правительством; Львов по кадетскому списку прошел в обе первые Думы, но пользовался депутатским званием не для боевых выступлений, а для того, чтобы продвинуть те же свои деловые предприятия. Для меня он прошел бледной тенью и не оставил никаких воспоминаний.

Он вспоминал, правда, что в Выборге мы ночевали на одной кровати; но это было немудрено, так как кроватью был пол, и все лежали вповалку. Из Выборга он уехал, не подписав воззвания; и его не осуждали. Все свои привычки он перенес и в руководство земской организацией, когда началась война. «Политику» тогда делало правительство; он защищал от «политики» свое «дело». Когда, помимо деловых препятствий, усилились и политические преследования, тон общественных **{302}** организаций, как мы видели, стал подниматься. Поднимался и тон выступлений кн. Львова: различить политику от дела становилось уже трудно. Но, и говоря о «принятии на себя ответственности», Львов продолжал возлагать надежду на «народную душу», которая «всегда выводила страну из опасности». «Только высокий подъем духа народного, только национальный подвиг могут спасти наше погибающее отечество», писал он в непроизнесенной речи. Однако, события опережали славянофильскую лирику. Кн. Львов «с некоторым недоумением» говорил: «я чувствую, что события идут через мою голову».

Со всех сторон его выдвигали в спасители родины. Он пропустил момент сказать «решительное: нет». «К половине 1916 г. он «окончательно сдался», говорит его биограф. «О революции он не думал», представляя себе судьбы России в виде монархии с министерством, ответственным перед законно-избранным народным представительством. Это была позиция «блока». Но о путях и способах добиться этого он не имел никакого представления. А у блока была уже намечена своя тактика. Таким мы его пригласили в премьеры. Он «не мог не пойти»... Приехав, он, по своему обычаю, начал присматриваться, Отсюда и та неопределенность, которая, при первой встрече, вызвала мою досаду. Мы не знали, «чьим» он будет, но почувствовали его не «нашим».

Ждать, однако же, было некогда. Новая власть была создана. Теоретизировать было рано в те моменты, но очевидность была у всех на глазах. Нужно было немедленно вступать в управление государством и определить, хотя бы вчерне, свои отношения к другим факторам положения: к Думе, к Совету рабочих депутатов, к царю. Из своего тесного уголка в Таврическом дворце каждый министр входил в связь с персоналом своего министерства. Ко мне явились служащие министерства

иностранных дел. Н. Н. Покровский просил оставить его в помещении, пока он найдет квартиру. Я тем охотнее согласился, что не собирался переезжать. Пришел французский посол Палеолог и очень настаивал, чтобы в нашей декларации мы заявили о верности союзникам. Я ему обещал это. Принесли мне бумажку за **{303}** подписью четырех великих князей: они соглашались на ответственное министерство. Они запоздали, и я сказал принесшим: это интересный исторический документ — и положил бумажку в портфель. Подписавшие были очень обижены моим невниманием.

Родзянко остался вне власти. Но он продолжал быть председателем Думы, не распущенной, а только отсроченной царским указом. Он пытался считать Думу не только существующей, но и стоящей выше правительства. Но это была Дума «третьего июня», — Дума, зажатая в клещи прерогативами «самодержавной» власти, апрельскими основными законами 1906 года, «пробкой» Государственного Совета, превратившегося в «кладбище» думского законодательства. Можно ли было признавать это учреждение фактором сложившегося положения?

Дума была тенью своего прошлого. К тому же, срок ее избрания наступал в том же году. Временное правительство потом решило выдавать до этого срока содержание депутатам и не возражало против созыва председателем ее наличного состава. Но это и все, что осталось от Думы после того, как она послужила символом революции в первые дни образования власти. Родзянке, конечно, трудно было стать на эту точку зрения. Не знаю, когда именно он составил свою собственную теорию, изложенную в его воспоминаниях. Но основные ее черты он относит к описываемому моменту, утверждая, что его план был немедленно созвать Думу, как учреждение. «Государственная Дума... явилась бы носительницей верховной власти и органом, перед которым Временное правительство было бы ответственным. Таков был проект председателя Государственной Думы. Но этому проекту решительно воспротивились, главным образом, деятели кадетской партии». Родзянко, конечно, имеет в виду меня, ее «лидера», и мои возражения, только что приведенные. Я не помню, чтобы я излагал их ему лично; но мое мнение было ему известно, и оно стало мнением блока. Кн. Львов только к нему присоединился.

Родзянко очень ошибался, полагая, что слабость Временного правительства зависела от того, что оно не **{304}** возглавило себя Государственной Думой. Он сам признает тут же, что это послужило бы лишь источником еще большего ослабления. Но его ошибка шла дальше. Он не понимал того основного положения социалистов, о котором я не раз упоминал здесь: по их теории, русская революция должна была быть «буржуазной», и, сохраняя «чистоту риз», они принципиально не хотели входить в состав этого правительства. Мы их включили в состав нашего правительства, как представителей левых фракций Думы, — и очень дорожили их участием.

Но Чхеидзе, председатель Совета рабочих депутатов, отказался. Керенский, товарищ председателя Совета, лично приглашенный, дорожил министерским постом, как козырем в своей игре, и, можно сказать, вынудил согласие Совета. «Трудовик», объявивший себя, когда понадобилось, с. -ром, он теперь готовился на роль «заложника революционной демократии» в стане «буржуазии» и принимал соответственные позы. Это место было ему нужно до зарезу.

А Совет решил представителей демократии в правительство не посылать. В воспоминаниях Суханова, Мстиславского и некоего «гр. В. В-ого» рассказано, как Керенский преодолел это препятствие. Он произнес бессвязную речь, рекомендуя себя, требуя «доверия» и поддержки, заявляя о «готовности умереть», обещая «с почетом» освободить из Сибири политических заключенных, «не исключая и террористов». «Товарищи, в моих руках находились представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих рук... Я не могу жить без народа, и в тот момент, когда вы усомнитесь во мне, убейте меня!» Произнеся эту речь «то замирающим шопотом, то захватывающими нотами, с дрожью в голосе», Керенский выбежал из собрания, не дождавшись голосования, но с предполагаемым разрешением «объявить правительству, что он входит в его состав с разрешения Совета, как его представитель».

Помимо принципиального взгляда на правительство, как на «буржуазное», была и другая причина воздержания социалистов соучастия во власти. Я упоминал, что социалистические партии держались в стороне от **{305}** широкого рабочего движения последних дней перед революцией. Они были застигнуты врасплох, не успев организовать в стране своих единомышленников. Родзянко, который смешивает всех левых в одну кучу, приписывает им заранее обдуманный план. Такого плана не существовало, и именно поэтому правительство было сильно.

Керенский именно на идее буржуазной революции разыгрывал и в течение восьми месяцев свою посредническую роль.

Даже Ленин вплоть до июля держался этой идеи, а его ученики, Зиновьев и Каменев, на этом основывали свое недоверие к своевременности октябрьского переворота. Возвращаясь к первым дням

революции, ораторы на съезде советов 30 марта откровенно признавали эту «психологическую» причину своего воздержания от власти. «Нам не было еще, на кого опереться. Мы имели перед собой лишь неорганизованную массу», говорил Стеклов. «Мы не чувствовали в первые дни революции почвы под ногами для захвата власти», повторял военный врач Есиповский. При отсутствии этой почвы, подчеркивал Суханов (Гиммер), социалистам «пришлось бы делать своими социалистическими руками буржуазное дело, и это было бы гибелью доверия демократии и социалистических партий к своим вождям». Таким образом, «буржуазное» правительство получило отсрочку и не могло не быть признано, именно как власть по праву.

Однако же, и Совет не хотел отказаться от своей доли фактической власти. Между этими двумя, главнейшими факторами необходимо было установить определенное соглашение. Потребность в этом чувствовалась едва ли не больше со стороны Совета, нежели со стороны Временного правительства. По крайней мере, инициатива переговоров принадлежала исполнительному комитету Совета р. и с. депутатов. Поздно вечером 1 марта от его имени явилась к временному комитету Думы и правительству делегация в составе Чхеидзе, Стеклова, Суханова, Соколова, Филипповского и др. с предложением обсудить условия поддержки правительства демократическими организациями.
Они принесли и готовый текст этих условий, которые должны были быть **{306}** опубликованы от имени правительства. Для левой части блока большая часть этих условий была вполне приемлема, так как они входили в ее собственную программу. Сюда относились: все гражданские свободы, отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений, созыв Учредительного Собрания, которое установит форму правления, выборы в органы самоуправления на основании всеобщего избирательного права, полная амнистия. Но были и пункты существенных разногласий, по которым завязался продолжительный спор, закончившийся соглашением только в 4 часа утра. Кн. Львов отсутствовал. Гучков в эту ночь с 1 на 2 марта ездил на вокзалы Варшавский и Балтийский, чтобы предупредить прибытие в Петербург войск, посланных царем для усмирения восстания. Надо пояснить, что еще 28 февраля в Ставке смотрели на волнения в столице, как на бунт, который можно усмирить.

Для этой цели были назначены части войск с Северного и Западного фронта, ген. Иванов назначен диктатором с объявлением военного положения в Петербурге, и царь выехал 1 марта из Ставки в Царское. Но в то же время наши инженеры Некрасов и прогрессист Бубликов вместе с левыми вошли в связь с железнодорожным союзом и оказались хозяевами движения по всей железнодорожной сети. Под этими впечатлениями находился и исполнительный комитет Совета р. и с. депутатов, и, может быть, этой угрозой объясняется и настроение делегатов и их сравнительная уступчивость в ночь на 2 марта.

В. В. Шульгин очень картинно описал внешнюю сторону нашего совещания с делегатами. «Это продолжалось долго, бесконечно... Чхеидзе лежал... Керенский иногда вскакивал и убегал куда-то, потом опять появлялся... Я не помню, сколько часов все это продолжалось. Я совершенно извелся и перестал помогать Милюкову, что сначала пытался делать... направо от меня лежал Керенский,... по-видимому, в состоянии полного изнеможения. Остальные тоже уже совершенно выдохлись». Шульгин наклонился к Чхеидзе спросить, почему они так настаивают на выборном офицерстве. Чхеидзе «поднял на меня совершенно усталые глаза, поворочал белками и **{307}** шопотом же ответил: «...Вообще все пропало... чтобы спасти, надо чудо... Надо пробовать... Хуже не будет... Потому что, я вам говорю, все пропало»... Один Милюков сидел упрямый и свежий».

Увы, я тоже не был «свежим». Это была уже третья бессонная ночь, проведенная безвыходно в Таврическом дворце. Обрывки ночи я проводил на уголке большого стола в зале бюджетной комиссии, прикрываясь шубой, по соседству с лежавшим рядом Скобелевым, который тоже не проявлял радужного настроения. Но меня поддерживало сознание важности переговоров, по-видимому, далеко не всем ясной.

Шаг за шагом я отвоевывал у делегации то, что было в их тексте неприемлемого. Так, я не согласился считать «вопрос о форме правления открытым» (они хотели тут провести республиканскую форму). Они согласились также вычеркнуть требование о выборности офицеров, о чем спросонку услышал Шульгин. Я ограничил «пределами, допускаемыми военно-техническими условиями», осуществление солдатами гражданских свобод и отстоял «сохранение строгой воинской дисциплины в строю и при несении военной службы», при введении равенства солдат «в пользовании общественными правами». Но я не мог возражать против «неразоружения и невывода из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении» и только что обеспечивших нам победу. Ведь было неизвестно в тот момент, не придется ли им сражаться далее с посланными на столицу «верными» частями. О настроении солдат я уже говорил.

Когда, наконец, все было соглашено между нами в тексте, который должен был появиться от имени правительства, я поставил вопрос, какие компенсации может дать в обмен Совет р. и с. депутатов. Вопрос был для делегатов неожиданный, но они признали его справедливость. Н. Д. Соколов тут же набросал проект такого заявления от имени Совета. Я признал его неприемлемым — и написал свой. Мой проект был принят, и в нем заключалось обязательство Совета восстановить порядок. «Нельзя допускать разъединения и анархии.

Нужно **{308}** немедленно пресекать все бесчинства, грабежи, врывание в частные квартиры, расхищение и порчу всякого рода имущества, бесцельные захваты общественных учреждений. Упадок дисциплины и анархия губят революцию и народную свободу. Не устранена еще опасность военного движения против революции. Чтобы предупредить ее, весьма важно обеспечить дружную согласованную работу солдат с офицерами... Армия сильна лишь союзом их». Это было приблизительно то же, что я говорил солдатам с вышки полка. И это было принято к напечатанию от имени Совета! Соглашение было подписано и признано окончательным...

Но в это время вернулся Гучков из своего объезда. Он начал возражать — и сорвал соглашение. Решение было отложено на следующий день, и в промежутке примирительное настроение делегации изменилось. По настоянию Родзянко, 2 марта к вечеру переговоры возобновились, и обещанная правительству поддержка была введена в ограниченные рамки. Совет подчеркивал, что «новая власть создалась из общественно-умеренных слоев общества» и что, следовательно, за. нею надо присматривать. «В той мере», в какой она будет осуществлять эти (свои) обязательства, «демократия должна оказать ей свою поддержку». Это было знаменитое «постольку — поскольку». При этом еще правительство должно было обязаться не пользоваться военными обстоятельствами для промедления реформ, ею признанных. Все соотношение между нашими обязательствами, формулированными ими и добровольно принятыми нами — и их обязательствами, формулированными мною и принятыми ими, таким образом затушевывалось и менялось в сторону классовой подозрительности.

Тут уже намечались зародыши будущих затруднений в отношениях между нами, «цензовиками», и «революционной демократией». Оба заявления появились в печати рядом: их заявление, проредактированное нами, от имени правительства и мое заявление, проредактированное и пополненное ими, от имени Совета р. и с. депутатов. А для полюбовного разрешения дальнейших разногласий при выполнении взаимных обязательств была создана **{309}** «контактная комиссия» («Контактная комиссия» была образована 10 марта. (Примеч.ред.).). К ее функционированию я еще вернусь. То, что можно было сделать на бумаге, было, во всяком случае, сделано.

Оставалось решить последний из больших вопросов образования новой власти: определить положение царя. Что Николай II больше не будет царствовать, было настолько бесспорно для самого широкого круга русской общественности, что о технических средствах для выполнения этого общего решения никто как-то не думал.

Никто, кроме одного человека: А. И. Гучкова. Из его показаний перед чрезвычайной комиссией видно, что он и сам не знал, как это совершится, так как не знал окончательной формы, в какой совершится ожидавшийся им переворот. Он не исключал и самых крайних форм устранения царя, если бы переворот совершился в форме, напоминавшей ему XVIII столетие русской истории, — в форме убийства. Но если бы переворот совершился в форме, которую он лично предпочитал — в форме военного пронунциаменто, то он желал бы удаления царя в форме наиболее «мягкой» — отречения от престола.

Он признал перед комиссией, что существовал у него и у его «друзей» (которых он не хотел называть) «план захватить по дороге между ставкой и Царским Селом императорский поезд, вынудить отречение, затем... одновременно арестовать существующее правительство и затем уже объявить как о перевороте, так и о лицах, которые возглавят собою новое правительство». Как известно, с некоторыми вариантами — и независимо от Гучкова — осуществилась первая половина плана; но новое правительство уже составилось раньше, — так же независимо, — и пригласило его в свой состав. Во всяком случае, он считал себя первым кандидатом на то, чтобы добиться от царя отречения, и после того как оказалось, что кандидатура Родзянки не встречает поддержки ни правительства, ни левых, выставил, в форме почти ультимативной, свою собственную.

Вечером 1 марта он «заявил, что, будучи убежден (уже издавна) в необходимости этого шага, он решил его предпринять во что бы то **{310}** ни стало и, если ему не будут даны полномочия от думского комитета, готов сделать это за свой страх и риск». Изложение тут, мне кажется, несколько ретушировано; но непреклонность решения и настроение, которое немцы называют Schadenfreude (Злорадство.), хорошо известны из политической карьеры Гучкова. Низложение государя было венцом

этой карьеры. Правительство не возражало и присоединило к нему, по его просьбе, в свидетели торжественного акта, В. В. Шульгина. Поручение комитета и правительства было дано путешественникам в форме, предусмотренной блоком. Царь должен был отречься в пользу сына и назначить регентом великого князя Михаила Александровича. Этим обеспечивалось известное преемство династии.

Однако, в течение дня 2 марта петербургские настроения продолжали прогрессировать, и плану блока стала грозить опасность слева. Около 3 часов дня меня просили выйти к публике, собравшейся в колонной зале дворца, и объявить формально об образовавшемся правительстве. Я с удовлетворением принял предложение: это был первый официозный акт, который должен был доставить новой власти, так сказать, общественную инвеституру. Я вышел к толпе, наполнявшей залу, с сознанием важности задачи и с очень приподнятым настроением. Темой моей речи был отчет о выполненной нами программе создания новой власти. Слова как-то нанизывались сами собой; по окончании речи я ее записал и отдал журналистам. Речь была напечатана в очередных выпусках газет — и, увы, отметила исторический этап, который, в свою очередь, уже уходил в прошлое...

Среди большинства слушателей настроение было сочувственное — и даже восторженное. Но были в публике и принципиальные возражатели. Передо мной здесь митинговали левые. И с места в карьер мне был поставлен ядовитый вопрос: «Кто вас выбрал»? Я мог прочесть в ответ целую диссертацию. Нас не «выбрала» Дума.

Не выбрал и Родзянко, по запоздавшему поручению императора. Не выбрал и Львов, по новому, готовившемуся в ставке царскому указу, о котором мы не могли быть осведомлены.

{311} Все эти источники преемственности власти мы сами сознательно отбросили. Оставался один ответ, самый ясный и убедительный. Я ответил: «нас выбрала русская революция!» Эта простая ссылка на исторический процесс, приведший нас к власти, закрыла рот самым радикальным оппонентам. На нее потом и ссылались, как на канонический источник нашей власти. Но тут же надо было оговориться. «Мы ни минуты не сохраним этой власти после того, как свободно избранные народом представители скажут нам, что они хотят на наших местах видеть людей, более заслуживающих их доверие». Увы, до этой минуты — Учредительного Собрания — нам не удалось установить преемства нашей власти: она размельчалась столькими дальнейшими переменами и приспособлениями, — пока не потонула в новом перевороте.

Нужно было затем рекомендовать собранию избранников революции. Я начал: «во главе мы поставили человека, имя которого означает организованную русскую общественность, так непримиримо преследовавшуюся старым правительством». Немедленно последовало с той же стороны возражение: «цензовую». Я ответил, в духе возражавших: «да, но единственную, которая даст потом возможность организоваться и другим слоям русской общественности». Ответ был — на свою голову; но он не мог не удовлетворить самых убежденных сторонников «стадиальности» русской революции. Я перешел к рекомендации отдельных членов правительства. Керенский, телефонировавший мне с утра о своем окончательном согласии, обошелся без рекомендации. С аплодисментами прошли всероссийски известные имена вождей думской оппозиции. Менее известные имена думских оппонентов старого правительства справа по финансовым и церковным вопросам, Годнева и В. Львова, публика проглотила молча. Всего труднее было рекомендовать никому неизвестного новичка в нашей среде, Терещенко, единственного среди нас «министра-капиталиста». В каком «списке» он «въехал» в министерство финансов? Я не знал тогда, что источник был тот же самый, из которого был навязан Керенский, откуда исходил республиканизм нашего Некрасова, откуда вышел и **{312}** неожиданный радикализм «прогрессистов», Коновалова и Ефремова. Об этом источнике я узнал гораздо позднее событий...

Очередь дошла до самого рогатого вопроса о царе и династии. Я предвидел возражения и начал с оговорки. «Я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит. Но я скажу его.

Старый деспот, доведший Россию до «полной разрухи, добровольно откажется от престола — или будет низложен. Власть перейдет к регенту великому князю Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей». В зале зашумели. Послышались крики: «Это — старая династия!» Я излагал с уверенностью позицию, занятую блоком, но эти выкрики меня несколько взволновали. Я продолжал повышенным тоном. «Да, господа, это — старая династия, которую, может быть, не любите вы, а, может быть, не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто что любит. Мы не можем оставить без ответа и без разрешения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе, как парламентарную и конституционную монархию. Быть может, другие представляют иначе.

Но если мы будем спорить об этом сейчас, вместо того чтобы сразу решить вопрос, то Россия окажется в состоянии гражданской войны, и возродится только что разрушенный режим. Этого сделать мы не имеем права». Я говорил с сознанием своей правоты, и аргумент, видимо, подействовал. Но затем

я опять сослался на высшего судью. «Как только пройдет опасность и установится прочный мир, мы приступим к подготовке Учредительного Собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Свободно избранное народное представительство решит, кто вернее выразил общее мнение России, мы или наши противники». Признаюсь, в этом заключительном аккорде было немного логики. Но настроение значительной части собрания было, все же, на моей стороне. Меня проводили оглушительными аплодисментами и донесли на руках до министерского помещения.

А к вечеру, в сумерках, в той же зале произошла следующая сцена. Я увидал Родзянко, который рысцой бежал ко мне в сопровождении кучки офицеров, от **{313}** которых несло запахом вина. Прерывающимся голосом он повторял их слова, что после моих заявлений о династии они не могут вернуться к своим частям. Они требовали, чтобы я отказался от этих слов. Отказаться я, конечно, не мог; но, видя поведение Родзянко, который отлично знал, что я говорил не только от своего имени, но и от имени блока, я согласился заявить, что я высказывал свое личное мнение. Я знал особенность Родзянки — теряться в трудных случаях; но такого проявления трусости я до тех пор не наблюдал. С тем же настроением, в тот же вечер он настаивал, чтобы я как можно скорее заключил наше соглашение (уже испорченное вмешательством Гучкова) с Советом р. и с. депутатов. И на следующее утро он проявил то же свойство в случае, несравненно более значительном...

Наши делегаты, Гучков и Шульгин, только в 3 часа пополудни выехали навстречу царю и только в 10 часов вечера приехали в Псков. За это время в настроении царя произошло значительное изменение. Выезжая, в ночь на 28 февраля из ставки, он еще рассчитывал усмирить восстание и дал ген. Иванову широкие полномочия, — хотя ген. Алексеев уже убеждал его дать «конституцию». Остановленный в ночь на 1 марта в Малой Вишере, в виду опасности столкнуться с восставшими войсками, он уже соглашался на «конституцию». Все же, решив повернуть на Псков под покровительство ген. Рузского, он колебался между усмирением и уступками, смотря по ходу событий. Но, приехав во Псков в 8 часов вечера 1 марта и узнав, что революция побеждает, он услышал от Рузского совет «идти на все уступки» — и поручил Родзянке составить «ответственное» министерство.

К утру 2 марта он узнал от того же Рузского, что эта уступка уже недостаточна, и что все войска перешли на сторону восставших. А после завтрака Рузский принес ему семь телеграмм от великого князя Николая Николаевича, ген. Алексеева и от командующих фронтами. Все они настаивали на отречении царя от престола по формуле блока, переданной Алексеевым: отречение в пользу сына с регентством Михаила. Николай согласился и на это, составил соответственную телеграмму, но, как сказано выше, **{314}** до 3¼ часов она не была отослана. А потом он узнал о предстоящем приезде Гучкова и Шульгина — и переменил намерение. Вместо передачи сыну, он решил передать престол Михаилу и в этом смысле составил текст отречения. Когда приехали депутаты, он встретил их «спокойно» и передал им свое последнее решение готовым. Гучков перед чрезвычайной комиссией объяснял довольно пространно, почему он отступил от поручения временного комитета. Он хотел увезти с собой во что бы то ни стало хоть какой-нибудь готовый акт отречения — и не хотел настаивать. Уже после подписания акта Шульгин напомнил о князе Львове, и царь написал бумагу о его назначении премьером. Шульгин хотел таким образом установить преемственность власти и предложил поставить на бумаге дату до отречения, когда Николай еще имел право распорядиться. Перед комиссией Гучков хотел было затушевать этот факт, но это ему не удалось: комиссия констатировала, что назначение кн. Львова произошло совершенно независимо от царского указа.

В Петербурге ночь на 3 марта, в ожидании царского отречения, прошла очень тревожно. Около 3 часов ночи мы получили в Таврическом дворце первые известия, что царь отрекся в пользу великого князя Михаила Александровича.

Не имея под руками текста манифеста имп. Павла о престолонаследии, мы не сообразили тогда, что самый акт царя был незаконен. Он мог отречься за себя, но не имел права отрекаться за сына. Несколько дней спустя я присутствовал на завтраке, данном нам военным ведомством, и возле меня сидел великий князь Сергей Михайлович.

Он сказал мне в разговоре, что, конечно, все великие князья сразу поняли незаконность акта императора. Если так, то, надо думать, закон о престолонаследии был хорошо известен и венценосцу. Неизбежный вывод отсюда — что, заменяя сына братом, царь понимал, что делал. Он ссылался на свои отеческие чувства — и этим даже растрогал делегатов. Но эти же отеческие чувства руководили царской четой в их намерении сохранить престол для сына в неизменном виде. И в письмах императрицы имеется место, в котором царица одобряет решение царя, как способ — не изменить **{315}** обету, данному при короновании (В этом смысле я истолковал «последний совет царицы» в «Последних новостях». (Прим. автора).). Сопоставляя все это, нельзя не придти к выводу, что Николай II здесь хитрил, — как он

хитрил, давая октябрьский манифест. Пройдут тяжелые дни, потом все успокоится, и тогда можно будет взять данное обещание обратно. Не даром же Распутин обещал сыну благополучное царствование...

Но и независимо от всех этих соображений, пришедших позднее, замена сына братом была, несомненно, тяжелом ударом, нанесенным самим царем судьбе династии — в тот самый момент, когда продолжение династии вообще стояло под вопросом. К идее о наследовании малолетнего Алексея публика более или менее привыкла: эту идею связывали, как сказано выше, с возможностью эволюции парламентаризма при слабом Михаиле. Теперь весь вопрос открывался вновь, и все внимание сосредоточивалось на том, как отнесется великий князь к своему назначению. Родзянко и Львов ждали в военном министерстве точного текста манифеста, чтобы выяснить возможность его изменения. В здании Думы министры и временный комитет принимали меры, чтобы связаться с Михаилом Александровичем и устроить свидание с ним утром. Выяснились сразу два течения — за и против принятия престола великим князем. Конечно, за этим разногласием стоял принципиальный вопрос — о русском государственном строе. Один ночной эпизод меня в этом окончательно убедил. Мы сидели втроем в уголке комнаты: я, Керенский и Некрасов. Некрасов протянул мне смятую бумажку с несколькими строками карандашом, на которой я прочел предложение о введении республики.

Керенский судорожно ухватился за кисть моей руки и напряженно ждал моего ответа. Я раздраженно отбросил бумажку с какой-то резкой фразой по адресу Некрасова. Керенский грубо оттолкнул мою руку. Он еще вечером объявил себя республиканцем в Совете р. и с. депутатов и подчеркнул свою роль «заложника демократии». Начался нервный обмен мыслей. Я сказал им, что буду утром защищать вступление великого князя на престол. Они заявили, что будут настаивать на отказе. **{316}** Выяснив, что никто из нас не будет молчать, мы согласились, что будет высказано при свидании только два мнения: Керенского и мое — и затем мы предоставим выбор великому князю. При этом было условленно, что, каково бы ни было его решение, другая сторона не будет мешать и не войдет в правительство. Утром вернулись делегаты из Пскова. Я успел предупредить Шульгина по телефону на станции о петербургских настроениях. Гучков прямо прошел в железнодорожные мастерские, объявил рабочим о Михаиле — и едва избежал побоев или убийства.

Свидание с великим князем состоялось на Миллионной, в квартире кн. Путятина. Туда собрались члены правительства, Родзянко и некоторые члены временного комитета. Гучков приехал позже. Входя в квартиру, я столкнулся с великим князем, и он обратился ко мне с шутливой фразой, не очень складно импровизированной: «А что, хорошо ведь быть в положении английского короля. Очень легко и удобно! А?» Я ответил: «Да, ваше высочество, очень спокойно править, соблюдая конституцию». С этим мы оба вошли в комнату заседания.

Родзянко занял председательское место и сказал вступительную речь, — мотивируя необходимость отказа от престола! Он был уже, очевидно, распропагандирован — отнюдь не в идейном смысле, конечно. После него в том же духе говорил Керенский. За ним наступила моя очередь.

Я доказывал, что для укрепления нового порядка нужна сильная власть — и что она может быть такой только тогда, когда опирается на символ власти, привычный для масс. Таким символом служит монархия. Одно Временное правительство, без опоры на этот символ, просто не доживет до открытия Учредительного Собрания. Оно окажется утлой ладьей, которая потонет в океане народных волнений. Стране грозит при этом потеря всякого сознания государственности и полная анархия. Вопреки нашему соглашению, за этими речами полился целый поток речей — и все за отказ от престола. Тогда, вопреки страстному противодействию Керенского, я просил слова для ответа — и получил его. Я был страшно взволнован неожиданным согласием оппонентов — всех **{317}** политических мастей. Подошедший Гучков защищал мою точку зрения, но слабо и вяло.

К этому моменту относится импрессионистское описание Шульгина, из которого я позволю себе привести несколько строк. «Это была как бы обструкция... Милюков точно не хотел, не мог, боялся кончить. Этот человек, обычно столько учтивый и выдержанный, никому не давал говорить, он обрывал возражавших ему, обрывал Родзянку, Керенского, всех...

Белый, как лунь, лицом сизый от бессонницы, совершенно сиплый от речей в казармах и на митингах, он каркал хрипло». Следует набор отрывочных фраз, отчасти взятых из моей первой речи. «Если это можно назвать речью, эта речь его была потрясающей»...

Внешняя сторона здесь схвачена верно; но, конечно, Шульгин немножко преувеличил.

В моем «карканьи» была все-таки система. Я был поражен тем, что мои противники, вместо принципиальных соображений, перешли к запугиванию великого князя. Я видел, что Родзянко

продолжает праздновать труса. Напуганы были и другие происходящим. Все это было так мелко в связи с важностью момента... Я признавал, что говорившие, может быть, правы. Может быть, участникам и самому великому князю грозит опасность. Но мы ведем большую игру — за всю Россию — и мы должны нести риск, как бы велик он ни был. Только тогда с нас будет снята ответственность за будущее, которую мы на себя взяли. И в чем этот риск состоит? Я был под впечатлением вестей из Москвы, сообщенных мне только что приехавшим оттуда полковником Грузиновым: в Москве все спокойно, и гарнизон сохраняет дисциплину. Я предлагал немедленно взять автомобили и ехать в Москву, где найдется организованная сила, необходимая для поддержки положительного решения великого князя.

Я был уверен, что выход этот сравнительно безопасен. Но если он и опасен — и если положение в Петрограде действительно такое, то, все-таки, на риск надо идти: это — единственный выход. Эти мои соображения очень оспаривались впоследствии. Я, конечно, импровизировал. Может быть, при согласии, мое предложение можно было бы видоизменить, обдумать. Может быть, тот же Рузский отнесся бы иначе к защите **{318}** нового императора, при нем же поставленного, чем к защите старого... Но согласия не было; не было охоты обсуждать дальше. Это и повергло меня в состояние полного отчаяния... Керенский, напротив, был в восторге. Экзальтированным голосом он провозгласил: «Ваше высочество, вы — благородный человек! Я теперь везде буду говорить это!»

Великий князь, все время молчавший, попросил несколько минут для размышления. Уходя, он обратился с просьбой к Родзянко поговорить с ним наедине. Результат нужно было, конечно, предвидеть. Вернувшись к депутации, он сказал, что принимает предложение Родзянки. Отойдя ко мне в сторону, он поблагодарил меня за «патриотизм», но... и т.д. Перед уходом обе стороны согласились поддерживать правительство, но я решил не участвовать в нем.

Мы с Гучковым вышли вместе — и поехали на одних санях. В чрезвычайной комиссии он заявил, что, уезжая, согласился на убеждения друзей — «временно» остаться в правительстве; но мне он сказал, что уходит. Я считал, таким образом, наше решение общим. Я чувствовал себя, после пяти бессонных ночей во дворце и после только что случившегося крушения моих надежд, в состоянии полного изнеможения. Приехав домой, я бросился в постель и заснул мертвым сном. Через пять часов, вечером, меня разбудили. Передо мной была делегация от центрального комитета партии: Винавер, Набоков, Шингарев. Все они убеждали меня, что в такую минуту я просто не имею права уходить и лишать правительство той доли авторитета, которая связана с занятой мною позицией. Широкие круги просто не поймут этого. Я уже и сам чувствовал, что отказ невозможен, — и поехал в вечернее заседание министров. Там я нашел и Гучкова.

В квартире на Миллионной приглашенные нами юристы, Набоков и Нольде, писали акт отречения. О незаконности царского отречения, конечно, не было и речи, — да, я думаю, они и сами еще не знали об этом. Отказ Михаила был мотивирован условно: «Принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, **{319}** если такова будет воля великого народа нашего», выраженная Учредительным Собранием. Таким образом, форма правления, все же, оставалась открытым вопросом. Что касается Временного правительства, тут было подчеркнуто отсутствие преемства власти от монарха, и великий князь лишь выражал просьбу о подчинении правительству, «по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти». В этих двусмысленных выражениях заключалась маленькая уступка Родзянке: ни «почина» Думы, как учреждения, ни, тем более, «облечения», как мы видели, не было.

Родзянко принял меры, чтобы отречение императора и отказ Михаила были обнародованы в печати одновременно. С этой целью он задержал напечатание первого акта. Он, очевидно, уже предусматривал исход, а, может быть, и сговаривался по этому поводу.

Временное правительство вступало в новую фазу русской истории, опираясь формально только на свою собственную «полноту власти».

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
(2 Марта 1917 г. — 25 октября 1917 г.)

1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Я отнюдь не собираюсь писать здесь историю Временного правительства. Этой теме я посвятил три выпуска «Истории второй русской революции», занимающей 800 страниц и уже по размеру не могущей быть воспроизведенной в моих личных воспоминаниях («История второй русской революции» написана вскоре после событий, в промежутке от конца ноября 1917 г. до августа 1918 г., затем пересмотрена и дополнена тогда же во время моего пребывания в Киеве, вторично пересмотрена и дополнена в Париже в декабре 1920 г., и издана Русско-болгарским издательством в Софии, в 1921-1924 гг., с использованием вновь вышедшей литературы предмета. (Прим. автора).).

Я проследил здесь деятельность Временного правительства шаг за шагом, часто день за днем по печатным документам и воспоминаниям участников событий. Мои личные впечатления, конечно, отразились на изложении и на критике совершавшегося, но о своей роли в событиях я говорил только по связи с основной нитью рассказа и, по возможности, не называя себя. Тем не менее, мои политические противники, не согласные, естественно, с моей оценкой значения событий, обвинили меня в том, что я излагал их как мемуарист, а не как историк. Предвидя это, я оговорил в предисловии, что я принципиально отказывался от субъективного освещения и «заставлял говорить факты, подлежащие объективной проверке», **{321}** «не желая подгонять факты к выводам».

Я писал, по собственному убеждению, «историю», а не «мемуары». Меня обвиняли также в том, что, в своей критике, я проводил взгляды своей партии и сделал их как бы основной осью своего изложения. Это обвинение, — если считать его обвинением, — отчасти верно; но оно парализуется самым существом проводимых взглядов. Я не раз упоминал уже здесь, что не только мы, но и наши противники считали Февральскую революцию «буржуазной», а не «социалистической». Партия Народной свободы была самой левой из политических партий, к которым могло быть прилагаемо это название. Она не была ни партией «капиталистов», ни партией «помещиков», как ее старалась характеризовать враждебная пропаганда. Она была «надклассовой» партией, не исключавшей даже тех надклассовых элементов, которые имелись в социализме. Она отрицала лишь исключительный классовой характер социалистической доктрины и то, что в тогдашнем социализме было антигосударственного и утопического. И в этом отрицании ее взгляды поневоле разделялись всей той умеренной частью социализма, которая, вместе с нею, делала «буржуазную» революцию. Это внутреннее противоречие продолжало существовать на всем протяжении существования Временного правительства. От него были свободны и внутренне последовательны только большевики. И наша критика поведения так называемой «революционной демократии» была обращена именно на это противоречие, — на неспособность умеренных социалистических партий устранить те антигосударственные и утопические элементы, которые противоречили взглядам, общим у них с нами. Они, как увидим, и сделались жертвой этого противоречия. Таков исходный пункт той критики, которой мы — ив частности я в своей «Истории» — подвергали их политическое поведение. «Субъективной» такую критику назвать никак нельзя, и ее справедливость тогда же была доказана самым ходом событий. Можно доказывать, что указанное противоречие было неустранимо при настроениях тогдашнего времени; но нельзя отрицать, что оно существовало — и что именно оно вызвало провал всей тактики партий **{322}** умеренного социализма. Все это мы увидим и здесь, в моем сокращенном изложении — и уже в прямой связи с моей личной ролью в борьбе против указанного коренного недостатка в политике умеренно-социалистических партий.

Мне пришлось скоро вернуться к «исторической» стороне той же темы. Очень сжато я описал тот же процесс разложения Временного правительства в другой моей работе: «Россия на переломе». И здесь я получил возможность проверить и подтвердить объективность своего изложения. В промежутке вышли семь томов «Записок о революции» Суханова («Записки о революции» изданы в Берлине, 1922-1923. Моя «Россия на переломе» — в двух томах, в Париже, 1927. Параллелизм моего изложения с Сухановым см. особенно в т. 1-ом,

стр. 48-49, 71-88 И 104-119. Ср. "Histoire de Russie", t. III, p. 1259-1294. (Прим. автора).). Вместе с моей «Историей», это — пока единственное подробное и связное изложение событий от февраля до октября 1917 года. Оно сделано с точки зрения, противоположной моей.

Суханов — «последовательно мыслящий марксист вообще и циммервальдец в частности» — стоял влево от правящего центра «революционной демократии» (Керенский и Церетели), не доходя, однако, до большевиков; я стоял вправо от этого центра, не доходя до правых Государственной Думы. Наша критика была одинаково направлена на поведение центра с точки зрения двух противоположных политических критериев. Но в существенных чертах наши выводы сходятся, и в «России на переломе» цитаты из моей «Истории» постоянно сопровождаются ссылками на параллельные места «Записок» Суханова.

Его рассуждения и догадки часто неверны; но он — хороший наблюдатель и талантливый писатель. Его характеристики деятелей большей частью верны; его описания — красочны. То, что у нас с ним сходно, есть критика центральных позиций советов, и это сходство для меня явилось дополнительным доказательством объективности моих собственных суждений. Тем с большей уверенностью я поместил в третьем томе Histoire de Russie, изданной под моей редакцией, сжатый очерк истории Временного правительства, введя в изложение **{323}** исключительно одни факты, которые достаточно ясно говорят сами за себя.

Теперь я вступаю в свои права «мемуариста». Анонимные скобки, касающиеся меня лично, будут здесь раскрыты; позиции партии Народной свободы, защищавшиеся мною, будут подчеркнуты и снабжены комментарием; характеристики лиц, имевших отношение к моей деятельности, будут очерчены более откровенно, чем это допускало безличное изложение. Напротив, ход событий, на почве которого развивалась моя деятельность — и который я должен считать достаточно известным, — будет дан лишь в самых общих чертах, лишь насколько это нужно для понимания моего изложения.

Я не боюсь, что в итоге моя роль окажется преувеличенной, потому что это — роль побежденного, и единственное мое оправдание в том, что я не ответствен за поражение, мною предвиденное.

Я не имею в виду здесь двух первых месяцев — март и апрель 1917 г., когда я принимал участие во власти первого состава Временного правительства и когда мне приходилось вести активную борьбу на три фронта: оборона против циммервальдизма за сохранение общей внешней политики с союзниками, против стремлений Керенского к усилению его собственной власти, и за сохранение полноты власти правительства, созданного революцией. Во всех трех направлениях мои усилия оказались тщетными, и я принужден был выйти из состава правительства. Но на этом не кончилась моя политическая деятельность.

Мои партийные единомышленники остались у власти — и, уже в виду общей уверенности социалистов, что русская революция есть революция «буржуазная», должны были остаться в правительстве при всех трех дальнейших коалициях «цензовых» элементов с социалистами, меняясь только в составе. В качестве председателя Центрального комитета партии я должен был принимать участие в подготовке и в осуществлении всех этих перемен, за исключением последней. Точно также я участвовал и в выступлениях политических организаций, окружавших правительство, и в двух представительных собраниях, организованных второй и третьей коалицией **{324}** в Москве и в Петрограде с целью (хотя и не достигнутой) поддержать падавший авторитет этих коалиций. Противник Керенского, я принужден был здесь поддерживать его, как единственный сохранившийся обломок общенациональной власти, созданной революцией.

Для большей ясности последующего изложения я приведу здесь хронологические даты четырех составов Временного правительства, сменившихся за восемь месяцев его существования, а также даты продолжительных кризисов власти, отделивших первую коалицию от второй и вторую от третьей.

1. Правительство первого состава:	март и апрель	(2, III—5, V, 1917).
2. Первая коалиция с социалистами:	май-июнь —	(6, V—2, VII, 1917).
3. Кризис первой коалиции:	июль —	(2, VII—25, VII, 1917).
4. Вторая коалиция с социалистами:	август —	25, VII—26, VIII, 1917).
5. Кризис второй коалиции:	сентябрь —	27, VIII—24, IX, 1917).
6. Третья коалиция с социалистами:	октябрь —	(24, IX—25, X, 1917).

Как видим, июль и сентябрь 1917 г. прошли в состоянии кризисов власти: июль — вследствие первых (неудачных) восстаний большевиков, сентябрь — в подготовке ими последнего (удачного) восстания. Только первый состав и первая коалиция продержались у власти по два месяца. Две последние коалиции просуществовали без кризисов только по одному месяцу.

Два упомянутых собрания, долженствовавших подкрепить власть второй и третьей коалиции, заседали: первое в Москве от 12 до 15 августа, второе в Петрограде («Совет республики» или «предпарламент») от 24 сентября до 25 октября — дня захвата власти большевиками.

Керенский — та «национальная» ось, около которой совершаются все эти перемены, постепенно усиливает титулы своей власти — по мере того как падает его авторитет. Пост министра юстиции в первом составе правительства он меняет на пост военного и морского министра первой коалиции; во **{325}** второй он становится премьером вместо кн. Львова, а после победы над ген. Корниловым, во время второго кризиса, принимает звание Верховного главнокомандующего и окружает себя «директорией» ближайших приверженцев; наконец, в третьей — и последней — коалиции он тщетно ищет поддержки «цензовых» элементов и создает искусственное представительство партий. Борьба с Корниловым за диктатуру составляет кульминационный пункт его усилий удержаться у власти — и крутой переход к сдаче большевикам.

2. СОСТАВ И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

В чьи руки досталась всероссийская власть первого правительства, «выбранного русской революцией»? Сравнивая его состав с списками, исходившими из разных общественных кругов, мы видим, что он был далеко не случайным. Случайным в нем был в известной степени элемент, введенный в качестве представительства различных фракций прогрессивного блока. Один момент могло казаться, что и «лидерство» блока займет соответствующее место в кабинете министров. Но это был очень короткий момент, — и это только могло «казаться».

Отражение этого можно, пожалуй, найти на первых страницах «Записок» Суханова, в некоторых выражениях Шульгина, — может быть, в нашем Центральном комитете. Но знающие меня близко могут удостоверить, что я никогда не стремился сам занять первое место. Если иногда я на нем и оказывался, то так слагались обстоятельства, и я принимал совершившийся факт, как исполнение моего общественного долга. Обстоятельства при создании Временного правительства сложились гораздо иначе, и я принял в нем ту долю влияния и власти, которую приписывало мне единодушное общественное мнение. В общем итоге эта доля была невелика: она оказалась меньше, чем я хотел бы. И я с самого начала решил было сделать отсюда соответствующий вывод, но сделал его только позднее, после сделанного опыта, — и, как увидим, не без борьбы. Моей вины в уходе от власти не было.

{326} Но это откровенное объяснение — между прочим. Характеристику состава Временного правительства надо начать с тех, кому должно было принадлежать по праву первое место или кто к нему стремился и достигал этого фактически. A tout seigneur —tout honneur (По месту и почет.). Начну с главы правительства, с князя Г. Е. Львова.

Я уже упомянул о своем разочаровании — при первой встрече с кн. Львовым в роли премьера. Нам нужна была, во что бы то ни стало, сильная власть. Этой власти кн. Львов с собой не принес. В себе, как и в русском народе, по словам его биографа, он «ощущал, как хорошее и желанное... смиренство, миротворчество, доброту, терпеливое несение креста». Он «не умел и не хотел различать в народной толпе сподвижников Пугачева и Стеньки Разина. Зависть, злоба, жестокость, дикость, склонность к анархии и бунтарству оставались для него почти незамеченными; эти свойства скользили по его вниманию». «Такие воззрения он принес с собою и на место председателя Совета министров». Что это была его давняя черта, видно из сообщенных выше черт его биографии. Тот же биограф, ближайший помощник и восторженный поклонник кн. Львова, описал нам впечатления Львова при посещении духоборов в Канаде в 1909 г.

Он очутился перед огромным коллективным хозяйством, созданным, при американских условиях, Петром Веригиным, царем и богом этой общины. Местные власти считали Веригина шарлатаном, который обирает своих «рабов». Кн. Львов писал: «глядя на духоборческую общину среди канадских фермеров, невольно проникаешься чувством гордости русским именем, внутренним достоинством того народа, который мог выделить из своей среды такой благородный отпрыск, полный энергии и идеализма». А вот комментарий его спутника: «Всякая медаль имеет оборотную сторону. Но

когда дело касалось русского народа, кн. Львов не умел ее видеть... Факты отрицательного характера, наблюдаемые тут же, не имели власти над Г. Е. Они скользили по его сознанию, не оставляя никакого следа».

{327} С этими своими свойствами кн. Львов оказал России плохую услугу. Ни на кресле премьера, ни в роли министра внутренних дел он был не на своем месте. Здесь, вместо привычного и любимого «дела», в которое он с таким успехом вкладывал свои лучшие качества, — очередным «делом» была ненавистная для него «политика». Сперва он растерялся и приуныл перед грандиозностью свалившейся на него задачи; потом «загорелся» всегдашней верой и ударился в лирику. «Я верю в великое сердце русского народа, преисполненного любовью к ближнему, верю в этот первоисточник правды, истины и свободы. В нем раскроется вся полнота его славы, и все прочее приложится». Так говорил он журналистам.

И после почти двухмесячного опыта, в заседании четырех Дум, 27 апреля, он кончал свою одушевленную речь цитатой поэта: «свобода, пусть отчаются другие; я никогда в тебе не усомнюсь». Это упорство в вере дорого обошлось и ему самому, когда наступило разочарование. После его ухода из правительства тот же биограф Полнер виделся (9 июля) с кн. Львовым. «Я не сразу узнал Г. Е. Передо мною сидел старик, с белой как лунь головой, опустившийся, с медленными, редкими движениями... (Он) казался совершенно изношенным. Не улыбаясь, он медленно подал мне руку» и сказал очень серьезно... «мне ничего не оставалось делать. Для того, чтобы спасти положение, надо было бы разогнать советы и стрелять в народ. Я не мог этого сделать. А Керенский это может». И кн. Львов, уходя, сам предложил в свои заместители — Керенского (который, впрочем, тогда уже в этой рекомендации не нуждался).

Не сумев проявить сильной власти, он передал эту миссию человеку, который тоже не сумел ее создать, но, по крайней мере, сумел ее симулировать. И, прежде всего, сделал это в составе первого кабинета, покорив своей воле — волю кн. Львова.

Мы, члены Думы, знали Керенского давно и были знакомы с приемами его самовозвеличения. Он умел себя навязать вовремя. Мы не знали только, что из привычки это стало системой, и мне пришлось самому создать для него новый плацдарм, пригласив его занять пост **{328}** министра юстиции.

Я рассказал эпизод с арестом Щегловитова, в котором Керенский без труда сломил волю Родзянки, и другой эпизод, в котором он проскочил ко власти через Совет рабочих депутатов (Керенский получил приглашение войти в состав Временного правительства и принял его, вопреки постановлению Совета рабочих депутатов, и после того обратился к Совету с просьбою о санкции принятия им поста министра юстиции. (Примеч. ред.).).

В составе правительства он продолжал эти упражнения — на мне. Один из таких эпизодов рассказан В. Д. Набоковым, который запомнил его отчетливее меня самого, и я его процитирую.

В закрытом ночном заседании правительства в Мариинском дворце я сказал, что германские деньги были в числе факторов, содействовавших перевороту. «Керенский, по своему обыкновению, нетерпеливо и раздраженно ходил из одного конца зала в другой... Он вдруг остановился и оттуда (из далекого угла залы) закричал: «Как? Что вы сказали? Повторите!»...

Милюков спокойно и, так сказать, увесисто повторил свою фразу. Керенский словно осатанел. Он схватил свой портфель и, хлопнув им по столу, завопил: «После того, как г. Милюков осмелился в моем присутствии оклеветать святое дело великой русской революции, я ни одной минуты здесь больше не желаю оставаться». С этими словами он повернулся и стрелой вылетел из залы. За ним побежал Терещенко и еще кто-то из министров, но, вернувшись, они сообщили, что его не удалось удержать и что он уехал домой...

Милюков сохранил полное хладнокровие и на мои слова ему: «Какая безобразная и нелепая выходка!» отвечал: «Да, это обычный стиль Керенского. Он и в Думе часто проделывал такие штуки»... Никто из оставшихся министров не высказал ни одного слова по поводу фразы, вызвавшей негодование Керенского, но все находили, что его следует сейчас же успокоить и уговорить... Кто-то, кажется, Терещенко, сказал, что к Керенскому следовало бы поехать князю Львову. Другие с этим согласились. Милюков держался пассивно, — конечно, весь этот инцидент был ему глубоко противен. Кн. Львов охотно согласился поехать «объясниться» с Керенским. Конечно, все кончилось пуфом»...

Я припоминаю другой **{329}** случай, в котором министерство не смогло остаться пассивным и было принуждено принять мою сторону. Керенский, часто выбегавший в соседнюю залу, где его ждали журналисты, сообщил им для печати, что Временное правительство готовит ноту к союзникам о целях войны. Так как никакой такой ноты я не готовил, я потребовал, чтобы Временное правительство опровергло это сообщение печати. Выдумка была налицо, и опровержение правительства было напечатано (14 апреля). Форсировать мои намерения Керенскому не удалось, но цель его была именно

такова. Эти два случая столкновения двух воль не были единичными и, обыкновенно, не кончались благополучно для Керенского. Отсюда, вероятно, и вытекало то отношение ко мне Керенского, о котором свидетельствует Набоков. «Милюков был его bête noire (Объект ненависти.) в полном смысле слова. Он не пропускал случая отозваться о нем с недоброжелательством, иронией, иногда с настоящей ненавистью».

Что касается моего отношения к Керенскому, я скоро научился считать его показное величие, его диктаторскую позу величайшим несчастьем для русской революции. Но В. Д. Набоков прав, что «личные (мои) чувства и отношения в ничтожнейшей степени отражались на (моем) политическом поведении; оно ими никогда не определялось. Совсем наоборот — у Керенского. Он весь был соткан из личных импульсов»... Когда дело дошло до моего ухода из правительства, именно Керенский в заседании правительства предоставил себе удовольствие объявить мне, что «семь членов» правительства решили (в моем отсутствии) переместить меня в министерство народного просвещения (заведомо неприемлемое для меня условие). Кто были эти «семеро»? Конечно, прежде всего «триумвират» Керенского, Некрасова и Терещенко. Затем двое правых, совершенно порабощенных авторитетом Керенского, Влад. Львов и Годнев. Наверное, не приняли участия в этом сговоре мои друзья к. д., Шингарев и Мануйлов. Кто же были остальные двое (не считая Гучкова, уже ушедшего, и меня самого, десятого члена правительства)? **{330}** Остаются А. И. Коновалов, личный и политический друг Керенского, потом перешедший к к. д., и... князь Львов, подчинившийся его влиянию и предоставивший Керенскому объявить мне общее решение. Это распределение голосов лучше всего характеризует степень и пределы влияния Керенского в правительстве первого состава. Не успев еще стать «сильной властью» в государстве, Керенский, несомненно, уже достиг сильной власти в правительстве.

Кто еще, кроме премьера и Керенского, мог претендовать на «сильную власть»? Я ожидал ее проявления от Гучкова. Но, после кн. Львова, это было вторым моим разочарованием. Во Временном правительстве Гучков не поддержал своей прежней репутации. Я ожидал встретить в нем союзника. Но он, как уже замечено, держал себя в стороне, не часто участвовал в заседаниях кабинета и, очевидно, вел свою собственную линию. Она была не такова, чтобы я мог на нее опереться. Отчасти это объясняется его болезненным состоянием. Несколько раз правительство принуждено было устраивать заседания у его постели. Но главным образом приходилось объяснять это ослабление воли его пессимизмом по отношению к совершившемуся.

Наблюдения Набокова в этом отношении совершенно правильны. «Гучков с самого начала в глубине души считал дело проигранным и оставался только par acquit de conscience (Для успокоения совести.)... Ни у кого не звучала с такой силой, как у него, нота глубочайшего разочарования и скептицизма, поскольку вопрос шел об армии и флоте. Когда он начинал говорить своим негромким и мягким голосом, смотря куда-то в пространство слегка косыми глазами, меня охватывала жуть, сознание какой-то полной безнадежности. Все казалось обреченным». Со мной Гучков был менее откровенен — или потому, что вообще был замкнутым человеком, или потому, что я не был одержим тогда таким крайним пессимизмом. Я считал возможным бороться. Он меня в моей борьбе не поддержал. Мало того, махнув рукой на окончательный исход и передоверив работу своему старому другу, ген. Поливанову, он без особого усилия сдал те позиции, которые я считал возможным защищать **{331}** в коренном вопросе о войне и мире. Скрывая от меня то, что делалось в его министерстве, он готовил мне, вопреки нашему соглашению, сюрприз своего преждевременного ухода. Словом, ни «сильной», ни вообще какой-нибудь власти я с этой стороны не встретил.

От остальных членов правительства я и не ожидал чего-либо особенного. Из трех моих политических единомышленников я тогда уже имел основание считать Н. В. Некрасова попросту предателем, хотя формального разрыва у нас еще не было. Я не мог бы выразиться так сильно, если бы речь шла, только о политических разногласиях. Мы видели, что он вел по существу республиканскую линию. Это было — его дело. Не упоминаю и о той «подземной» войне против меня во фракции, которая оставалась мне неизвестной и о которой рассказал Набокову Шингарев.

Хуже было то, что Некрасов, видя быстрый рост влияния Керенского, переметнулся к нему из явно личных расчетов. Он был, конечно, умнее Керенского и, так сказать, обрабатывал его в свою пользу. По впечатлению Набокова, мало его знавшего вначале, «его внешние приемы подкупали своим видимым добродушием», «он умел казаться искренним и простодушным», но «оставил впечатление двуличности, — маски, скрывающей подлинное лицо». Вопреки Набокову, «первой роли играть» он не мог — и даже, не желая рисковать, к ней и не «стремился». Он более способен был играть роль наушника, тайного советчика, какой-нибудь éminence grise (Серое преосвященство.). Он слишком долго

цеплялся за колесницу временного победителя, и сам свел на-нет свою политическую карьеру, когда пришлось прятаться от достигнутого успеха. С этими качествами он пригодился на вторые роли и у большевиков.

По отношению к остальным членам правительства я отсылаю читателя к ярким и метким характеристикам В. Д. Набокова (Архив русской революции, т. I: «Временное правительство». Богатая содержанием статья В. Д. Набокова составляет необходимое пособие при ознакомлении с составом и с первоначальной деятельностью первого правительства революции. (Прим. автора).).

С ними трудно спорить даже **{332}** тогда, когда они кажутся не совсем справедливыми. Так, с высоты своего культурного уровня и строгой научной подготовки Набоков трактует провинциализм и дилетантизм Шингарева и расходится со мной в коренном вопросе войны и мира.

Но он так хорошо и сердечно относится к моему ближайшему другу и так преувеличенно оценивает меня лично, что ничего, кроме желания «сказать правду», нельзя усмотреть в этих характеристиках. Его оценка Годнева и В. Львова, — деятелей выдвинутых исключительно Думой, — жестока, но также правдива. Я хотел бы только подчеркнуть еще связь между Керенским и Некрасовым — и двумя неназванными министрами, Терещенко и Коноваловым. Все четверо очень различны и по характеру, и по своему прошлому, и по своей политической роли; но их объединяют не одни только радикальные политические взгляды. Помимо этого, они связаны какой-то личной близостью, не только чисто политического, но и своего рода политико-морального характера.

Их объединяют как бы даже взаимные обязательства, исходящие из одного и того же источника. В политике оба последние министра — новички, и их появление в этой среде вызывает особые объяснения. Киевлянин Терещенко известен Набокову, как меломан в петербургских кругах; другой «министр-капиталист», почти профессиональный пианист, ученик Зауэра, — на линии московского мецената. Терещенко берет, по ассоциации с своими капиталами, портфель министерства финансов; потом, столь же неожиданно, он становится дипломатом, без всякой предварительной подготовки.

Природный ум и хорошее воспитание его выручают. Мой антагонист и преемник, он потихоньку ведет мою же политику, успешно надувая Совет рабочих депутатов, но к концу постепенно освобождается от своего левого гипноза и даже разрывает с Керенским.

Фабрики фирмы Коноваловых славятся блестящей постановкой рабочего вопроса, и А. И. Коновалов с большим основанием занимает пост министра торговли и промышленности. Но он еще скорее рвет с марксистским социализмом, переходит к нам, к. д., — в момент крайней опасности для **{333}** Керенского вдруг оказывается (в третьей коалиции) на посту его заместителя, отнюдь не имея для этого поста ни личных, ни политических данных. Дружба идет за пределы общей политики. Из сделанных здесь намеков можно заключить, какая именно связь соединяет центральную группу четырех. Если я не говорю о ней здесь яснее, то это потому, что наблюдая факты, я не догадывался об их происхождении в то время и узнал об этом из случайного источника лишь значительно позднее периода существования Временного правительства.

От состава первого Временного правительства перехожу к его деятельности в первое время. Она носит двоякий характер. С одной стороны, руководимое желанием дать стране первые основы демократического строя и связанное своим соглашением с Советом р. и с. депутатов, правительство спешит приготовить и опубликовать основные акты нового порядка. В этом отношении его работа облегчена богатым материалом законопроектов, давно уже разработанных законоведами партии Народной свободы и залежавшихся в Государственных Думах всех созывов. С другой стороны, правительство утопает в массе вопросов, возникающих ежедневно и требующих немедленного решения.

В Думах это называлось «вермишелью», и с решениями не торопились; здесь ждать было нельзя, так как эти мелочи были связаны с созданием нового порядка. Министры собирались каждый день, днем и вечером; составлять повестки и готовить доклады было некогда. В. Д. Набоков взял на себя трудную задачу «управляющего делами», но упорядочить ход дел ему удалось далеко не сразу. Кн. Львов оказался неудачным председателем: он не был в состоянии руководить прениями и большею частью молчал, не имея своего мнения. Единственный голос власти в заседаниях принадлежал Керенскому, перед которым председатель совершенно стушевывался: «часто было похоже на какое-то робкое заискивание», замечает Набоков.

Мои стычки с Керенским приводили обыкновенно все собрание в конфуз и в состояние нерешительности. Нужны были особенные усилия, чтобы **{334}** заставить собрание высказаться. Протоколов прений и голосований не велось с сознательным намерением сохранить фикцию единства правительства. Впрочем, прения, часто горячие, велись только по принципиальным вопросам в конце вечернего заседания, когда канцелярия удалялась. На дневные заседания министры приходили уже утомленные работой в своих министерствах, опаздывали и в полусне выслушивали очередные доклады,

не зная заранее их содержания.

Из основных актов, изданных уже в течение первого месяца деятельности правительства, упомяну опубликование программы и всеобщую амнистию (6 марта), отмену прежней администрации (7-е), отмену смертной казни (12-е), обращение к крестьянам (17-е), отмену всех национальных и религиозных ограничений (20-е), создание особого совещания для выработки избирательного закона в Учредительное Собрание (25-е); затем, по национальным вопросам — отмену всех нарушений финляндской конституции (6-е), провозглашение независимости Польши, первые меры для удовлетворения украинских стремлений (19-е). К некоторым из этих актов придется вернуться. Здесь я остановлюсь только на одном, связанном с деятельностью министерства внутренних дел.

В своем ведомстве кн. Львов был особенно угнетен и растерян. Ему предстояло изменить всю систему управления Россией. А сделать это сразу было, очевидно, невозможно. Тем не менее, кн. Львов на это решился.
5 марта он разослал по телеграфу циркулярное распоряжение Временного правительства: «устранить губернаторов и вице-губернаторов от исполнения обязанностей», передав временно управление губерниями председателям губернских земских управ, в качестве правительственных комиссаров. Пришлось сразу же признать, что мера эта была крайне необдуманна и легкомысленна — даже с политической точки зрения. Председатели управ были часто реакционерами, а иные губернаторы — либералами.

Кроме того, отмена на местах законной власти вызывала путаницу во всех низших органах управления. В министерство посылались запросы: **{335}** как быть? Приехали новые начальники за инструкциями, что делать. Кн. Львов был застигнут врасплох. Никаких однообразных инструкций он дать не мог. И он прикрылся своей идеологией. Через день (7 марта) он дал интервью печати. «Назначать никого правительство не будет... Это — вопрос старой психологии. Такие вопросы должны решаться не в центре, а самим населением... Пусть на местах сами выберут». А дальше следовала обычная идеализация кн. Львова. «Мы все бесконечно счастливы, что нам удалось дожить до этого великого момента, что мы можем творить новую жизнь народа — не для народа, а вместе с народом... Народ выявил в эти исторические дни свой гений!»

Что же это означало? В провинции, вслед за столицей, «народ», вместо самоупразднившейся власти, действительно, уже создал свои самочинные организации, в виде всевозможных «общественных комитетов», «советов» и т. д. Львов усмотрел в них «фундамент» будущего самоуправления и объявил правительственных «комиссаров» не «высшей инстанцией», а «посредствующим звеном» между центральной властью и этими «органами». Такая санкция власти, разумеется, еще усилила и оправдала продукты «революционного правотворчества». Власть на местах — вообще исчезла, как исчезли жандармы и полицейские в Петрограде, Партийные организации приобрели могущественное средство пропаганды самочинных действий.

Я очень подозреваю в этих необдуманных шагах влияние молодого Д. М. Щепкина, сделавшегося из товарища Главноуправляющего Земским союзом товарищем министра внутренних дел. Конечно, так продолжаться не могло. Рядом с Д. М. Щепкиным трудился на помощь кн. Львову более квалифицированный работник Н. Н. Авинов, родственник по жене И. П. Демидова (они были женаты на дочерях влиятельного земца Новосильцева, у которого собирались первые земские съезды 1905 года). И в конце второго месяца, 25 апреля, правительство могло сообщить, что «уже изданы постановления о выборах в городские думы и о милиции. Будут изданы в самом непродолжительном времени **{336}** постановления о волостном земстве, о реформе губернских и уездных земств, о местных продовольственных органах, о местном суде и об административной юстиции»... Подготовленное Временным правительством первого состава управление так и осталось недостроенным зданием.

3. МОИ ПОБЕДЫ — И МОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Итак, я получил во Временном правительстве первого состава пост министра иностранных дел, давно намеченный для меня общественным мнением и мнением моих товарищей. Мое положение казалось очень прочным, да оно таковым и было — вначале.

Про меня говорили, что я был единственным министром, которому не пришлось учиться налету и который сел на свое кресло в министерском кабинете на Дворцовой площади, как полный хозяин своего дела. Я, кажется, был также единственным, который не уволил никого из служащих. Я ценил заведенную машину с точки зрения техники и традиции. Я знал, что в составе служащих есть люди, не разделяющие моих взглядов на очередные вопросы внешней политики, но не боялся их влияния на меня

и полагался на их служебную добросовестность. Я собрал всех служащих при вступлении в министерство и указал им на единство нашей цели и на необходимость считаться с духом нового режима.

Я, конечно, не считал этого министерства «легким», как Штюрмер. Я хотел сам входить во всё, и масса времени уходила на ознакомление с текущим материалом, с ежедневной корреспонденцией, с расшифровками «черного кабинета», не говоря уже о приемах нужных и ненужных посетителей и просителей. Часть дня уходила на ежедневные беседы с послами. У меня собирались Бьюкенен, Палеолог и Карлотти. Сполайкович тоже добивался участия в этих свиданиях, но «европейские» союзники хотели со мной беседовать наедине, и сербу я назначал отдельные свидания. Напомню, что дважды в день я участвовал в заседаниях министров, которые посещал аккуратно, а среди дня еще находил **{337}** время заехать в редакцию «Речи», чтобы осведомить сотрудников о наиболее важных новостях дня и сговориться о проведении нашей точки зрения.

При всем том, я сам не считал своего положения прочным — дальше скажу, почему — и не собирался переезжать в роскошную квартиру министерского помещения, занимавшуюся Н. Н. Покровским. Так как иногда приходилось работать в министерстве далеко за полночь, я велел поставить себе кровать в маленькой комнатке для служащих, по другую сторону коридора, и оставался там ночевать, обеспечив себе утренний стакан чая. Так сложилось мое ежедневное времяпрепровождение за эти два месяца моей министерской деятельности.

Перехожу теперь к элементам непрочности положения. Мы все, решительно во всех областях жизни, получили тяжелое наследство от низложенного режима. Об этом достаточно говорилось раньше.

К прежним затруднениям прибавились теперь новые, созданные специальной идеологией нового строя. В области экономической, финансовой, административной, — в особенности социальной и национальной, — нас ждали трудноразрешимые проблемы. Но не все они выдвинулись сразу на первую очередь. На первом плане стоял, напротив, с самого начала революции, коренной вопрос о войне и мире, ближе всего касавшийся именно меня и военного министра.

Мы знали, что старое правительство было свергнуто ввиду его неспособности довести войну «до победного конца». Именно эта неспособность обеспечила содействие вождей армии при совершении переворота членами Государственной Думы. Считалось, что освобождение России от царского гнета само по себе вызовет энтузиазм в стране и отразится на подъеме боеспособности армии. В первые моменты эта надежда разделялась и нашими союзниками — по крайней мере, левой частью их печати и общественного мнения. Но это длилось недолго и у них, и, тем более, у нас. Мы знали, что затянувшаяся война, в связи с расстройством снабжения, утомила и понизила дух армии.

Последние наборы давали материал, неспособный влить **{338}** в армию новое настроение. Так называемые «запасные» батальоны новобранцев, плохо обученные и недисциплинированные, разбегались по дороге на фронт, а те, которые доходили, в неполном составе, — по мнению регулярной армии, лучше бы не доходили вовсе.

Раньше, чем они прочли номер «Окопной правды», — листка, разбрасывавшегося в окопах на германские деньги с целью разложить армию, — и раньше, чем появились в ее рядах в заметном количестве свои, русские агитаторы, процесс разложения уже зашел далеко в солдатских рядах. Десять дней спустя после создания правительства ген. Алексеев уже писал Гучкову, что он не в состоянии исполнить обязательство, принятое перед союзниками на совещаниях в Шантильи 15-18 ноября 1916 г. и в Петрограде в феврале 1917 г.: «Мы приняли обязательство не позже как через три недели после начала наступления союзников решительно атаковать противника...

Теперь дело сводится к тому, чтобы, с меньшей потерей нашего достоинства перед союзниками, или отсрочить принятые обязательства, или совсем уклониться от исполнения их... Уже пришлось сообщить, что мы можем начать активные действия не раньше, первых чисел мая... Придется высказать, что раньше июля они не могут на нас рассчитывать». И, с противной стороны, ген. Людендорф свидетельствовал в своих воспоминаниях: «Если бы русские атаковали нас хотя бы с небольшим успехом в апреле и мае 1917 г., ... борьба была бы для нас необычайно трудной... Представляя себе, что русские успехи в июле имели бы место в апреле и мае, я не знаю, как справилось бы верховное командование с положением... Только русская революция спасла нас в апреле и мае 1917г. от тяжелого положения».

Естественно, возникал вопрос, может ли Россия вообще продолжать войну. А если не может, то может ли она продолжать прежнюю политику? Оба вопроса, военный и дипломатический, тесно связывались вместе. Но так обнаженно они никогда не ставились. Поставить их так — значило бы выйти из войны посредством **{339}** сепаратного мира. А это рассматривалось, как позор, несовместимый с честью и достоинством России. И когда, в конце восьмимесячного периода существования Временного правительства, военный министр Верховский осмелился намекнуть на

возможность сепаратного мира, он вызвал негодование моего преемника Терещенко и должен был немедленно уйти в отставку. Итак, прекратить войну признавалось возможным только путем заключения общего с союзниками мира. Но как настоять на таком мире, не заставив не только нас, но и их изменить свою политику? А это было, очевидно, невозможно, и защитники такого решения, неизбежно, попадали в заколдованный круг. В этом была сила моей позиции, и топтание на одном месте после моего ухода показало ее правильность. Надо было, неизбежно, продолжать и войну, и политику.

Положение таким было и таким осталось бы (оно и оставалось таким фактически), если бы не вмешался новый фактор, который обещал разрубить гордиев узел вопроса. Этим фактором было воздействие русского циммервальдизма. Вместо проблемы: «война или мир» — циммервальдисты (а такими признавали себя вначале и Керенский, и Церетели) провозгласили лозунг: «война — или революция». Циммервальдец Мартов, кажется, первый формулировал этот лозунг в воззвании к трудящимся массам всего мира, принятом на экстренном собрании всех находившихся в Швейцарии единомышленников в Берне, куда был перенесен центр будущего третьего интернационала.
«Или революция убьет войну, или война убьет революцию» — так развертывался этот лозунг. Если война убьет революцию — это значит победит реакция, «контрреволюция».
Если революция победит войну — а это возможно только в международном масштабе, — то, значит, революция достигла своей последней цели. Такая постановка была нереальна, как и мировой переворот; но для русских полу- или четверть-циммервальдцев нереальность ее скрывалась в туманной дали, а между тем новая формула открывала возможность какого-то нового решения. Убедить союзников в этой возможности было делом **{340}** международного пролетариата. Надо было «просто» изменить их взгляд на «цели войны».

В такой постановке циммервальдский лозунг появляется у нас в первые же дни революции. В первом же номере советского органа «Известия», в манифесте ЦК большевиков мы находим его в развернутом виде. «Немедленная и неотложная задача Временного правительства (тогда еще не успевшего создаться), — диктуют «Известия», — войти в сношения с пролетариатом воюющих стран для революционной борьбы народов всех стран против своих угнетателей и поработителей, против царских правительств и капиталистических клик, — и немедленного прекращения кровавой человеческой бойни, которая навязана порабощенным народам». Большевики знали, о чем они говорили: это есть превращение войны в окопах во внутреннюю гражданскую войну. Но их подражатели в России не знали — и упрощали. 14 марта Совет р. и с. депутатов выпускает воззвание к народам всего мира с призывом: «начать решительную борьбу с захватными стремлениями правительств всех стран и взять в свои руки решение вопроса о войне и мире». Правда, тут же Чхеидзе ведет упрощение еще дальше: «Предложение мы делаем с оружием в руках, и центр воззвания вовсе не в том, что мы устали и просим мира. Логунг воззвания: долой Вильгельма». Это уже — совсем лояльно, и соответствующее предложение вносится немедленно же в «контактную комиссию» Совета и правительства.

Нас приглашали тут немедленно и торжественно обратиться к стране с заявлением, что мы, во-первых, в духе «мира без аннексий и контрибуций», решительно отказываемся от завоевательных империалистических стремлений и, во-вторых, обязываемся безотлагательно предпринять перед союзниками шаги, направленные к достижению всеобщего мира. Церетели, только что вернувшийся из сибирской ссылки, уверял, что такое обращение вызовет небывалый подъем духа в армии и за нами «пойдут все, как один человек», а я, в частности, сумею своими «тонкими дипломатическими приемами» убедить союзников принять директиву Совета.

Тщетно я **{341}** пытался убедить самого Церетели, циммервальдца по недоразумению, что соцалисты-патриоты воюющих стран, находящиеся у власти, никогда на циммервальдскую формулу не пойдут и сговориться с ними на этой почве невозможно. Циммервальдизм проник тогда и в наши ряды. В частности, у кн. Львова он проявился в обычном для него лирическом освещении. 27 апреля, на собрании четырех Дум, он говорил: «Великая русская революция поистине чудесна в своем величавом, спокойном шествии... Чудесна в ней... самая сущность ее руководящей идеи. Свобода русской революции проникнута элементами мирового, вселенского характера-Душа русского народа оказалась мировой демократической душой по самой своей природе. Она готова не только слиться с демократией всего мира, но стать впереди ее и вести ее по пути развития человечества на великих началах свободы, равенства и братства». Церетели поспешил тут же закрепить эту неожиданную амплификацию, противопоставив ее «старым формулам» царского и союзнического «империализма»: «Я с величайшим удовольствием слушал речь... кн. Львова, который иначе формулирует задачи русской революции и задачи внешней политики. Кн. Г. Е. Львов сказал, что он смотрит на русскую революцию не только как

на национальную революцию, что в отблеске этой революции уже во всем мире можно ожидать такого же встречного революционного движения... Я глубоко убежден, что пока правительство... формулирует цели войны, в соответствии с чаяниями всего русского народа, до тех пор положение Временного правительства прочно». Конечно, министр иностранных дел этим самым исключался из циммервальдской страховки.

Одновременно с дипломатической стороной циммервальдского лозунга большевики-циммервальдцы не забывали и военной («убить войну»), и даже посвятили ей особое внимание. Тут особенно я ожидал сотрудничества Гучкова — и ошибся.

Органом пропаганды служила здесь большевистская «Правда», распространявшаяся в большом количестве экземпляров. Уже в начале марта Петербургский комитет большевиков **{342}** рекомендовал совету принять меры «к свободному доступу на фронт и в ближайший его тыл для преобразования фронта» «наших партийных агитаторов» «с призывом к братанию на фронте».

12 марта в контактной комиссии, где тогда, до приезда Церетели, царил Стеклов, он требовал «не приводить к опубликованной правительством присяге», — на что правительство ответило отказом. Это не помешало ему в каждом заседании контактной комиссии выкладывать целый ряд жалоб из армии на неподготовленность командного состава к усвоению начал нового строя и к соответственным от-ношениям к солдату. Он даже потребовал объявить вне закона «мятежных генералов, не желающих подчиниться воле русского народа», и права для «всякого офицера, солдата и гражданина убивать их».

Мне приходилось одному отбиваться от подобных выходок, так как Гучков, к большому раздражению депутатов Совета, просто не показывался в этой комиссии. Циммервальдцы, конечно, скоро нашли другие пути к проникновению в армию своих пропагандистов, и уже 1 апреля ген. Алексеев жаловался: «ряд перебежчиков показывает, что германцы и австрийцы надеются, что различные организации внутри России, мешающие в настоящее время работе Временного правительства,... деморализуют русскую армию».

Наконец, 14 марта появилась в печати «декларация прав солдата», забившая, по выражению ген. Алексеева, последний гвоздь в гроб русской армии. Солдатская секция, составившая этот проект, выдала его за решение Совета р. и с. депутатов, и Гучков передал его в комиссию ген. Поливанова, которая санкционировала его через полтора месяца, когда все содержание декларации уже было осуществлено фактически. «Гибельный лозунг: мир на фронте и война в стране», по выражению Гучкова, уже привел тогда «отечество на край гибели».

Я все-таки считал возможным бороться, в уверенности, что «первый месяц или полтора после революции армия оставалась здоровой». Но борьбу мне приходилось вести не в этой области, а в моей собственной. Там, из-за моего «упорства», как говорили, возникали новые
{343} и новые препятствия, отчасти совсем не с той стороны, с какой я мог их ожидать. Вернусь к продолжению моего рассказа. Первая роль в нем теперь переходит к Керенскому.

После поворота Чхеидзе в сторону против «Вильгельма» и моего отказа в контактной комиссии обратиться к союзникам с увещаниями, меня, как будто, оставили в покое. Но не надолго. Керенский скоро перенес наш спор в заседания кабинета. Я совсем забыл было о начале этого похода, которому суждено было развернуться в большую историю, если бы не напомнил о нем в своих воспоминаниях В. Д. Набоков. Началось с того, что Керенский напечатал интервью о целях русской внешней политики. Тогда, в противовес ему, я поместил в «Речи» (23 марта) свое сообщение на ту же тему. Продолжаю по воспоминаниям Набокова. «Ничего, конечно, нельзя себе представить более противоположного друг другу, чем эти два документа... Керенский был приведен... в состояние большого возбуждения...

Я живо помню, как он принес с собой в заседание номер «Речи» и — до прихода Милюкова — по свойственной ему манере, неестественно похохатывая, стуча пальцами по газете, приговаривал: «ну нет, этот номер не пройдет». Он, очевидно, предвкушал победу надо мной на почве обвинения, уже раздававшегося среди сочленов, что я веду свою собственную, независимую политику. Это и было верно в том смысле, что никто, доверяя мне, до тех пор подробностями внешней политики не интересовался. Теперь Керенский «в очень резкой форме доказывал Милюкову, что если при «царизме» у министра иностранных дел не могло и не должно было быть своей политики, а была политика императора, то и теперь... есть только политика Временного правительства. Мы для вас — государь император!»

«Милюков (я продолжаю цитировать Набокова), внешне хладнокровно, но внутренне сильно возбужденный, на это отвечал приблизительно так: «я и считал, и считаю, что та политика, которую я провожу, — она и есть политика Временного правительства. Если я ошибаюсь, пусть это мне будет прямо сказано.

{344} Я требую определенного ответа, и в зависимости от этого ответа буду знать, что мне дальше делать». На этот «вызов», вспоминает Набоков, «Керенский спасовал. Устами кн. Львова Временное правительство удостоверило, что Милюков ведет ... политику, которая соответствует взгляду и планам Временного правительства». А так как я ссылался на то, что моя статья была ответом на интервью Керенского, то решено было «на будущее время не давать никаких отдельных политических интервью». Вместе с тем, у моих коллег пробудился интерес к вопросам внешней политики, и они просили меня сделать подробный доклад и, в особенности, ознакомить их с так называемыми «тайными договорами». Я, конечно, с удовольствием согласился, извлек «договоры» из архива министерства и иллюстрировал мой доклад подробными картами. Помню, особенный интерес ко всем этим данным, до тех пор ему неизвестным, проявил Терещенко. Владимир Львов, долговязый детина с чертами дегенерата, легко вспыхивавший в энтузиазме и гневе и увеселявший собрание своими несуразными речами, объявил тайные договоры «разбойничьими» и «мошенническими» и требовал немедленного отказа от них.

Возвращаясь к заседанию (24 марта?), в котором решено было не делать индивидуальных деклараций, надо заключить, что именно здесь был поставлен на очередь вопрос об общей декларации правительства по внешней политике, возбужденный Церетели в контактной комиссии. Набоков вспоминает, что уже 25 марта мы вдвоем обсуждали с ним проект этой декларации в Европейской гостинице, возвращаясь с открывшегося в этот день съезда партии Народной свободы. В тот же день комитет с. - д. напечатал резолюцию, провозглашавшую лозунг, формулированный лидером циммервальдцев, Робертом Гриммом: «самая важная и совершенно неотложная задача русской революции в настоящий момент — борьба за мир без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов, — борьба за мир в международном масштабе». Комитет с. - д. признал необходимым побудить Временное правительство, **{345}** во-первых, «официально и безусловно отказаться от всяких завоевательных планов» и, во-вторых, «взять на себя инициативу выработки и обнародования такого же коллективного заявления со стороны всех правительств стран согласия».

Как и в контактной комиссии, я ничего не имел в принципе против первого пункта, но решительно возражал против второго. Я вполне разделял тогда идейные цели «освободительной» войны, но считал невозможным повлиять на официальную политику союзников. В этом смысле я и составил требуемую декларацию правительства, опубликованную 28 марта. Я не хотел только вставлять в текст ее циммервальдскую формулу «без аннексий и контрибуций» и заменил ее описательными выражениями, не исключавшими моего понимания задач внешней политики. После долгих пререканий с Набоковым, это место приняло такой вид: «Предоставляя воле народа (т. е. Учредительному Собранию. — П. М.) в тесном единении с союзниками окончательно разрешить все вопросы, связанные с мировой войной и с ее окончанием, Временное правительство считает своим правом и долгом ныне же заявить, что цель свободной России — не господство над другими народами, не отнятие у них их национального достояния, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления внешней мощи своей за счет других народов, как не ставит своей целью ничьего порабощения и унижения», При обсуждении проекта в правительстве Ф. Ф. Кокошкин, к моему большому удовольствию, провел следующие оговорки: «Русский народ не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной, подорванной в своих жизненных силах», и правительство будет «ограждать права нашей родины, при полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников». Это же и были «тайные договоры»!

Представители Совета находили эти формулировки неприемлемыми и грозили завтра же начать в печати кампанию против Временного правительства. Но изворотливость Некрасова их успокоила: им выгоднее **{346}** толковать уклончивые выражения, как уступку правительства, и поддержать «заявление». С своей стороны, и я выговорил себе право, в случае неблагоприятного толкования заключенного компромисса, толковать его в своем смысле. Но этого не понадобилось. 29 марта съезд р. и с. депутатов признал декларацию 28 марта «важным шагом навстречу осуществлению демократических принципов в области внешней политики», и Церетели заявил, что, хотя «пока не все достигнуто», но и достигнутое «есть факел, брошенный в Европу, где он разгорится ярким огнем». Моя декларация так и осталась, до конца существования Временного правительства, исходным пунктом дальнейших усилий моего преемника.

Ее недостатком в глазах «революционной демократии» было, однако же, то, что я как раз отказался бросить этот «факел в Европу», т. е. адресовать декларацию, как прямое обращение к союзникам. Я настоял на том, чтобы она была обращена к русским гражданам, т. е. предназначена для

внутреннего употребления. На этот пробел и была направлена, как увидим, дальнейшая борьба. Но прежде чем перейти к ней, я остановлюсь на том новом факторе, который совершенно изменил мое личное положение, а, в связи с этим, вообще на моих формальных отношениях к союзникам. Я должен здесь снова обратиться к появившимся позже источникам, особенно к воспоминаниям английского посла сэра Джорджа Бьюкенена и французского Мориса Палеолога. Без них я не мог бы распутать той сложной ткани влияний, которая привела к последнему фазису моей дипломатической борьбы и сыграла роль в моем уходе из правительства (Sir George Buchanan, My Mission to Russia, vel. II; Maurice Paléologue, La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre, tome III, (Прим. автора).). Дневник Палеолога особенно важен. Дипломат старой школы, хорошо осведомленный о России, и в то же время талантливый писатель, владеющий пером, Палеолог экспансивнее своего сдержанного коллеги, его настроения более гибки и красочны и лучше отражают, день за днем, получаемые им впечатления о русской революции. Он предвидит, что **{347}** французская печать и общественное мнение отнесутся с энтузиазмом к перевороту, —и не одобряет эту излишнюю экспансивность. Сам он полон мрачных предчувствий.

В частном письме из Парижа его уже обвиняют, что он слишком «легитимен» и не подражает Бьюкенену, которому уже приписывают нелепую легенду, будто он — автор русской революции. Главная причина скептицизма Палеолога — это неизбежное ослабление военной мощи России после переворота. Он с огорчением отмечает братание петербургских солдат с восстанием, «измену присяге» великого князя Кирилла Владимировича, приведшего свой отряд к Таврическому дворцу, и процессию Царскосельского гарнизона, покинувшего охрану царя, по тому же адресу. Он доволен, что, наконец, создалось новое правительство, но разочарован его составом. Хорошие люди, эти Львовы, Гучковы, Милюковы: «серьезные, честные, разумные, незаинтересованные».

Но... «ни у кого из них нет политического кругозора, духа быстрой решительности, бесстрашия, дерзания, которых требует грозное положение». Палеолог сравнивает их с Моле, Одилоном Барро июльской революции 1830 года, тогда как «нужен, по меньшей мере, Дантон!» «Однако, мне называют одного из них, навязанного Советом, как человека действия: Керенского». «Именно в Совете надо искать людей с инициативой, с энергией, со смелостью... заговорщиков, ссыльных, каторжников: Чхеидзе, Церетели, Зиновьева, Аксельрода. Вот истинные протагонисты начинающейся драмы». Все это записано под 4 (17) марта, два дня спустя после появления Временного правительства. Отказ Михаила Палеолог также объясняет влиянием Совета: «отныне Совет командует». И в моем соглашении с Советом Палеолог усматривает одно «позорное пятно революции»: мятежные войска не пойдут на фронт.

При первом нашем свидании Палеолог меня спросил: «прежде чем говорить на официальном языке, скажите мне откровенно, как вы думаете о положении?» Я ответил: «в двадцать четыре часа я перешел от самого глубокого отчаяния почти к полной уверенности». Он **{348}** тогда перешел сразу к требованию, чтобы правительство немедленно провозгласило торжественно о своем решении продолжать войну à outrance (До крайнего предела.) и заявило о своей верности союзникам. «Нужно тотчас же ориентировать новые силы», особенно в виду германофильских тенденций Штюрмеров и Протопоповых.

Я отвечал: «вы получите в этом отношении все гарантии». Через день было опубликовано воззвание правительства, датированное 6 марта; в нем заявлялось, что первой своей задачей правительство ставит «доведение войны до победного конца», и давалось обещание «свято хранить связывающие нас с другими державами союзы и неуклонно исполнять заключенные с союзниками соглашения». Я думал, что это удовлетворит Палеолога, но ошибся. 7 (20) марта Палеолог прибежал ко мне и набросился на меня с «негодованием» и с жестокими укорами. «Германия вовсе не названа! Ни малейшего намека на прусский милитаризм! Ни малейшей ссылки на наши цели войны!..

Дантон в 1792 г. и Гамбетта в 1870 г. говорили другим языком!» Я не мог ответить Палеологу, что приведенные фразы были максимумом, какого я добился от правительства, которое не хотело вовсе упоминать о войне в своем манифесте. Я ответил только, что он предназначается для внутреннего употребления и что вообще политическое красноречие теперь употребляет иную фразеологию, нежели в 1792 и 1870 гг. «Дайте мне срок, — говорил я ему, — я найду другой повод вас успокоить».

Донесения Палеолога в Париж в эти дни показывают, что его заботило в первую голову. 5 (18) марта он телеграфировал Бриану, что «решения последней конференции (см. выше заявление ген. Алексеева) были уже мертвой буквой», что «беспорядок в военном производстве и в транспорте возобновился» и что он не верит в «способность правительства быстро осуществить необходимые реформы». «На что мы можем рассчитывать при наибольшем оптимизме», спрашивает он, — и отвечает: «С меня свалилось бы тяжелое бремя, если бы я был уверен, что армии на фронте не будут

заражены **{349}** демагогическими эксцессами и что дисциплина будет скоро восстановлена во внутренних гарнизонах.

Я еще не отказываюсь от этой надежды. Я хочу также верить, что с. - д. не превратят своего желания кончить войну в непоправимые действия. Я, наконец, допускаю, что в некоторых местностях страны может возродиться чувство патриотизма. Тем не менее, останется ослабление национального усилия, которое уже было достаточно анемично. И кризис восстановления рискует оказаться продолжительным». Я также разделял подобные надежды и был «оптимистом» в этих пределах. Должен прибавить, что я усматривал и пределы этого оптимизма там же, где указывал их Палеолог в своей следующей телеграмме к Рибо, посланной 10 (23) марта. Он находил там невозможным предсказать, как развернутся силы революции, которым «суждено играть решающую роль в окончательном результате». Предсказания людей, «суждения которых заслуживают доверия», прямо противоположны. «Для одних несомненно провозглашение республики; другие считают неизбежным восстановление конституционной монархии». «Временно», пока над всем у него доминирует мысль о войне, Палеолог представлял себе дальнейший «ход вещей» в следующем виде.

«До сих пор народ нападал на династию и на чиновничество. Затем не замедлят стать на очередь проблемы экономические, социальные, религиозные, национальные. С точки зрения войны это — страшные проблемы... Пока они не будут разрешены, общественное мнение будет захвачено ими.

Но мы не должны желать, чтобы это разрешение было ускорено, так как оно не осуществится без глубоких потрясений». Причину этих потрясений Палеолог видел в том, что «славянское воображение» не «конструктивно», подобно англосаксонскому, а, наоборот, «чрезвычайно анархично и разрушительно», — что предсказывает «довольно длительный период» кризиса.

Этим соображениям нельзя отказать в глубине и проницательности. Ход процесса, его темп и его результаты были, действительно, таковы, и предвидеть их, при знании России, было возможно. Возможно ли было предупредить их, предвидя? К этому, в сущности, сводился **{350}** основной вопрос русской внутренней политики. И в этом отношении мои взгляды и намерения близко подходили к прогнозам Палеолога. Совпадение было фактическое, так как об этих вещах мы с ним не говорили.

Ближайшей темой моих переговоров с Бьюкененом был вопрос о судьбе отрекшегося императора. Из Пскова он вернулся в ставку — и потерял несколько дней в колебаниях относительно дальнейшего своего пребывания: уехать в Англию, или поселиться в Ливадии. В эти дни в Петербурге правительство решило, под очевидным влиянием Совета, арестовать его в Царском Селе. Решение мотивировалось соображениями его безопасности, но Совет хотел, столь же очевидно, предупредить этим всякую попытку реставрации.

Керенский...? *(так в книге!, ldn-knigi)* Керенский еще 7 марта в Москве заявил: «сейчас Николай II в моих руках... Я не хочу, не позволю себе омрачить русскую революцию. Маратом русской революции я никогда не буду... В самом непродолжительном времени Николай II под моим личным наблюдением будет отвезен в гавань и оттуда на пароходе отправится в Англию». А 10 (23) марта Бьюкенен ответил на мою просьбу о содействии этому отъезду, что король Георг, с согласия министров, предлагает царю и царице гостеприимство на британской территории, ограничиваясь лишь уверенностью, что Николай II останется в Англии до конца войны.

По свидетельству Палеолога, я был очень тронут этим сообщением, но печально прибавил: «увы, я боюсь, чтобы это не было слишком поздно»! Действительно, Керенский, узнав, что Совет посылает вооруженную стражу в Царское Село, сразу изменил свое благое намерение, спасовав перед Советом. В связи с дальнейшими событиями, и английское правительство взяло назад свое согласие. Перед самой моей отставкой Бьюкенен смущенно сообщил мне, в ответ на мое напоминание о крейсере, который ожидался, что его правительство «больше не настаивает» на своем приглашении. Из воспоминаний дочери Бьюкенена мы знаем, как тяжело перенес сам он этот отказ.

Как бы то ни было, мрачные перспективы, разделявшиеся осведомленными людьми, не могли, конечно, изменить самого дружественного отношения союзников к **{351}** новому русскому правительству.

Тут не обошлось даже без некоторого соперничества. Посол Соединенных Штатов, милейший Фрэнсис (но никакой не дипломат) непременно хотел, чтобы Америка признала первою русский переворот. И я охотно вошел с ним в маленькую конспирацию. 9 марта Фрэнсис был принят правительством в торжественной аудиенции. Через день, 11 марта, мы выслушали заявления признания нас главными союзниками, Францией, Англией и Италией; в третьей очереди присоединились к ним Бельгия, Сербия, Румыния, Япония и Португалия.

Когда в Париже и Лондоне узнали, что между «социалистическим» Советом и «буржуазным»

правительством возникает конфликт, то, естественно, явилась идея при помощи заграничных «товарищей» устроить между ними некое «священное единение». Мысль эта могла быть подана и из Петербурга. По крайней мере, уже под 19 марта (1 апреля), находим запись в дневнике Палеолога: «нужно, чтобы социалисты союзных стран объяснили своим товарищам в Совете, что политические и социальные завоевания русской революции будут потеряны, если Россия не будет спасена». Наверное об этом они совещались и с Бьюкененом. Может быть, заграницей тоже вспоминали Дантона и Гамбетту.

Забыли только, что — как я ответил Палеологу — политическая фразеология и идеология были разные. Если «социал-патриоты» союзных стран говорили одним языком, то русские «циммервальдцы» говорили совсем другим, и научить их уму-разуму было невозможно. Вместо сговора могло произойти лишь столкновение, и которая-нибудь из сторон должна была уступить. Из двух тем циммервальдской формулы военная была для союзников, очевидно, гораздо важнее дипломатической, хотя обе и были тесно связаны. Надо было постараться, чтобы «революция» не «убила войну», а вдохновила ее новым энтузиазмом. Соглашение и состоялось — на моей особе.

Но тут понадобились и другие жертвы. На следующий же день (20 марта — 2 апреля) Палеолог получил из Парижа известие, что в Россию командируется с чрезвычайной миссией Альбер Тома, министр вооружений.
{352} Задачу миссии он уже сам определил, как желание «внушить Временному правительству и Совету несколько строгих истин». Он прибавляет в дневнике: «с другой стороны, Тома увидит поближе русскую революцию — и наложит сурдинку на странный концерт лести и восхвалений, которые она вызвала во Франции». Однако, Палеолог догадывается и о другом мотиве — он «пользовался доверием старого режима и не верит в новый». Три дня спустя (23 марта — 5 апреля) он телеграфирует Рибо о своей готовности уступить место своему заместителю. Он угадал: Альбер Тома вез в кармане приказ о его отставке. Несколько позднее, член британского кабинета Гендерсон повезет такой же приказ о смене Бьюкенена (Уже после моей отставки Гендерсон спросил моего совета, что делать с этим. Я ему сказал, что нет основания отставлять Бьюкенена. Он ответил: «я сам того же мнения». (Примеч. автора).).

27 марта — 9 апреля Палеолог узнал, что «между Временным правительством и Советом, — точнее говоря, между Милюковым и Керенским, — завязалась оживленная полемика по поводу целей войны». Речь идет о моем воззвании 28 марта, принятом правительством. Палеолог энергично убеждал меня, что «требования Совета равносильны измене России и, если они осуществятся, это будет вечным позором для русского народа».

Я ответил ему: «я настолько согласен с вами, что если бы требования Совета восторжествовали, я тотчас ушел бы в отставку». Но выше сказано, что дело обошлось благополучно, и Совет признал воззвание. Через четыре дня приехали левые депутаты: Муте, Кашен и Лафон от Франции, О'Греди и Торн — от Англии. Степень их левизны была неизвестна Палеологу, и на следующее утро (1 — 14 апреля) он поговорил с приехавшими французскими социалистами по-хорошему. «По первому впечатлению, — записал Палеолог, — ничего лучшего нельзя и желать... Главным образом они беспокоятся о том, сможет ли Россия продолжать войну и можно ли надеяться, что ее усилие позволит нам осуществить нашу программу мира». Палеолог ответил, что русская армия сможет еще сыграть важную роль, если они добьются доверия **{353}** Совета и убедят его, что судьба революции зависит от судьбы войны. «Что касается нашей программы мира, мы должны будем, очевидно, ее приспособить к новым условиям... На Западе нет оснований отказываться от наших претензий и сокращать наши надежды... Но в восточной Европе и Малой Азии нам, несомненно, придется кое-чем пожертвовать из наших упований». Как видим, центр тяжести перенесен здесь с дипломатической стороны на военную: намек на уступки на Востоке, очевидно, имеет в виду «тайные договоры».

Увы, Палеолог ошибся в расчете. 2 — 15 апреля французские депутаты были приняты Советом «холодно, — так холодно, что Кашен потерял самообладание и, чтобы сделать переговоры возможными, счел нужным «выбросить балласт». Jeter le lest отныне становится классической фразой: балласт — это дипломатия, — и в первую голову Эльзас-Лотарингия, возвращение которой принимается не как право, а как результат плебисцита! «Если это и есть вся та поддержка, которую принесли мне наши депутаты, — восклицает Палеолог, — то лучше бы уж они не трудились приезжать»! А «Милюков мне говорит: как вы хотите, чтобы я противился претензиям наших максималистов, если сами французские социалисты проигрывают партию»? Тщетно Палеолог убеждал своих компатриотов, что, «ориентируя демократическую политику в сторону интернационализма», они разнуздывают русскую революцию, тогда как «движение пока еще только начинается,... еще можно замедлить его, маневрировать, выиграть время: для исхода войны отсрочка на несколько месяцев имела

бы огромное значение». Но «скоро я замечаю, что проповедую в пустыне. У меня нет велеречия... Керенского»!..

Действительно, в эти дни Керенский торжествует. 6 — 19 апреля на приеме этих депутатов в Мариинском дворце он открыто противопоставляет свой взгляд официальному мнению правительства, излагаемому мною. Я развивал мысль, что, «несмотря на переворот, мы сохранили главную цель и смысл этой войны» и что «правительство с еще большей силой будет добиваться уничтожения немецкого милитаризма, ибо наш идеал — **{354}** уничтожить в будущем возможность каких бы то ни было войн». Этому пацифистскому взгляду Керенский противопоставил свой циммервальдский, открыто заявив притом, что он «один в кабинете» и его мнение не есть мнение большинства. «Русская демократия — хозяин русской земли» и «мы решили раз навсегда прекратить в нашей стране все попытки к империализму и к захвату...

Энтузиазм, которым охвачена русская демократия, проистекает... даже не из идеи отечества, как понимала эту идею старая Европа, а из идеи, что мечта о братстве народов всего мира претворится в действительность... Мы ждем от вас, чтобы вы в своих государствах оказали на остальные классы населения такое же решающее влияние, какое мы здесь оказали на наши буржуазные классы, заявившие ныне о своем отказе от империалистических стремлений». Всего курьезнее — и унизительнее для меня — было то, что я же был принужден переводить речь Керенского на английский язык для английских депутатов!

К этому же времени относился и упомянутый выше эпизод с фальсификацией Керенского, которую я заставил опровергнуть от имени правительства (14 апреля). Он форсировал положение, обещав печатно, что в ближайшие дни Временное правительство опубликует ноту к союзным державам, в которой разовьет подробнее свой взгляд на цели войны, чем это было сделано в декларации 28 марта.

Никакой ноты тогда я не подготовлял; но дым был не без огня. Керенский, очевидно, уже подготовил свой тыл и выступил не спроста. Вопрос об обращении к союзникам был поднят в самом правительстве, как предрешенный — и весьма спешный. Кто же стоял тут за Керенским и придавал ему смелость? Тогда я не мог знать об этом; но воспоминания Бьюкенена заставили меня придти к заключению, что источником этим были переговоры за моей спиной в английском посольстве.

Бьюкенен устроил у себя ряд совещаний с Керенским, Львовым, Церетели, Терещенко. Прекрасно образованный, владевший английским языком в совершенстве, притом очень ласковый и вкрадчивый в манере разговора, Терещенко был в фаворе у Бьюкенена. Он служил **{355}** переводчиком для других. Союзники нуждались от России в продолжении войны, Палеолог сомневался в возможности этого, Бьюкенен был не менее пессимистичен; но — отчего не попробовать? Керенский обещал возродить «энтузиазм» армии! Он давал так много разных обещаний раньше и позже.

Отчего не дать это, — когда оно было в порядке дня, служило к продвижению его карьеры и соответствовало, как он был уверен, его талантам? Я могу ошибаться в нескольких днях относительно даты этого заверения; но что оно было дано собеседниками, — и дано именно, как условие перемены в правительстве, — это доказывается последовавшими событиями. Керенский при этой перемене намечался в военные министры вместо Гучкова, Терещенко — в министры иностранных дел вместо Милюкова. Оба ненавистные «демократии» министра должны были оставить свои посты. Было ли это условленно вчерне или окончательно, сказать трудно; но это было условленно именно в эти две-три апрельские недели.

В воскресенье 9 (22) апреля мы с Палеологом, Коноваловым и Терещенко пошли на Финляндский вокзал встречать Альбера Тома. Я хорошо запомнил этот момент. Вокзал был расцвечен красными флагами. Огромная толпа заполняла двор и платформу: это были многочисленные делегации, пришедшие встретить — кого? Увы, не французского министра! С тем же поездом возвращались из Швейцарии, Франции, Англии несколько десятков русских изгнанников. Для них готовилась овация. Мы с трудом протеснились на дебаркадер и не без труда нашли Тома с его свитой. Хотя овация не относилась к нему, он пришел в восторженное настроение. «Вот революция — во всем своем величии, во всей своей красоте», передает Палеолог его восклицания. Когда он привез Тома в Европейскую гостиницу, он с места в карьер начал информировать приезжего: «Положение осложнилось в последние две недели. Милюков в конфликте с Керенским.

Надо поддерживать Милюкова, который представляет политику альянса». Тома сразу охладил своего собеседника. «Мы должны обратить серьезное внимание на то, чтобы не оттолкнуть русскую демократию... Я **{356}** приехал сюда специально, чтобы отдать себе отчет во всем этом... Завтра мы продолжим беседу»...

10 (23) апреля состоялся завтрак для Тома во французском посольстве, с участием моим,

Терещенко, Коновалова, Нератова. «Милюков, с обычным добродушием и значительной широтой взгляда, объясняет свой конфликт с Керенским. Альбер Тома слушает, ставит вопросы, говорит мало, но воздает русской революции огромный кредит доверия и горячую дань восторга». По окончании завтрака он уводит Палеолога в его кабинет и передает письмо Рибо о его отставке... 11 (24) апреля Палеолог собирает своих коллег, Бьюкенена и Карлотти, на завтрак с Тома, и здесь происходит обмен мнений, который открывает карты. Я приведу отчет Палеолога об этом свидании целиком.

«Карлотти вполне присоединяется к моему мнению, что мы должны поддерживать Милюкова против Керенского и что было бы тяжкой ошибкой не противопоставить Совету политического и морального авторитета союзных правительств. Я заключаю: с Милюковым и с умеренными членами Временного правительства у нас есть еще шанс задержать процесс анархии и удержать Россию в войне. С Керенским — это верное торжество Совета, то есть разнуздание народных страстей, разрушение армии, разрыв национальных уз, конец русского государства. И если крушение России отныне неизбежно, то по крайней мере не будем прилагать к нему руки». Альбер Тома, поддерживаемый Бьюкененом, категорически объявляет себя за Керенского: «Вся сила русской демократии — в ее революционном взлете. Керенский один способен создать, вместе с Советом, правительство, достойное нашего доверия».

Вечером 12 (25) апреля Тома пришел к Палеологу, чтобы сообщить ему свой продолжительный разговор с Керенским. «Керенский энергично настаивал на пересмотре целей войны в соответствии с резолюцией Совета; союзные правительства потеряют весь кредит у русской демократии, если они не откажутся открыто от своей программы аннексий и контрибуций». Тома заявил, что он и находится под впечатлением силы его аргументов и **{357}** жара, с которым он их защищал». И он повторил фразу Кашена: «мы будем принуждены выбрасывать балласт». Палеолог убеждал его, что русская демократия слишком молода и невежественна, чтобы диктовать свои законы демократиям союзников. Но Тома только повторял свое: «ничего не значит; мы должны выбрасывать балласт».

На следующий день утром я говорил Палеологу «меланхолически»: «ах, ваши социалисты не облегчают мне моей задачи». Теперь я вижу, что в то самое время, когда я собирался вынести последний бой с Советом за неприкосновенность общих принципов нашей внешней политики, видный представитель этой политики готов был меня предать. У меня оказывались противники с тыла! Палеолог, правда, сделал последнюю попытку. Он тогда же телеграфировал Рибо, настаивая на энергичной защите прежних соглашений об основах мира, если русское правительство потребует их пересмотра. Он еще раз пытался защищать мою политику. Иначе, писал он в его телеграмме, «мы, лишим всякого кредита Львова, Милюкова» и т.д. и «парализуем силы, которые, в остальной части страны и в армии еще не затронуты пацифистской пропагандой.

Эти силы слишком медленно реагируют против деспотического преобладания Петрограда, потому что они рассеяны и плохо организованы; тем не менее, они составляют резерв национальной энергии, который может иметь на дальнейший ход войны огромное влияние». Мы не сговаривались с Палеологом.

Но это был, приблизительно, и мой собственный аргумент в пользу моей политики. Тома, однако же, ознакомившись с этой телеграммой, заявил Палеологу, что она будет «последней», и телеграфировал Рибо, что отныне он будет осведомлять правительство под собственной ответственностью. А свой спор с Палеологом он резюмировал в одной фразе: «вы не верите в доблесть революционных сил, а я верю в них безусловно». Дальше спорить было, очевидно, бесполезно...

С приездом иностранных социалистов совпало и возвращение из тюрем, из ссылки, из-за границы — Швейцарии, Парижа, Лондона, Америки — представителей **{358}** русской эмиграции. Они представляли традицию русской революции, между ними имелись громкие имена — и люди, заслуживавшие всяческого уважения. Мы встречали их не только «с почетом», но и с горячим приветом.

В первое время мы надеялись найти среди них полезных сотрудников; для Плеханова, например, мы готовили министерство труда. Но, когда он приехал, мы сразу увидели, что это — уже прошлое, а не настоящее. Приезжие «старики» как-то сами замолкли и стушевались. На первые роли выдвинулись представители нового русского максимализма.

В начале апреля приехал через Германию Ленин с своей свитой в «запломбированном вагоне». Перед отъездом из Цюриха он объявил Керенского и Чхеидзе «предателями революции», а 4 апреля в собрании большевиков пригласил социал-демократов «сбросить старое белье» и принять название «коммунистов».

Даже большевистская «Правда» была сконфужена и писала 8 апреля по поводу требования

Ленина о переходе власти к Совету: «схема т. Ленина представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитана на немедленное перерождение этой революции в социалистическую». Однако расчеты многих, что Ленин сам себя дискредитирует своими выступлениями, далеко не оправдались. Позднее приехал Троцкий, и меня очень обвиняли впоследствии, что я «пропустил» его. Я, действительно, настоял у англичан, у которых он был в «черном списке», чтобы они его не задерживали. Но обвинявшие меня забывали, что правительство дало общую амнистию. К тому же, Троцкий считался меньшевиком — и готовил себя для будущего. За прошлые преступления нельзя было взыскивать. Но когда Ленин начал с балкона дома Кшесинской произносить свои криминальные речи перед огромной толпой, я настаивал в правительстве на его немедленном аресте. Увы, на это Временное правительство не решилось.

С приездом русских циммервальдцев, давление их взглядов на Совет сильно оживилось. При этом агитация была перенесена теперь в рабочую и солдатскую среду, и крайние требования предъявлялись Совету от имени **{359}** фабрик, заводов, частей гарнизона, почтово-телеграфных служащих и т.д. И очередным лозунгом был поставлен тот, которому я отказался следовать в обращении к гражданам 28 марта. Совету предлагали требовать от правительства немедленного обращения к союзникам с предложением отказаться в свою очередь от «аннексий и контрибуций». Этим усиленным давлением надо объяснить, очевидно, и речь Керенского к английским социалистам, и его фальшивое сообщение о готовящейся ноте — и, наконец, поднятие вопроса о такой ноте в среде самого правительства. Начиналась новая кампания против меня, — на этот раз на более широком фронте.

Совершенно отказаться от всяких уступок было, очевидно, невозможно. Но я выбрал путь, который все еще ограждал меня и мою политику.

Я согласился отправить союзникам ноту, но не с нашими требованиями от них, а с сообщением им к сведению о наших взглядах на цели войны, уже выраженных в обращении к гражданам от 28 марта. Правительство согласилось удовлетвориться этим. Оставалось придумать повод к такому обращению и составить препроводительную ноту. Эта нота и должна была служить предметом обсуждения в правительстве. Мой предлог заключался в опровержении слухов, будто Россия собирается заключить сепаратный мир с немцами. Я опровергал их тем, что уже «высказанные Временным правительством (в воззвании 28 марта) общие положения вполне соответствуют тем высоким идеям — об освободительном характере войны, о создании прочных основ для мирного сожительства народов, о самоопределении угнетенных национальностей, — которые постоянно высказывались многими выдающимися государственными деятелями союзных стран», особенно же Америки.

Такие мысли, продолжал я, могла высказать только освобожденная Россия, способная «говорить языком, понятным для передовых демократий современного человечества». Подобные заявления не только не дают повода думать об «ослаблении роли России в общей союзной борьбе», но, напротив, усиливают «всенародное стремление довести мировую войну до решительного конца»; общее внимание при **{360}** этом сосредоточивается «на близкой для всех и очередной задаче — отразить врага, вторгшегося в самые пределы нашей родины».

Я повторил далее вставку Кокошкина: «Временное правительство, ограждая права нашей родины, будет вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников, — как то и сказано в сообщенном документе». В заключение, нота повторяла, во-первых, уверенность в «победоносном окончании настоящей войны в полном согласии с союзниками», и, во-вторых, и в том, что «поднятые этой войной вопросы будут разрешены в духе создания прочной основы для длительного мира и что проникнутые одинаковыми стремлениями передовые демократии найдут способ добиться тех гарантий и санкций, которые необходимы для предупреждения новых кровавых столкновений в будущем». Слова «гарантии и санкции» были вставлены мною по настоятельной просьбе Альбера Тома, который, очевидно, не хотел все-таки выбрасывать всего союзного «балласта». Они были опасны (например, в случае понимания их в смысле гарантий и санкций Франции от Германии при заключении мира). Но зато они обеспечивали мне согласие союзного социалиста на мою ноту.

18 апреля моя нота была готова, одобрена правительством и на следующий день сообщена Совету. День 18 апреля соответствовал 1 мая нового стиля, и Совет готовил на этот день празднование рабочего праздника. Центром торжества было Марсово поле; туда с утра потянулись со всех концов столицы рабочие, солдатские и т.д. процессии с плакатами и красными знаменами. Из своего министерского помещения я имел удовольствие видеть на крыше Зимнего дворца надпись огромными буквами: «Да здравствует интернационал». В числе плакатов были и такие, как «долой войну», а

резолюции заводских рабочих уже заранее требовали отставки Временного правительства и передачи власти в руки Совета. Но эти большевистские выступления тонули в общем характере праздника; Совет напечатал в «Известиях», что они «не отвечают его взглядам». Шествия были хорошо организованы и прошли в полном порядке. Многочисленные речи уличных ораторов и общее настроение толпы **{361}** отнеслись к ленинцам неодобрительно. Альбер Тома мог восхищаться грандиозностью празднества и восклицать:

«Какая красота, какая красота»! Это был советский праздник.

На следующий день, 19 апреля (2 мая), в Михайловском театре был устроен «концерт-митинг», на котором должны были выступить я и Керенский. Я тогда не обратил внимания на последовательность событий и опять должен прибегнуть к наблюдательности Палеолога, описавшего этот митинг подробно и красочно. «После симфонической прелюдии Чайковского, Милюков произнес речь, вибрировавшую патриотизмом и энергией. От райка до партера ему сочувственно аплодировали». Затем, после пения Кузнецовой, из бенуара выскочила всклокоченная фигура с криком: «Я хочу говорить за мир, против войны»!—Кто ты такой?—Человек колеблется, потом, «как бы бросая вызов залу», кричит с надрывом: Я из Сибири, я каторжник! — Политический? — Нет, но мне велит совесть! — Ура, ура, говори, говори! — Его выносят на плечах на сцену. «Альбер Тома в упоении». С восторженным лицом, он хватает за руку Палеолога и шепчет на ухо: «Это — несравненное величие! Это — великолепная красота»!

Каторжник начинает читать письма с фронта: немцы хотят брататься с русскими товарищами. Публика не желает его слушать. В этот момент, при аплодисментах публики, появляется Керенский (он всегда «появляется». — П. М.). Каторжника убирают со сцены, — Керенский выходит на сцену: он «бледнее обыкновенного, — кажется измученным от усталости». В нескольких словах он отвечает каторжнику. «Но у него, как будто, в голове другие мысли, — и неожиданно он формулирует странное заключение». Это — слова Палеолога, но мы знаем, что это — манера Керенского, становящаяся обычной: впасть в истерику, чтобы высказать интимную мысль, гвоздящую мозг.

Он восклицает: «Если не хотят мне верить и за мной следовать, я откажусь от власти. Никогда я не употреблю силы, чтобы навязать свое мнение... Когда страна хочет броситься в пропасть, никакая человеческая сила не сможет ей помешать, и тем, кто находится у власти, остается одно: уйти»! **{362}** И «с разочарованным видом он сходит со сцены». Палеолог в недоумении: «Мне хочется ему ответить, что когда страна находится на краю бездны, то долг правительства — не в отставку уходить, а с риском собственной жизни удержать страну от падения в бездну». Он не знал, — и я еще не знал, — что выходка Керенского воспроизводит метод Бориса Годунова. Он «уходит» — перед возвышением.

Это — повторение сцены в Совете, чтобы вынудить разрешение войти в правительство, сцена отказа в совещании в Малахитовом зале, сцена истерики на Московском совещании... Но все это скрыто пока от наблюдения, и я не помню, чтобы я обратил тогда внимание на заявление о необходимости ухода правительства — для прихода Керенского... Я теперь только вижу, что это было так: невольное и преждевременное откровение о состоявшемся соглашении (неизвестном Палеологу). Оно устанавливает дату.

На следующий день, 20 апреля, большевики взяли свой реванш за мирный советский праздник 1 мая. В этот день была опубликована моя нота, и она послужила поводом для первой вооруженной демонстрации на улицах столицы против меня и против Временного правительства.

К 3-4 часам дня к Мариинскому дворцу пришел запасный батальон Финляндского полка с плакатами: «долой Милюкова», «Милюков в отставку». За ним подошли еще роты 180 запасного батальона и около роты Балтийского флотского экипажа. Большинство солдат не знало, зачем их ведут. «Ответственным» признал себя в письме 23 апреля в «Новую жизнь» член совета Федор Линде.

Кроме войск, в демонстрации участвовали рабочие подростки, не скрывавшие, что им за это заплачено по 10-15 рублей. Руководителей Совета обвинять не приходилось уже потому, что Совет тогда вовсе не собирался занимать место правительства, ограничиваясь «давлением» на него. Между большевиками и моей нотой он оказался в затруднительном положении. Исполнительный комитет Совета ограничился предложением Временному правительству обсудить происшедшее сообща. К состоявшемуся впервые такому собранию, в составе около 70 человек, я сейчас вернусь. Предварительно скажу о **{363}** ближайших последствиях демонстрации для меня лично. Большинству Совета и публике прикосновение к составу Временного правительства, обязавшегося довести страну до Учредительного Собрания, еще представлялось недопустимым.

На смену демонстрантам появились многолюдные процессии с плакатами: «Доверие Милюкову!», «Да здравствует Временное правительство!» Местами доходило до столкновений, но уже

к вечеру 20 апреля — и особенно в течение 21 апреля — настроение, враждебное ленинцам, возобладало на улицах. В ночь на 21 апреля многотысячная толпа наполнила площадь перед Мариинским дворцом с выражениями сочувствия мне. Меня вызвали из заседания на балкон, чтобы ответить на приветствия. Одна фраза из моего взволнованного обращения повторялась в публике. «Видя плакаты с надписями: «Долой Милюкова!», — говорил я, я не боялся за Милюкова. Я боялся за Россию».

Я указывал на вред дискредитирования власти, на невозможность заменить эту власть другой, более авторитетной и более способной — довести страну до создания нового демократического строя. Однако, 21 апреля большевики попытались начать вооруженную борьбу. Из рабочих кварталов двинулись к Марсову полю стройные колонны рабочих с отрядами красногвардейцев во главе с плакатами «Долой войну!», «Долой Временное правительство!». К вечеру на улицах началась стрельба и были жертвы.

При таком настроении состоялось упомянутое совещание правительства с исполнительным комитетом Совета вечером 21 апреля. Ряд министров, включая и меня, выступили перед собранием с разъяснениями о трудностях положения в разных областях государственной жизни. Доклады произвели впечатление, и отношение исполнительного комитета к правительству было примирительное. Церетели, взявший к тому времени руководящую роль в исполнительном комитете, после моего отказа публиковать новую ноту, согласился ограничиться разъяснениями только двух мест, вызвавших особенно ожесточенные нападки. На другой день (22-го) текст разъяснений был обсужден в правительстве и одобрен Церетели. В одном из них было заявлено, что **{364}** «нота министра иностранных дел была предметом тщательного обсуждения Временного правительства, причем текст ее принят единогласно» (впоследствии Керенский пытался отрицать это). Далее, фраза «решительная победа над врагами означает достижение задач, поставленных декларацией 28 марта», а ссылка (Тома) на «санкции и гарантии имеет в виду такие меры, как ограничение вооружений, международные трибуналы и проч.». Исполнительный комитет 34 голосами против 19 решил признать эти разъяснения удовлетворительными и инцидент исчерпанным. Резолюция исполнительного комитета гласила, что разъяснения «кладут конец возможности истолкования ноты 18 апреля в духе, противном интересам и требованиям революционной демократии».

Вернувшись в министерство, я мог сказать Альберу Тома об этом результате: «Я слишком победил» (j'ai trop vaincu). Тома промолчал, а Терещенко был с этим несогласен. Бьюкенен доносил своему правительству:

«Терещенко сказал мне, что не разделяет взглядов Милюкова, что результат недавнего конфликта между Советом и правительством является крупной победой последнего. Конечно, с чисто моральной стороны это была победа... Но правительству, может быть, придется принять в свою среду одного или двух социалистов». В другом месте Бьюкенен писал: «Львов, Керенский и Терещенко пришли к убеждению, что, так как Совет — слишком могущественный фактор, чтобы его уничтожить или с ним не считаться, то единственное средство положить конец двоевластию это — образовать коалицию».

Это решение (потому что это уже было решение) ставило на очередь совершенно новый вопрос, несравненно более крупный, нежели споры об отдельных выражениях ноты или об адресе, по которому должны быть направлены заявления 28 марта. Из области дипломатической спор переходил в область внутренней политики. Я мог не заметить связи этого перехода с судьбой моей собственной персоны, но я должен был занять позицию по отношению к вопросу о судьбе всего **{365}** министерства, и эта позиция была отрицательная. После «чрезмерной победы» мне предстояла новая, уже совершенно непосильная борьба.

Прибавлю, что постановка на очередь кабинетного вопроса совпала с постановкой другого — о распоряжении военной силой государства. С своей точки зрения, исполнительный комитет мог быть прав, когда, в ответ на вооруженные выступления 20-21 апреля, ответил распоряжением «не выходить с оружием в руках без вызова исполнительного комитета в эти тревожные дни». Но он, несомненно, вторгался в права правительства, когда в следующей же фразе прибавил: «Только исполнительному комитету принадлежит право располагать вами». 21 апреля ген. Корнилов, в качестве главнокомандующего Петроградским округом, распорядился вызвать несколько частей гарнизона, но после заявления исполнительного комитета, что вызов войск может осложнить положение, отменил свое распоряжение и приказал войскам оставаться в казармах. Это могло быть уместно, как мера целесообразности «в тревожные дни», но превращалось в конфликт после воззвания исполнительного комитета Совета. Ген. Корнилову оставалось подать в отставку, и хотя Временное правительство в свою очередь «разъяснило»

26 апреля, что «власть главнокомандующего остается в полной силе и право распоряжения войсками может быть осуществляемо только им», через несколько дней Корнилов отставку получил и отправился в действующую армию. Так обрисовался конфликт, обещавший стать не менее грозным, чем смена министерства.

Постановка на очередь вопроса о министерском кризисе выпала на долю кн. Львова и была сделана им в том же заседании 21 апреля с исполнительным комитетом, о котором говорилось выше. Насколько помню, меня она застигла врасплох, так как переговоры за моей спиной оставались мне неизвестны. К тому же кн. Львов внес свое предложение, по своему обычаю, в нерешительной и факультативной форме. Он не собирался, конечно, подобно Керенскому, использовать кризис для себя лично, и спорить с ним можно было **{366}** только на принципиальной почве, — что мне и пришлось сделать в ближайшие же дни.

В заседании 21 апреля кн. Львов прямо начал с заявления: «Острое положение, создавшееся на почве ноты 18 апреля, есть только частный случай. За последнее время правительство вообще взято под подозрение. Оно не только не находит в демократии поддержки, но встречает там попытки подрыва его авторитета. При таком положении, правительство не считает себя вправе нести ответственность. Мы (я исключаю себя из этих «мы». — П. М.) решили позвать вас и объясниться. Мы должны знать, годимся ли мы для нашего ответственного поста в данное время. Если нет, то мы для блага родины готовы сложить свои полномочия, уступив место другим». Кн. Львов обращался здесь не к тому учреждению, которое дало нам полномочия. Исполнительный комитет был партийной организацией и не представлял «воли народа», перед которой «мы» должны были склониться. Правда, еще меньше представлял ее временный комитет Государственной Думы; но мы на него и не ссылались, если не считать Родзянку. Если уже ставить кабинетный вопрос «в данное время», надо было обратиться к мнению страны; но как она могла выразить свое мнение? По сообщению В. Д. Набокова, Гучков первый заговорил об уходе правительства, и ему же принадлежала мысль — сделать это в форме отчета перед страной, своего рода «политического завещания».

Всё поведение Гучкова, действительно, объясняется этим ранним желанием поскорее уйти от власти. Но у других министров та же идея мотивировалась иначе. В частности, Кокошкин, которому было поручено написать проект воззвания к населению, хотел в нем формулировать определенное обвинение против тех, кто мешал власти выполнить ее обязательства. Первоначальный текст его «завещания» принял форму обвинительного акта против Совета — и именно против Керенского. Керенский потом отрицал это; но он не видел первоначального черновика, доложенного нам, кадетам. А затем этот проект подвергся двойной переработке, причем резкие места постепенно исчезли, и «обвинение» **{367}** превратилось в «извинение». Для кн. Львова этот последний текст, просмотренный с.-р.'ами, был приемлем; но кн. Львов лично не собирался уходить, а готовился остаться шефом «коалиции». Намерения Керенского мы уже видели. Переход к коалиции с социалистами должен был вернуть правительству доверие «революционной демократии» и создать повод для изменения его со-става. В этом последнем смысле и было формулировано практическое предложение кн. Львова: «возобновить усилия, направленные к расширению состава правительства».

Я решительно протестовал и против опубликования обвинительно-извинительного акта и против введения социалистов в состав министерства. Я доказывал, что, признавая свои провалы, правительство дискредитирует само себя, а введение социалистов ослабит авторитет власти. Но то и другое было совершенно бесполезно.

В духе кн. Львова само воззвание, с одной стороны, признавало, что правительство опирается не «на насилие и принуждение, а на добровольное повиновение свободных граждан», а с другой стороны, выводило «неодолимость» трудностей своей задачи именно из того, что оно отказалось «от старых насильственных приемов управления и от внешних искусственных средств поднятия престижа власти».

Это было очень идеально, но чересчур уже по-толстовски. Воззвание признавало, что «по мере перехода к менее сознательным и менее организованным слоям населения» развиваются в стране «на-сильственные акты и частные стремления», грозящие «привести страну к распаду внутри и к поражению на фронте». Но оно не указывало никаких мер для предупреждения этого, кроме того, что путь «междоусобной войны и анархии, несущей гибель свободе» — «хорошо известный истории путь от свободы к возврату деспотизма — не должен быть путем русского народа»...

В заседании 21 апреля я узнал, что моя личная судьба уже окончательно решена.

В. Чернов, опасный соперник Керенского по партии и роковой кандидат на пост министра земледелия, заявил, «со свойственными ему пошлыми ужимками, сладенькой улыбкой и **{368}** кривляньями» (выражения Набокова), что «и он, и его друзья безгранично уважают П. Н. Милюкова,

считают его участие во Временном правительстве необходимым, но что, по их мнению, он бы лучше мог развернуть свои таланты на любом другом посту, хотя бы в качестве министра народного просвещения».

26 апреля воззвание правительства к «живым силам» было опубликовано, и кн. Львов официально уведомил о нем председателей Совета и Государственной Думы (Чхеидзе и Родзянко). Керенский, с своей стороны, форсировал положение, напечатав заявление в ЦК партии с.-р., в Совет и во временный комитет Государственной Думы о своей отставке. Он при этом продиктовал правительству и новый способ составления кабинета. В первом «цензовом» кабинете он, по его словам, «на свой личный страх и риск должен был принять представительство демократии» (это было, как мы знаем, неверно); теперь «силы организованной трудовой демократии возросли», и ей, «быть может, нельзя более устраняться от ответственного участия в управлении государством», а потому отныне ее представители «могут брать на себя бремя власти лишь по непосредственному избранию и формальному уполномочию тех организаций, к которым они принадлежат».

Итак, правительство должно было состоять теперь из представителей партий и перед ними нести ответственность. Это, конечно, существенно меняло самый источник авторитета власти, обрекая ее впредь на подчинение борьбе воюющих между собою партийных течений. Для «революционной демократии» эта новая форма ответственности была неудобна уже потому, что из положения критикующих правительство они превращались в критикуемых, а разделяя власть с «буржуазным» правительством, попадали под удары своих более левых противников. И исполнительный комитет Совета 29 апреля, после долгих споров, отказался большинством 23 против 22 послать в правительство своих представителей.

В этот самый день кн. Львов пришел ко мне в министерство. Я уже знал, что речь пойдет о моем уходе.

{369} Но он начал беседу с фразы: «запутались; помогите!» Это показалось мне таким проявлением лицемерия, что я вышел из себя, — что со мной редко бывает. В гневе я ему ответил, что он знает, на что он идет, и бесполезно искать помощи, когда дело идет о вопросе решенном. Перед ним — выбор, который уже сделан. С одной стороны, это — возможность проводить твердую власть правительства. Но, в таком случае, надо расстаться с Керенским, пользуясь его отставкой, и быть готовым на сопротивление активным шагам Совета на захват власти. С другой стороны, это — согласие на коалицию, подчинение ее программе и, в результате, дальнейшее ослабление власти и распад государства. Я предупредил, во всяком случае, кн. Львова, что на перемену портфеля я не пойду и предоставляю решить мой личный вопрос в мое отсутствие. Мы условились с Шингаревым выехать в тот же день в ставку. Уезжая, я просил А. И. Гучкова, который тоже готовился выйти в отставку, отложить свой вопрос до решения принципиального вопроса о коалиции — и уйти одновременно со мной.

Однако, и тут Гучков повел свою линию. Едва мы успели приехать в ставку, как ген. Алексеев показал нам телеграмму А. И. о его отставке с известной его мотивировкой: «В виду условий, которые изменить он не в силах и которые грозят роковыми последствиями армии, и флоту, и свободе, и самому бытию России». Такое признание со столь высокого поста показалось нам чрезмерным. Ни ген. Алексеев, ни мы не были так пессимистичны — и не сказали бы, если бы были, в угоду личному самооправданию.

Отставка Гучкова заставила исполнительный комитет Совета пересмотреть свое решение. 1 мая вечером большинством 41 против 18 решено было, что социалисты войдут в коалиционное правительство — на определенной программе. Тут были введены и «аннексии и контрибуции», и спорные пункты по социальной и аграрной политике; но параграф об армии гласил об «укреплении боевой силы фронта», — очевидно, в виду обязательства Керенского перед союзниками одухотворить армию революционным энтузиазмом. Мы спешно **{370}** вернулись из ставки, и с утра 2 мая началось, при нашем участии, обсуждение декларации Совета. Кроме наших возражений, тут были внесены сходные декларации партии Народной свободы и временного комитета Государственной Думы. Мы все вместе требовали, прежде всего, формального признания нового правительства единственным органом власти. Затем к. д. требовали признания за правительством права применения силы и распоряжения армией.

В социальных, национальных и конституционных вопросах партия к. д. требовала, чтобы правительство не предвосхищало решений Учредительного Собрания. В случае неудовлетворения ее требований партия сохраняла за собой, по принципу, введенному Керенским, право отозвать своих членов из правительства. Все это было опубликовано, более подробно, в заявлении партии 6 мая, —

одновременно с декларацией правительства, которая делала по отношению к нам кое-какие, но совершенно неудовлетворительные, уступки. «Коалиция», таким образом, с самого начала была основана не на полном соглашении, а на гнилом компромиссе, который вводил борьбу Совета с правительством в самую среду нового кабинета.

Я по-прежнему продолжал возражать против самого принципа коалиции — и на этом принципиальном вопросе, а не только на вопросе о дальнейшем ведении внешней политики, обосновал свой уход. Характерная сцена последовала, когда, выходя из самого заседания, я обошел стол, пожимая руки остающимся коллегам.

Кн. Львов, когда я дошел до него, схватил мою руку и, удерживая ее в своей, как-то бессвязно лепетал: «Да как же, да что же? Нет, не уходите; да нет, вы к нам вернетесь». Я холодно бросил ему: «Вы были предупреждены» — и вышел из комнаты. На следующий день, по поручению ЦК партии, Винавер и Набоков приехали ко мне с настоянием — принять портфель министра народного просвещения и пойти на компромисс с кабинетом, — тем более, что предполагается организовать в нем особые совещания по вопросам обороны и внешней политики, куда я могу войти и продолжать оказывать свое влияние. Спор был долгий; я, наконец, оборвал его, **{371}** заявив, что мое поведение диктует мне мой внутренний голос и я не могу поступить иначе. Свое «влияние», если какое-нибудь оставалось, я мог проявлять и извне, в качестве члена партии; оставаясь в составе правительства, я знал, что меня ожидает — особенно при начавшемся возвышении Керенского.

За день до моей отставки (и не зная о ней) уезжал из России Палеолог. Я решил, в первый и последний раз за мое пребывание в министерстве, дать ему прощальный обед по всей форме. До того времени раз только мои сочлены к. д. захотели меня приветствовать в помещении министерства. Но было условлено, что наши кадетские жены принесут с собой свое угощение, и прислуга была очень удивлена, наблюдая это домашнее торжество. На этот раз мне принесли на выбор два меню, и я с видом знатока выбрал одно из них. Прислуга была в башмаках, чулках и кафтанах, как полагалось по старой традиции. Произносились торжественные речи... Тома был тоже приглашен — и сказал мне свое à part (В сторону, отдельно.): "Ah, ces cochons les tovaristch!" (А, эти свиньи-товарищи.) Палеолог хвалил меня — тоже à part: я был для него министром, «как следует». Но общее настроение было похоронное...

4. ОТ ЕДИНСТВА ВЛАСТИ К КОАЛИЦИИ

Итак, мое намерение — сохранить за Временным правительством первого состава ту целость, с которой оно появилось на свете, не удалось. Я придавал этой сохранности большое принципиальное значение. Сторонники введения в него социалистов исходили из двоякого источника: слабости премьера кн. Львова и возвеличения Керенского. Кн. Львов искал в привлечении социалистов средство подкрепить правительство «живыми силами». Керенский осуществлял свой сговор с союзниками относительно ведения войны. Эта разница целей повела, как увидим, и к разнице взглядов на их осуществление. Практические соображения оказались сильнее **{372}** принципиальных, и мой вопрос о сохранении единства был решен отрицательно — даже раньше, чем мне удалось его поставить формально. Тщетно я ссылался на преимущества нашего избрания, на нашу связь через Думу с массами и через интеллигенцию с русской общественностью. Тщетно я напоминал о данном нами под присягой обещании довести Россию до выборов в Учредительное Собрание, доказывал несвоевременность отчета (перед кем?) о нашей слабости — там, где есть полное основание говорить о нашей силе. Все эти соображения, практически, как я считал, достаточно важные, были оставлены в стороне.

Для внутреннего употребления или для внешнего — мы хотели быть подкрепленными поддержкой социалистов. Но — каких социалистов? Для внешнего (дипломатических целей) и для внутреннего (внутренней политики) они были разные.

Сближение буржуазных правительств с социалистами не было, конечно, исключительным случаем русской коалиции. «Священное единение» партий во Франции против общего врага служило классическим примером. Но надо вспомнить про разницу времени. Тот сговор происходил в самом начале войны, когда громадное большинство социалистов было «патриотически» настроено.

Три года спустя, когда эти самые «социалисты-патриоты» приехали в Россию убеждать членов Временного правительства, несмотря на нашу революцию, не прекращать войны, они застали у нас иную картину. В «советах» сидели противники продолжения войны, циммервальдцы и даже «дефетисты». На четвертый год войны, измученное ее жертвами население горячо воспринимало пропаганду пораженчества. А социалистическая интеллигенция была ослеплена революционным миражем всеобщего мира, продиктованного всем правительствам пролетариатом всех стран. Классический

социализм старых партий был предметом жестокой критики.

К какому же социализму обращалось Временное правительство? Надо, прежде всего, заметить, что о течениях в социализме — особенно о новейших — наши **{373}** домашние политики были очень мало осведомлены. Затем, самый выбор был ограничен. Автоматически, так сказать, самотеком, вместе с революцией просочилась в Россию самая мутная струя пораженчества — и тотчас сделалась предметом самой разнузданной пропаганды, при содействии германцев. В воспоминаниях Станкевича можно найти правильное наблюдение, что ни одна из классических русских партий не может претендовать на честь инициативы в русской революции. Не русские социалистические партии посылали первых агентов взбунтовать Кронштадт, резать по немецким спискам лучших офицеров флота в Гельсингфорсе, распространять среди солдат «Окопную правду» и т. д. Идеи разложения армии, прекращения войны, извращения целей союзной политики — все это стало достоянием массы помимо интеллигентского социализма — и все это проникло беспрепятственно в первый состав «советов», на фронт и т. д.

Это был тот «социализм», с которым мне приходилось бороться в «контактной комиссии», когда там господствовал Стеклов, и на министерском кресле, когда туда доходили отклики из первоначального состава Совета. В правительстве с ним были недостаточно знакомы. Керенский в это время свободно называл себя «циммервальдцем». Мне приходилось неоднократно возвращаться к выяснению этой темы и наталкиваться на возражения, заимствованные из того же багажа. Я, разумеется, предпочел бы иметь дело с тем традиционным социализмом, который вел против нас принципиальную борьбу, но ставил ее в рамки исторического понимания. Этот социализм устанавливал неизбежную грань . между нашей «буржуазной» и своей «социалистической» революцией. И как раз этот социализм вовсе не обнаруживал желания входить с нами в органическое соединение.

Первое предостережение по этому поводу мы получили от того самого лица, которое затем и содействовало осуществлению нашего объединения: И. Г. Церетели. Вернувшись из сибирской ссылки с репутацией человека высокой морали и с большим личным влиянием на **{374}** окружающих, Церетели прежде всего проявил себя, как хороший организатор. Ему удалось (после 20 марта) привести в порядок царивший в Совете хаос, поставить во главе его «исполнительный комитет» и прекратить самочинные действия членов Совета.

Приглашенный в заседании с контактной комиссией вступить в состав Временного правительства, Церетели сперва с недоумением ответил: «Какая вам от того польза? Ведь мы из каждого спорного вопроса будем делать ультиматум и в случае вашей неуступчивости вынуждены будем с шумом выйти из министерства. Это — гораздо хуже, чем вовсе в него не входить». Другие лидеры высказывались не в форме деликатного отклонения, а в форме категорического отказа. Суханов, с. - д., повторял: «мы сейчас совершаем не социальную, а буржуазную революцию, а потому во главе ее должны стоять и делать буржуазное дело ее люди из буржуазии»; иначе, «это было бы гибелью доверия демократии и социалистических партий к своим вождям».

Гендельман, с. - р., высказывался в том же смысле: «нельзя давать авторитета мерам, которые носят буржуазный характер; нельзя брать, на себя власть, ни целиком, ни частично». С обратной стороны: «нельзя и нам давать им власть» — была моя формула, ограждавшая прочность «буржуазного» Временного правительства. Но какая идеология могла выстоять перед соглашением Альбер Тома — Керенский? Соглашение было готово; надо было найти согласителя.

Таким и явился Церетели — и связал имя Керенского с своим до самого конца существования коалиционного Временного правительства. Из правоверного марксиста и прирожденного миротворца вышел замечательный специалист по междупартийной технике, неистощимый изобретатель словесных формул, выводивших его героя и его партию из самых невозможных положений. Лидеры главных социалистических партий не пошли в состав образовавшейся буржуазно-социалистической власти. Но Керенский был уже внутри нее — и на этот раз с невымученным мандатом партии. Церетели принес себя в жертву, согласившись принять в министерстве второстепенный пост министра почт и **{375}** телеграфов.

М. И. Скобелев, нехитростная душа и верный исполнитель партийных поручений, был также откомандирован партией. А. В. Пешехонов, интеллигент, мой старый друг, человек с талантом, знаниями и темпераментом, давно успокоился на правом фланге социализма и мог только украшать место своим сотрудничеством.

Пятый, В. М. Чернов, навязывался по необходимости: он был шефом — там, где сам Керенский был только новичком; и его нельзя было оставить за кулисами. Так собралось «пятеро министров-социалистов»: довольно пестрый состав социалистической группы. Вначале они могли казаться как бы только придатком к основному, центральному созвездию, для которого собственно и клеилась

коалиция. Центральное ядро, получившее название «триумвирата», действительно, держало в руках все руководство деятельностью «коалиции». Оба министра, военный и иностранный, входили по соглашению с союзниками; в качестве третьего к ним присоединился — наш к. д. Некрасов, человек ловкий и гибкий, сумевший вовремя сблизиться и занять все возможные места при «любимце времени», — личного советчика, секретаря, информатора, посредника в сношениях с печатью, сочинителя проектов, заместителя, — словом, быть всем и ничем, стать человеком необходимым. Ни слабый премьер, ни даже А. И. Коновалов, личный друг Керенского, в этот теснейший круг не входили.

Примыкал к ним, конечно, круг министров-несоциалистов, по их ведомствам: он сохранился без изменений от первого состава Временного правительства — и временно помогал сохранить этому учреждению прежний характер. Оставалось лишь определить взаимные отношения с социалистической группой.

Исходя из мысли, что коалиционное Временное правительство сохраняет всю свою независимость и самостоятельность, Центральный комитет к. д. предложил, в заявлении 6 мая, свою программу деятельности правительства. Здесь были указаны все меры предупреждения нарушения социалистами нормальных прав государственной власти и очерчены пределы полномочий, предоставляемых Временному правительству первой **{376}** коалиции в целом. Я перечислю эти пять пунктов, на которых основывались и дальнейшие заявления партии к. - д.

Пункт первый требовал продолжения моей политики «соблюдения обязательств и ограждения прав, достоинства и жизненных интересов России в тесном единении с союзниками». Пункт второй запрещал каким бы то ни было организациям вторжение в сферу законодательства и управления Временного правительства. Третий и четвертый пункты подтверждали право государственной власти применять меры принуждения к нарушителям права и порядка, а также поддерживать дисциплину и боевую мощь армии. Наконец, пятый пункт запрещал Временному правительству предвосхищать решения Учредительного Собрания по основным государственным вопросам — конституционного, социального и национального строя России.

Допускались, впредь до созыва Учредительного Собрания, лишь «неотложные мероприятия» в области экономической и финансовой политики, подготовки аграрной реформы, местного самоуправления, суда и т. п. Этим безусловно исключались социалистические попытки «углубления революции» во всех этих направлениях до созыва Учредительного Собрания.

С своей стороны, социалисты внесли свою, более обширную программу — в направлении, как раз обратном нашему. Они, конечно, интересовались последними, запретными вопросами, а не принципами государственного права. В прениях, при начале которых я еще присутствовал, они сделали нашей программе очень мало уступок и ограничились простым перечислением общих тем. Там, где нельзя было на этом остановиться, вносились эластические формулы, каждая из которых, при дальнейшем развертывании, влекла за собой неизбежный конфликт. До поры, до времени эти конфликты могли оставаться закрытыми. Циммервальдская формула демократизации войны и мира была выставлена полностью. Вместо противодействия дезорганизации армии (наше указание на опасность «слева»), Временное правительство обязывалось принять «энергичные меры» против «контрреволюции» (указание левых на военную **{377}** опасность «справа»).

Сохранена была в левом тексте и «подготовка перехода земли», и «переложение финансовых тягот на имущие классы», и «организация производства в необходимых случаях»; но эти левые формулы у нас возражений не встречали. Что касается главного — признания «полноты власти» за новым правительством и «полноты доверия» ему со стороны «всего революционного народа», то и другое перелагалось на «ответственность министров-социалистов» — перед петербургским Советом, «впредь до создания всероссийского органа советов», т. е. высшей социалистической инстанции. Приняв эту предосторожность, и Совет признал, что полученная в результате переговоров декларация «соответствует воле населения, задачам закрепления завоеваний революции и дальнейшего ее развития».

Но какой части выговоренных условий соответствовало это широкое признание: ограничивающим или (условно) расширяющим полномочия социалистов? Вопрос оставался пока без ответа. Кое-как сколоченный таким образом политический омнибус не обещал благополучного путешествия. Крушения в пути должны были быть часты — и участиться вплоть до развала всей машины. Но социалистическая часть коалиции тут еще не участвовала. Она в течение целого месяца оставалась неутвержденной съездом советов и, по-видимому, специальной деятельности не проявляла. Заработали в мае — и притом с азартом — лишь те два ведомства, для которых и создана была коалиция: дипломатическое и военное. Терещенко поспешил уже 3 мая разослать ноту, осведомлявшую

союзников о новом курсе русской политики. Увы, он получил неудовлетворительные ответы. Он попробовал было их исправить путем переговоров. Последовали попытки истолкования циммервальдской формулы. Англия и Франция кое-что уступали — словесно. Америка не уступила ни слова из ясной антигерманской позиции Вильсона. «День» раздраженно писал по этому поводу: «с демократической Россией заговорили так, как не осмеливались говорить с царской Россией». Пока речь шла о спорах в пределах взятой мною линии, Терещенко получал лишь **{378}** вежливые отклики. Но когда Совет прямо потребовал пересмотра договоров и немедленного созыва конференции, в конце мая (27-28) неудовлетворительные ответы союзников были напечатаны.

Терещенко отступил, и его политика стала считаться «продолжением политики Милюкова». А Совет со своей стороны продолжал укрепляться на своей циммервальдской позиции.

Но тут можно было сколько угодно разговаривать. В области военных действий разговаривать было нельзя. Ген. Алексеев понимал, что при состоянии разложения армии нельзя наступать. Но Керенский обещал наступление.

И уже 17 мая мы слышим недовольный оклик Н. Суханова: «Новое правительство (коалиции) существует и действует уже десять дней... Что оно сделало в отношении войны и мира?» Ответ не неблагоприятен для Керенского. «Военное министерство, сверху донизу, при содействии всех буржуазных и большей части демократических сил, с необычайной энергией работает над восстановлением дисциплины и боеспособности-армии. Работа эта ... уже дала несомненно результаты». Результат, однако, получается — отрицательный с точки зрения Суханова. «Уже ни у кого не вызывают сомнения ее цели: это — единство союзного фронта и наступление на врага». Это — не положительное достижение, это и есть — криминал! Разумеется, «пока война продолжается,... нельзя опротестовывать функции всей организации войны», уступает Суханов. Но, пишет «Правда», «все более жгучим» становится вопрос, «кому будет принадлежать вся власть в нашей стране»... «Добейтесь перехода всей власти в наши руки», — «только тогда мы сможем предложить не на словах, а на деле, демократический мир». Вот первая цель; вот и первое достижение, рекомендуемое коалиционной группе социалистов — в духе Циммервальда.

Эти два «вопроса», действительно, исключали друг друга. И если около одного только «десять дней» шла работа в военном министерстве, то по второму Россия была уже не первый год затоплена пропагандой пораженчества. Съезд офицеров армии и флота в ставке **{379}** подвел этой пропаганде ужасающий итог.

Керенский это знал, конечно, когда 29 апреля произносил перед фронтовым съездом свои известные слова: «Неужели русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов!.. Я жалею, что не умер два месяца назад. Я бы умер с великой мечтой, что... мы умеем без хлыста и палки... управлять своим государством».

Теперь эта истерика обернулась... энтузиазмом: единственное средство, остававшееся в распоряжении военного министра «революционной демократии». На самых высоких нотах своего регистра он кричал толпам солдат с свободной трибуны, что вот он, никогда не учившийся военному делу, пошел командовать ими; что, ведя их «на почетную смерть на глазах всего мира», он «пойдет с ружьем в руках впереди» их (со ссылкой на «товарищей с.-р.'ов»).

Истошным голосом он выкрикивал слова: свобода, свет, правда, революция — и очень много напоминал им о долге, о дисциплине, — о том, что они... «свободные люди». Солдаты кричали в ответ: «пойдем», «докажем», «не выдадим». Что происходило за линией, до которой долетали отдельные восклицания министра, оставалось, конечно, неизвестно. Было бы, однако, несправедливо не отметить, что между ближайшим окружением Керенского и толпой любопытствующих создалась прослойка энтузиастов, действительно увлекшихся идеей наступления, как из офицерских, так и из левоинтеллигентских кругов — и вообще из молодежи. Из этих кругов вышли «комиссары» и «председатели комитетов» Керенского. В этой же связи сложились некоторые организации офицерских союзов, сочувствовавших новому строю.

Как мы видим, оба главные вопроса, занимавшие центральную часть коалиции, уже возбудили резкое сопротивление со стороны советов, и оба конфликта остались в течение мая неразрешенными. Первый из них — дипломатический — можно было просто отложить, как и сделал Терещенко. Второй требовал дальнейшей подготовки и, после майской фанфаронады Керенского, на месяц сошел со сцены. Но глубина разногласий по этому (военному) вопросу уже проявилась во всей силе **{380}** и грозила поставить Россию не перед простым конфликтом, а перед катастрофой.

В сущности, не менее катастрофическое положение уже не грозило, а было налицо в области народного хозяйства. Здесь обострился до крайних пределов конфликт между трудом и капиталом. В

момент, когда народное хозяйство уже находилось в состоянии крайнего расстройства, когда промышленность могла продолжать призрачное существование, расходуя капитал или живя за счет казенных субсидий, когда все меры охраны труда были уже введены в действие и рабочий контроль начинал принимать насильственные формы, когда «капиталист», как таковой, подозревался в обладании «высокими прибылями» и подлежал громадному обложению, если не прямой конфискации, — министр торговли и промышленности А. И. Коновалов, либеральнейший русский мануфактурист и радикал, был поставлен перед угрозой остановки всей русской промышленности вследствие непрерывно возраставших требований «пролетариата».

Он предпочел уйти 18 мая в отставку, не найдя себе заместителя. Тщетно его убеждали остаться... Это был первый ответ «буржуазных» членов коалиции на неосуществимую часть ее программы.

Как бы для того, чтобы подчеркнуть произвольное и демагогическое начало, водворившееся в хозяйственном управлении государством, Некрасов — третий из «триумвирата» — выпустил 27 мая знаменитый циркуляр, прозванный «приказом № 1 путейского ведомства», которым железнодорожный союз служащих получал контроль и наблюдение над всеми отраслями железнодорожного хозяйства, с правом отвода на два месяца любого начальствующего лица. Ему объяснили, что это не значит: «твердая власть»...

Из полосы майского сравнительного затишья мы теперь переходим в переменную погоду начала и середины июня и в бури конца июня и начала июля. Основным ферментом к накоплению электричества послужили уже тут крайние левые настроения столицы, а средой их распространения — явились рабочие и **{381}** солдатские организации. Непосредственным объектом нападения оказалась при этом буржуазная часть Временного правительства. Но предметом, за который велась борьба, — была организация социалистической части коалиции.

Центральным органом, через который борьба проводилась, стал отныне «всероссийский съезд советов», впервые собранный в полномочном составе и уполномоченный, как мы знаем, не то оформить, внутри коалиции, существование ее социалистической части, не то прямо создать отдельное социалистическое правительство.

5. СЪЕЗД СОВЕТОВ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Первый всероссийский съезд советов заседал в Петрограде, в Таврическом дворце, в течение почти всего июня (3-27). Естественно, он и сделался центром всех политических событий столицы. Он представлял 358 советов, армию, флот и тыловые учреждения, несколько крестьянских организаций и отдельных социалистических групп. Преобладающее большинство на съезде принадлежало двум главным социалистическим партиям России: 285 социалистов-революционеров и 248 социал-демократов меньшевиков — партия с доминирующей идеологией. С. - д. большевиков было всего 105, но они были зажигательным элементом съезда. Около сотни членов представляли отдельные социалистические кружки — более умеренных воззрений и один член гордился провоцирующей кличкой «анархиста-коммуниста». Многие члены съезда приехали из провинции, и общее настроение съезда вначале было довольно умеренное. Люди приехали «работать»: их стесняли раскаленные струи, врывавшиеся с улицы. Уже 6 июня обе главные партии большинством 543 против 126, при 52 воздержавшихся, одобрили решение исполнительного комитета принять участие во власти в коалиции с буржуазией. А 8 июня резолюция съезда признала ответственными перед советами одних «министров-социалистов», на том **{382}** основании, что «переход всей власти к советам в переживаемый период русской революции значительно ослабил бы ее силу, преждевременно оттолкнув от нее элементы, еще способные ей служить». Это была строго марксистская позиция Церетели. Но эта линия, очевидно условленная между коалиционистами, немедленно вызвала резкую реакцию против нового состава Временного правительства со стороны более левых течений. Большевики внесли проект резолюции, по которой «социалистические министры прикрывают, посредством ни к чему не обязывающих обещаний, ту же самую империалистическую и буржуазную политику» и тормозят развертывание революционных конфликтов. Меньшевики-интернационалисты заявляли в своем проекте резолюции, что новый состав Временного правительства не является «действительным органом революции». Обе резолюции были отвергнуты съездом, но уже в своей объединенной резолюции главные партии вставили требования, чтобы правительство действовало «решительнее и последовательнее», и приняли «демократическую» формулу мира».

Но в итоге получались слишком явные противоречия. Предлагалось, например, «проводить даль-

нейшую демократизацию армии — и укреплять ее боеспособность», или согласовать «требования организованных трудящихся масс» «с жизненными интересами подорванного войной народного хозяйства», — противоречие, от которого ушел Коновалов. Словом, при обострившемся отношении к коалиции, компромиссы, очевидно, более не удавались. И съезд решил заменить частичные противоречия — одним общим. Он тут же постановил, — продолжая поддерживать Временное правительство, — создать в то же время «для более успешного и решительного проведения в жизнь указанной платформы, для полного объединения сил демократии и выявления ее воли во всех областях государственной жизни», «единый полномочный представительный орган всей организованной демократии России» из представителей съездов р. и к. депутатов.

Перед этим органом министры-социалисты должны были быть ответственны за «всю внешнюю и внутреннюю политику Временного **{383}** правительства», и энергичная поддержка этого правительства мыслилась через Совет, около которого (а не около правительства) должна была «еще теснее сплотиться вся революционная демократия России». «Указанная» платформа была, — вероятно, та, которая условлена с Временным правительством; но если даже тут разумеется первоначальный текст требований социалистов, то разница не велика, особенно после подчеркиваний, что речь идет о «дальнейших», «решительных» шагах, т. е. о развертывании смягченных требований и о раскрытии конфликтных положений 8 июня. Как бы то ни было, здесь, очевидно, создавался вполне независимый социалистический отдел коалиции, — самостоятельное социалистическое правительство.

Но к такому органу уже не подходил подобранный Церетели состав. Честный Церетели подобрал для коалиции умеренных социалистов, а в Петрограде уже говорила улица. В своих отчетах и докладах перед столичной аудиторией «министры-социалисты» заговорили на съезде... «по-кадетски»! Члены съезда должны были выслушать и одобрить ряд разумных речей.

Церетели с Черновым доказывали тут милюковские тезисы, что нельзя собирать теперь же международную конференцию для пересмотра целей войны, ибо западная демократия не подготовлена, а союзные правительства нельзя принудить «ультиматумами» стать на точку зрения Циммервальда и Кинталя. По поводу войны Церетели заговорил, что необходимо сохранять боеспособность армии и что в какой-то момент, составляющий военную тайну, может понадобиться даже перейти в наступление! Керенский обличал германские влияния в попытках устраивать братания солдат на фронте. Скобелев и Чернов указывали на невозможность для государства взять на себя организацию производства. Чернов доказывал нелепость решения национальных вопросов путем возбуждения сепаратизмов и утверждал, что создавать классовую власть — значит расчищать путь генералу на белой лошади. Скобелев утверждал, что революционный способ принудительного займа неосуществим, так как «заем свободы» пополняется из избытков **{384}** дохода имущих классов.

Пешехонов утверждал, что увеличение заработной платы не достигает цели, так как вместе с тем растут и цены продуктов; для поднятия производительности есть один путь — усиленный труд, а отобрание доходов у капиталистов есть разрушение самого капитала.

«Кадетствующий съезд»!? Большевики немедленно разнесли слух об этом по рабочим предместьям. На Выборгской стороне, за Нарвской заставой, на Путиловском заводе, заговорили, что Церетели подкуплен Терещенкой, что он получил от него десять миллионов. А Керенский? Керенский собрал под Петроградом 40.000 казаков. И сам съезд как бы поддакивал. «Мы знаем, что контрреволюционеры жадно ждут минуты, когда междоусобица в рядах революционной демократии даст им возможность раздавить революцию». И Керенский должен был самолично явиться на съезд, чтобы опровергнуть слухи.

Не прошло недели со дня открытия съезда, как стало известно, что на съезд готовится вооруженное нападение улицы. 9 июня все социалистические газеты вышли с тревожными статьями, осуждавшими «анархию», расшатывающую завоевания революции. Вечером председательствовавший на съезде Чхеидзе сообщил членам, что на завтра готовятся большие демонстрации: «если съездом не будут приняты соответствующие меры, то завтрашний день будет роковым». Съезд без прений принял воззвание к рабочим и солдатам, сообщая им, что «без ведома всероссийского съезда, без ведома крестьянских депутатов и всех социалистических организаций партия большевиков звала их на улицу» «для предъявления требования низвержения Временного правительства, поддержку которого съезд только что признал необходимой». Мотивировка показывала, что съезд не вполне понимал, что готовилось. Удар направлялся против него самого — и не со стороны мнимых, для того времени, «контрреволюционеров», как полагалось по революционной терминологии. Во всяком случае, запрещение съезда состоялось: «ни одной роты, ни одного полка, ни одной группы рабочих не должно **{385}** быть на улице». На три дня, 11-13 июня, всякие собрания и шествия запрещались, и нарушители

объявлялись «врагами революции».

Приняв решение, члены съезда разъехались по рабочим кварталам, чтобы узнать, в чем дело. На раннее утро 10 июня назначено было в Таврическом дворце экстренное заседание, куда члены съезда привезли результаты своего объезда. Они нащупали два организационных центра предполагавшейся демонстрации: пресловутую дачу Дурново и казармы Измайловского полка.

Дача Дурново служила притоном темных людей, имевших основание бояться суда и полиции и прикрывшихся партийной кличкой «анархистов-коммунистов». Там заседали 123 делегата фабрик и заводов, обсуждавших выступление против Временного правительства и съезда. В казармах Измайловского полка митинговали до 2.000 солдат на ту же двойную тему. Но солдатская секция съезда уже успела отвергнуть это предложение. Большевики, конечно, были и тут, и там, но только с пропагандистскими целями.

О выступлении для себя они еще не могли думать. И настроение было не большевистское, а анархистское, направленное против съезда. Депутатов съезда не хотели пускать в помещения и разговаривать с ними. Их осыпали презрительной бранью. «Съезд есть сборище людей, подкупленных помещиками и буржуазией». «Съезд продался буржуазии, держит равнение на министров, а министры — на кн. Львова, а кн. Львов — на сэра Джорджа Бьюкенена». «А скоро ли вы, господа империалисты, с вашим кадетствующим съездом, перестанете воевать?» В воинских частях настроения были не лучше. Прапорщик Семашко, намеченный солдатами-большевиками в командиры полка, заявил делегатам, что солдаты не знают съезда, а знают ЦК партии с. - д. (большевиков). «Министры-социалисты стали такими же буржуями и идут против народа». «Если даже большевики отменят демонстрацию, то, все равно, через несколько дней мы выйдем на улицу и разгромим буржуазию». В одном полку делегатов даже хотели арестовать и заявляли, что всех их надо перевешать. В другом полку им **{386}** грозили кулачной расправой. Еще в одном полку солдаты заявляли, что идут «резать буржуазию». А рабочие говорили, что теперь следует произносить с.-р.-овский лозунг не «в борьбе обретешь ты право свое», а «в грабеже обретешь ты право свое». Так формулировались лозунги подонков революции, пытавшихся организовать уличное выступление 10 июня. Утром же большевистская «Правда» формально его отменила.

Демонстрация 10 июня была сорвана без уличных столкновений, — но какой ценой потери авторитета высшего социалистического органа и стоявшей за ним группы! Демонстрантов не приходилось трактовать, как бунтовщиков. Войска не пошли на этот раз с ними, но они насчитывали 17 военных единиц в столице, которые им сочувствовали. Церетели принялся отрезывать хвосты. Ничего не стоило объявить законченным существование Государственной Думы и Государственного Совета, вызывавшее раздражение левых. Он убедил затем правительство согласиться на обещание созвать Учредительное Собрание к 30 сентября, хотя совещание по созыву Учредительного Собрания только что сообщило, что раньше ноября не начнут функционировать новые органы местного самоуправления, которые обеспечат правильность и свободу выборов. Но этого было мало.

На следующий день решено было взять в руки начавшееся движение, объявив, вместо отмененной, «мирную манифестацию революционной России» на 18 июня, — но уже по программе съезда: объединение всего рабочего населения, демократии и армии вокруг советов, борьба за всеобщий мир без аннексий и контрибуций на основах самоопределения народов и скорейший созыв Учредительного Собрания. Комитеты полков петербургского гарнизона подтвердили перед тем исключительное право Совета «выводить на улицу целые воинские части», хотя тут же каждому солдату было предоставлено участвовать в любой демонстрации, организуемой с ведома Совета. Церетели в один день переменил свою тактику, обратив свои обвинения, вместо большевиков, по обратному адресу «контрреволюционеров». Приглашенные участвовать с «общими всем» **{387}** лозунгами, большевики пришли с своими и затем получили основание издеваться: среди «всех» лозунгов не было налицо одного — не было «поддержки коалиционного правительства». «Правда» писала: «Долой десять министров-капиталистов. Вся власть советам. Это говорим мы (большевики). Это скажет вместе с нами, мы уверены, громадное большинство петроградских рабочих и петроградского гарнизона. Ну, а вы, господа? Что скажете вы по важнейшему из всех вопросов? Вы выдвигаете лозунг: «полное доверие», но... но только советам, а не Временному правительству... Этого лозунга не найти... Почему?.. В широчайших кругах петербургских рабочих и солдат коалиционное правительство за месяц-полтора скомпрометировало себя безнадежно... Идти теперь... с лозунгом «доверие Временному правительству» — значит вызвать недоверие к себе самим».

Эта фраза напоминает нам расстояние, пройденное в месячный срок от образования первой коалиции к ее первому политическому испытанию. За это время 1) Временное правительство нового

состава было дискредитировано левой пропагандой; 2) Создано особое «социалистическое правительство», ответственное перед съездом советов;
3) Социалистическая группа коалиции дискредитировала себя «кадетизмом»; 4) Народные массы столицы вооружились и демонстрировали против Временного правительства и самого съезда советов; 5) Церетели пошел на уступки требованиям, выставленным от имени «революционной демократии». Эти уступки сами по себе показали, что ни у правительства, ни у съезда нет средств противиться требованиям улицы.

Бессилие власти было настолько очевидно, что понятен был соблазн — покуситься теперь на нечто большее, нежели отложенная демонстрация 10 июня. И две недели спустя после «общего» выступления 18 июня мы встречаемся с событием, которому, при желании, можно было дать название первого опыта большевистской революции. Большевистский штаб отрицает это значение выступления, — и он, я думаю, прав. Но был **{388}** момент, когда второстепенные лидеры и подталкивавшая их толпа в это хотели верить. Зиновьев объяснял эту вспышку так в годовщину восстания: «В течение двух недель, начиная с демонстрации 18 июня, наша партия, влияние которой росло не по дням, а по часам, делала все возможное, чтобы сдержать преждевременное выступление петроградских рабочих. Мы, бывало, шутили, что превратились в пожарных. Мы чувствовали, что петроградский авангард еще недостаточно сросся со всей армией рабочих, что он забежал слишком вперед, что он слишком нетерпелив, что основные колонны не подоспели, особенно солдатские и крестьянские».

Это — так; но, с другой стороны, 3 июля вечером Ленин уже занял свой знаменитый балкон в доме Кшесинской и приветствовал солдат, давая им указания. Здесь помещалась вся военная разведка ЦК партии большевиков; сюда направлялись и отсюда рассылались приходившие военные части. Словом, военный штаб восстания был налицо. Здесь, следовательно, должна была указываться и цель восстания. Но тут происходила какая-то неувязка. Очередной лозунг большевиков был: вся власть советам. Но политический состав и настроение советов под руководством Церетели в данный момент — Ленину совсем не подходили. С другой стороны, и Церетели вовсе не хотел получать «всю» власть для советов, боясь ограничения их влияния. Наконец, какое отношение имел этот лозунг к объявленной Лениным «социалистической республике», как ближайшему этапу? Отменять его было нельзя, но пропагандировать дальше — бесполезно. Лозунг сохранился — и стал официальным лозунгом восстания.

От дома Кшесинской и из других мест военные отряды и народные толпы днем и ночью в течение этих трех дней 3-5 июля шли к Таврическому дворцу, где заседал Совет — и держали его в непрерывной осаде. Здесь и разыгрывались эпизоды бескровной борьбы, хотя по временам грозил форменный разгром. Церетели храбро выдерживал линию: заседания продолжались, делегации принимались, предложения выслушивались и обсуждались, доклады делались, решения **{389}** принимались. Иногда толпа требовала выхода министров наружу. Церетели хотели арестовать, но не нашли.
Чернова застигли на крыльце, и какой-то рослый рабочий исступленно кричал ему, поднося кулак к лицу: «Принимай, сукин сын, власть, коли дают». Кронштадтские матросы потащили его в автомобиль — в заложники, что советы возьмут «всю власть», и выручил его только Троцкий. Когда положение стало очень серьезно, изобретательный ум Церетели придумал и проголосовал отвод. Он согласен на власть советов, но исполнительные комитеты, собравшиеся здесь (после роспуска съезда 27 июня), не имеют права этого сделать: для этого нужен «правомочный орган» советов, т. е. новый съезд, который и соберется через две недели в Москве, где спокойнее работать.

Когда таким образом решала свою судьбу социалистическая часть коалиции, где же был «триумвират», считавшийся до сих пор главным центром всей коалиции? Он проявил свою фактическую независимость, просто уйдя из игры. Кн. Львов, правда, добросовестно остался и перенес свою деятельность в военный штаб, когда на улицах послышались выстрелы. Он сочинял «воззвание».

Но Керенский, показавшись на минуту в штабе, уехал на западный фронт, — как раз вовремя, чтобы избегнуть ловушки, которая готовилась ему на вокзале. Двое других приехали в штаб, но когда увидели, что его защищают только несколько инвалидов и казаков, исчезли. Некрасов, чтобы не было сомнений, прислал на другой день приказ, которым правительство удовлетворяло его прошение об отставке. Когда, вечером 5 июля, пришли на помощь «верные» части войск, вызванные ген. Полковниковым, и восстание прекратилось само собою, об отставках не было больше речи. Все вернулись, и Керенский вечером 6 июля показался публике из окна штаба, гордо заявив толпе, что русская революционная демократия и он, уполномоченный ею военный министр, поставленный во главе

армии, не позволят никаких посягательств на русскую революцию. Вернувшиеся подняли шум против министра юстиции Переверзева, разрешившего в эти дни огласить **{399}** документы разведки, которыми доказывался подкуп большевиков немцами при посредстве шведских банков. Переверзев был дезавуирован и отставлен, хотя опубликованные документы много содействовали дискредитированию восставших большевиков.

Поведение Керенского с друзьями в дни большевистского восстания провело более глубокую грань, чем прежде, между «триумвиратом» и Советом. Но в дни, предшествовавшие восстанию, тот же триумвират почти провокационным способом отрезал несоциалистических членов Временного правительства, оставшихся в нем от первого его состава: кроме кн. Львова и после ухода Коновалова, оставалось четверо буржуазных министров (к. д. Шингарев, кн. Д. И. Шаховской, Мануйлов и тов. министра В. А. Степанов). Они занимались своим делом и никаких конфликтов не искали. Но конфликтное положение создалось для них, как для к. д., по национальному вопросу.

Съезд советов должен был руководиться директивой Ленина: «право наций на самоопределение вплоть до отделения». Но в своих последних решениях перед закрытием съезд проявил сознание необходимости сохранить единство революционной России — и соответственно смягчил свои резолюции серьезными оговорками. Это не помешало, конечно, некоторым народностям — в первом ряду Финляндии и Украине — стремиться воспользоваться русской смутой для полного отделения от России. Финляндские юристы к этому шли осторожнее и тоньше.

Фанатики украинского движения, во главе с проф. Грушевским, избрали путь фактического захвата главных позиций. Этим путем, пользуясь незнакомством русских властей с вопросом, украинские политики уже добились значительных достижений, наделяя свои местные учреждения государственными правами. У них уже имелось свое представительство («Рада»), свое министерство («секретариат»), даже своя первая конституция («универсал»). Им нужно было превратить фактическое обладание в право. С русскими знатоками положения (они имелись в составе нашего ЦК) достигнуть этого было трудно, и этим **{391}** деликатным вопросом занялся триумвират. В полном составе, с присодинением Церетели, они 28-29 июня приехали в Киев и в несколько дней составили соглашение, имевшее вид двухстороннего государственного акта. Опасаясь нашей критики, киевляне поставили условие, что выработанный текст будет принят без изменений.

Но документ предавал интересы России и, кроме того, оказался юридически безграмотен. Мы потребовали пересмотра и поставили вопрос о дальнейшем пребывании наших членов в составе коалиции. В доказательство, что мы не возражаем против принципа самоуправления Украины, министры к. д. внесли в заседание 2 июля наш проект автономии Украины. Голосами кн. Львова и В. Львова к. д. были оставлены в меньшинстве — и вышли из правительства. Первая коалиция перестала существовать. От нее оставался только фрагмент: триумвират с председателем кн. Львовым и с «пятью министрами-социалистами», составлявшими в то же время отдельное независимое целое.

Однако, у этих столь несродных по задачам и составу, но объединенных в лидерстве групп оставалась одна общая задача: ликвидировать последствия большевистского восстания. Здесь впервые из общей массы революционеров была выделена группа, которая подходила под понятие государственных преступников. Министр Переверзев успел до своей отставки арестовать большевиков-посредников по сношениям с шведскими банками (Козловский и Суменсон), начать следствие о Ленине и его сообщниках, очистить особняк Кшесинской, дачу Дурново и Петропавловскую крепость; было постановлено арестовать и привлечь к судебному следствию — всех, участвовавших в организации и руководстве вооруженными выступлениями, как виновных в измене родине, в предательстве революции.

Произведены были, действительно, аресты Троцкого, Каменева, Луначарского; Ленин и Зиновьев избегли ареста только потому, что успели скрыться. Были приняты меры против зачинщиков движения кронштадтских матросов и подозрительных лиц из команд Балтийского флота, запрещен ввоз в армию «Правды», «Окопной правды» **{392}** и «Солдатской правды». Это были действия военного министра, уполномоченного революционной демократией, т. е. производились от имени обеих упомянутых групп коалиции. Но это продолжалось недолго. После ликвидации большевистских вождей страх должен был повернуться в сторону правительственной репрессии — «контрреволюции». «Пять социалистов», оставшиеся в составе социалистической группы правительства, признавали «неизбежность» репрессивных мер, но уже боялись, что они «создадут почву для контрреволюции», и требовали от Церетели, чтобы «охрана революционного порядка» велась в сотрудничестве с «органами революционной демократии». И Керенский, вернувшись в Петроград, дал «революционной демократии» реванш. Он освободил из-под ареста Троцкого и Стеклова, запретил штабу продолжать

аресты большевиков, прекратил их обязательное разоружение, заменив его совершенно недействительным — добровольным.

Но Совет уже шел дальше. Он требовал компенсации — пересмотра коалиционной программы 6 мая, с целью «безотлагательно осуществить предприятия, указанные в решениях съезда советов, направленные к уничтожению всех остатков старого строя, к учреждению демократической республики, к проведению неотложных мероприятий в области земельного и рабочего вопросов, к развитию местного самоуправления для подготовки выборов в Учредительное Собрание, а также регулирование жизни страны, особенно продовольственного вопроса». Церетели пробовал уверять, что это вовсе не новое соглашение, а лишь реализация соглашения, заключенного 6 мая. 6 мая, при создании первой коалиции, темы соглашения, на случай выбора нового коалиционного правительства, действительно, были прежние, но трактовка иная.

Новая декларация, выпущенная 8 июля, расширяла декларацию 6 мая, которая, как мы знаем, была уже неприемлема для участников к. д. И прежде всего она оказалась неприемлемой для премьера кн. Львова, как вообще, так в частности вследствие бесцеремонного обращения В. Чернова с аграрным вопросом, которое «подрывает народное **{393}** Правосознание». Председатель первой коалиции добросовестно дотянул до конца ее существования — и незлобиво ушел в тот момент, когда его место понадобилось для нового возвеличения Керенского, услужливо рекомендовав притом его в свои преемники.

Не очень вежливо было на это отвечено Церетели, который тотчас после ухода Львова уступил на другом неприемлемом для кн. Львова требовании изменения государственного строя (республика до Учредительного Собрания). Оставалось, конечно, неприемлемым обещание провести в «ближайшие дни» ряд широчайших проектов по рабочему законодательству, заставившему уйти Коновалова. Планы организации народного хозяйства и меры по контролю промышленности должны были быть «немедленно» разработаны экономическим советом и главным экономическим комитетом. Много намерений — и мало возможностей после того, что было уже испробовано.

В тот же день временный комитет Думы протестовал против нового способа создания коалиции социалистами. Он защищал свое право участия в выборе, и подчеркивал, что коалиция лишь тогда может привести к «общенародному признанию власти», если она основана на «уравновешении взаимным соглашением составных частей» и не преследует частных партийных целей. «Эти условия прочности не соблюдались», заявил комитет Думы в полном согласии с ушедшими министрами. Действительно, воля Временного правительства находилась теперь в руках социалистической группы «пяти министров», авторов пересмотренной и дополненной декларации 8 июля.

Всего два дня отделяют настроение Совета в дни отступления на фронте от почти полной победы большевиков над Советом. Впечатления от того и другого были достаточно сильны и отчасти смешались. Но мне хотелось бы держать их в сознании читателя раздельными. И я хочу воспользоваться для этого заявлениями лидеров обоих течений. Церетели определил положение так: «это не только кризис власти; это — кризис революции. В ее истории началась новая эра».

На своем боевом языке Ленин вторил: «4 июля еще **{394}** возможен был мирный переход власти к советам... Теперь мирное развитие революции в России уже невозможно, и вопрос историей поставлен так: либо полная победа контрреволюции, либо новая революция».

Относя эти выводы не к тому, что произойдет дальше, а к тому, что уже произошло, я заключаю, что оба лидера пришли к выводу, что борьба с «буржуазией» покончена — и начинается новый акт пьесы: идет борьба между двумя течениями — умеренным и крайним в самом социализме, — борьба, которая после 4 июля не может окончиться миром. Еще точнее Ленин определяет эксперимент большевиков, как конец мирной эволюции социализма в России и начало военных отношений.

Не совсем ясно, что он тут разумеет под победой «контрреволюции», но едва ли и он имеет в виду возвращение к «буржуазному режиму».

ПРИЛОЖЕНИЕ I.

	I. 1907-1908 ноябрь-июнь	II. 1908-1909 октябрь-май	III. 1910 февраль-май	IV. 1910-1911 октябрь-май	V. 1911-1912 октябрь-июнь
1. Вопросы конституции и госуд. права	13, XI; 17, XI; 24, V.	24, I; 5, III; 17, III; 21, IV.	31, III.	15, III; 13, V.	17, X.
2. Аграрный вопрос	27, III; 1, IV.	31, X; 5, XII; 24, IV.			
3. Внутр. политика. Запросы		5, II; 13, II; 27, V.	15, V.	12, XI; 19, I; 26, II.	19, X; 18, XI; 30, XI; 17, III.
4. Внешняя политика	27, II; 4, IV.		2, III.	2, III.	13, IV.
5. Народн. просвещение	3, VI; 9, VI.	17, IV.		18, X; 23, III.	25, X; 8, II; 7, III; 14, III; 16, IV.
6. Церковь и сект.		13, V; 15, V; 23, V.	17, II.		4, III.
7. Национ. вопросы					
а) Общая постановка				12, XI.	
б) Финляндский	12, V; 13, V.		17, III; 19, V; 21, V; 22, V; 26, V.		29, X; 31, X; 2, XI.
в) Польский		18, III.			
г) Еврейский					8, VI.
д) Азиат. народности				7, XII.	
8. Вопросы обороны	29, XI; 24, V.				7, V; 6, VI.
9. Финансы и экономика	27, XI.	4, V.			
10. Литературная собственность		7, IV; 9, IV; 21, V.		11, II.	
11. Varia		20, I; 11, IV.			
Всего 73	14	21	9	11	18

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

		III Дума.	IV Дума.	+ или —
Правые и правительственные	Правые и примыкающие	52	65	+13
	Националисты и умер. правые	93	88	+ 27
	Группа центра . . .		32	
Октябристы и примыкающие*)		133	98	—35
Оппозиция	Прогрессисты и примыкающие.	39	48	+ 9
	К.-д. и прим. . . .	53	59	+ 6
Национ. группы	Поляки, лит. и белор.	17	15	— 2
	Мусульмане	9	6	— 3
Левые	Трудовики	14	9	— 5
	с.-д.	14	15	+ 1
Беспартийные		16	7	— 9

*) Надо прибавить, что в течении сессии 1913 года 17 левых октябристов выделились в особую группу, и за ними ушли еще 28.

ПРИЛОЖЕНИЕ III.

	I. 1912-1913 декабрь-июнь	II. 1913-1914 октябрь-июнь	III. 1915 январь	IV. 1915-1916 июль-март	V. 1916 ноябрь-декабрь
1. Вопросы конституции и гос. права	8, II; 13, II; 27, II; 13, III.	17, I; 24, I; 21, IV; 25, IV.		22, II.	
2. Внутр. политика. Запросы	13, XII; 18, V; 28, V.	26, III; 26, IV; 2, V.		10, II; 4, III.	I, XI; 22, XI.
3. Внешняя политика	6, VI.	10, V.	27, I.	11, III.	
4. Народное просвещение	4, VI; 5, VI.	21, V; 12, VI.			
5. Церковь		28, IV.			
6. Национальные вопросы: еврейский украинский немцы		 15, X. 19, II.		 3, VIII.	
7. Оборона и война		24, IV. Экстр. сессия 1914 26, VII.	27, I.	19, VII; 25, VIII; 7, III.	16, XII.
Всего 37 (39)					

ОГЛАВЛЕНИЕ II ТОМА:

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
Государственная деятельность (1907-1917)

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
Четвертая Дума

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
Временное правительство
(2 марта 1917 г. — 25 октября 1917 г.)